

Сны Шлиссельбургской крепости

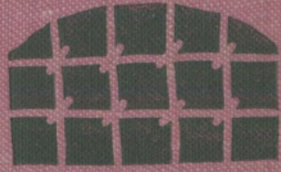


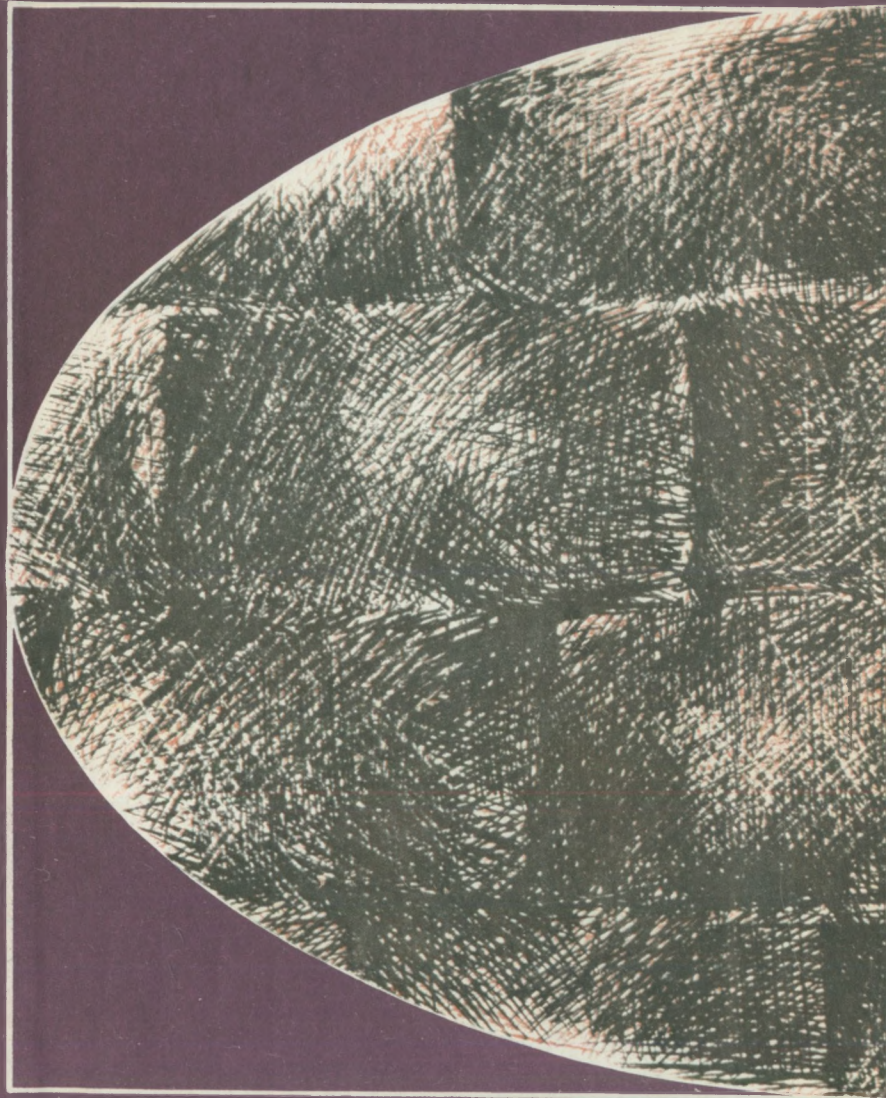
Анатолий Гладилин

Сны Шлиссельбургской крепости



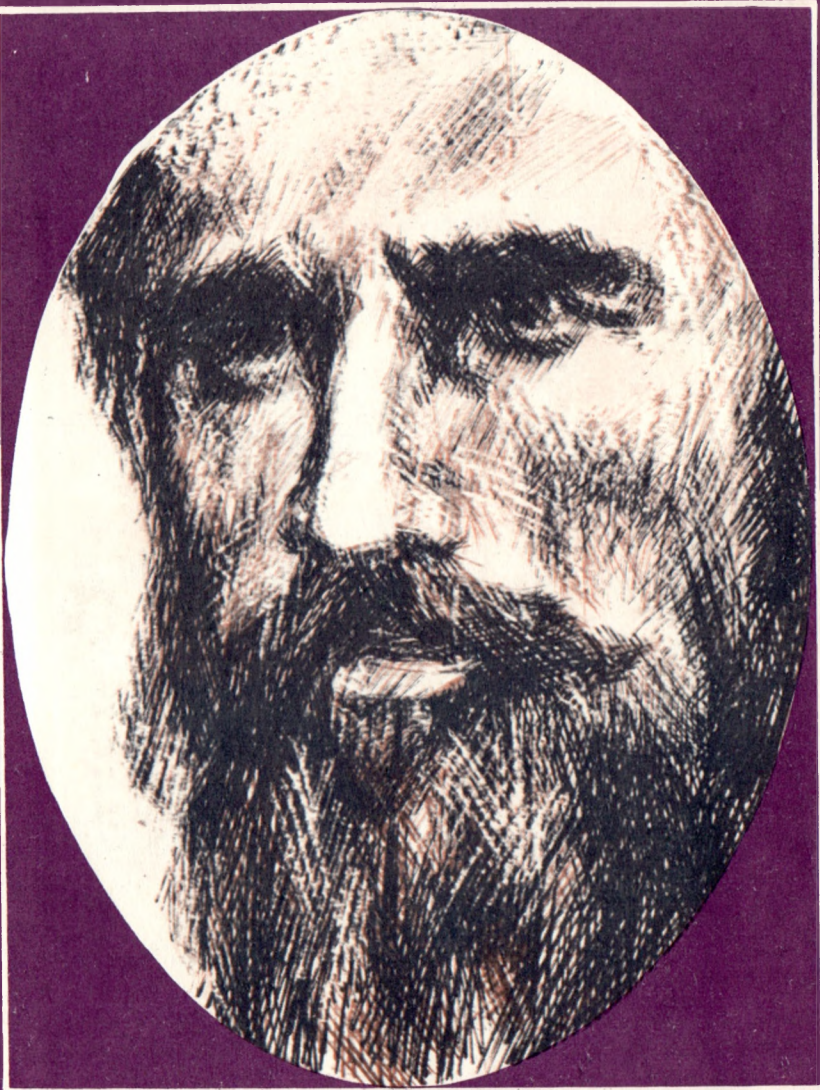
Анатолий Гладилин







**Издательство  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва  
1974**



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ



РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

*Анатолий  
Гладilin*

**СНЫ  
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ  
КРЕПОСТИ**

ПОВЕСТЬ  
ОБ ИПОЛИТЕ МЫШКИНЕ

Книги Анатолия Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского», «Дым в глаза», «Первый день Нового года», «История одной компании» и другие широко известны читателям.

В 1970 году в серии «Пламенные революционеры» вышла повесть «Евангелие от Робеспьера», рассказывающая об одном из вождей Великой Французской революции. Теперь автор обратился к истории русского революционного движения. Повесть «Сны Шлиссельбургской крепости» рассказывает о трагической судьбе народника Ипполита Мышкина, которого В. И. Ленин назвал «одним из корифеев русской революции».

## *Смотритель Соколов*

**О**н стоял, откинув капюшон, и вода с шинели капала прямо на ковер, а сапоги отпечатали на ковре темные следы, и это был непорядок, но, видит бог, он не виноват, их благородие приказал ему срочно явиться, прямо с караула, с вышки, где Соколов наблюдал, как гуляют нумера, приказал явиться срочно — служба есть служба. Он всегда чувствовал стеснение, неуверенность, входя в этот кабинет, и вот теперь непорядок: ковер запачкал у их благородия, и хотя сейчас полковник ничего не замечал, но он сам, капитан Соколов, чувствовал непорядок, и этого было достаточно. Он давно привык к этому кабинету, ведь приходил сюда ежедневно на вечерний доклад. Тут все было знакомо: и шкафчик стенных часов из красного дерева, и большой полированный стол, на котором аккуратно расставлены серебряные подсвечники и бронзовые безделушки, и буфет, откуда откровенно выглядывали хрустальные рюмочки, намекая на то, что их благородие совсем не прочь и не брезгует в служебное время, позволяет себе... Но проклятый ковер, безбрежный, пушистый красный ковер! Капитан Соколов ступал на него с трепетом, с болью, каждый раз ожидая услышать: «Ноги надо вытирать, скотина!», хотя понимал, что господин полковник никогда не скажет та- 3



ких слов: благородных манер был Каспар Казимирович.

Однако эти личные чувства и ощущения не мешали Соколову цепко улавливать то, что господин полковник вычитывал из казенной бумаги. Пришла бумага, ее ожидали со дня на день. И государю благоугодно было начертать: «По-моему, это недосмотр и не должно случаться».

Полковник Покрошинский отложил бумагу и взглянул на Соколова с явным неодобрением. «Наверно, увидел, что наследил», — успел подумать Соколов.

— Вот так, Матвей Ефимович, — сказал Покрошинский. — Сам государь-император благоволил неудовольствие выразить. Недосмотр! И я в свою очередь объявляю вам свое неудовольствие.

— Виноват-с! Служу-с, живота не щадя, — пробурчал Соколов, опуская глаза.

— Мало усердия! — сказал Покрошинский и отвернулся.

Спустя полчаса Соколов опять стоял на вышке и наблюдал, как внизу под ним, во втором дворике, словно сонная муха, лениво брел от стены к стене пятый номер. Это был последний. Сегодня половина номеров отказалась выйти на прогулку. Еще бы, в такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит, а он, Соколов, должен был гулять с каждым, таков был порядок, им самим заведенный, а иначе нельзя, иначе недосмотр.

Здесь, наверху, было холоднее. Дождь хлестал косями струями, серая водяная мгла с Ладоги переваливала через стены крепости, деревянные заборы двориков почернели. С внешней стороны забора, у входа во второй двор, сиротливо топтались два унтера, стараясь повернуться спиной к ветру и пряча лицо от дождя. «Эх, служба царская», — привычно вздохнул

Соколов и вспомнил красный пушистый ковер в кабинете полковника Покрошинского. Вот тогда, впервые за последние годы, почувствовал Матвей Ефимович даже не обиду, нет, а несправедливость, над ним содеянную. Конечно, государь прав, конечно, такого не должно случаться, но не их благородию полковнику Покрошинскому обвинять Соколова в недостатке усердия. Их благородие всего раз в месяц переступает порог кордегардии, их благородие по ковру ходит, нежится, вечерами в карты поигрывает, водочкой балуется. Конечно, у Покрошинского свои дела, бумаги, донесения, но Соколов ли не усердствует? Был недосмотр, но то вина инженеров: это они недоглядели, оставили вентиляционные ходы. Левый ближний угол в глазок не виден — вот злодей и воспользовался.

Дождь измельчал, выдохся. Водяная нить висела в воздухе, туман валил с Ладожского озера, и грязно-желтая стена цитадели стала совсем серой. Бороду Соколова можно было выжимать, как мочалку. А лицо он даже не вытирал: бессмысленно.

Пятый номер чертил что-то деревянной лопатой на песке. Это что ж, это пожалуйста, и даже ежели он знак кому оставлял, то даже унтера не надо было посылать для проверки: дождь все смоеет. Соколов растегнул пуговицу шинели и полез за часами. На поясе привычно звякнула связка ключей. Оставались еще две минуты, положенные. Соколов чувствовал легкий озноб. От холода? Нет, несправедливые дела творятся на свете! Ему, Соколову, выразили неудовольствие! Мало усердия...

Ровно через две минуты Соколов спустился с вышки, глянул на унтеров, те сразу проворно открыли ворота двора. Номер пятый вышел на плиточную дорожку и затопал, оглябая дворы, к кирпичному двухэтажному зданию. Соколов и унтера пошли следом,

перед ними в такт шагам колыхался, подрагивал серый длинный бушлат пятого номера, с черными рукавами, с черным бубновым тузом на спине.

В узком «предбаннике» между двойными дверьми Соколов и унтера обули на сапоги войлочные галоши: лишнего шума быть не должно. Они пошли по широкому коридору первого этажа, выстланному веревочными матами, а над ними, вдоль длинных стен, нависали две железные галереи, между которыми была натянута металлическая сетка.

Унтер Сидоров стоял около семнадцатой камеры, он распахнул перед пятым номером дубовую, обитую железом дверь, и, когда дверь, пропустив арестанта, закрылась, Соколов запер ее на ключ.

Открывать и закрывать камеру мог только Соколов, но когда номера выводили на прогулку, камера не запиралась и дежурный унтер мог тщательным образом произвести обыск. Сегодня дежурил Сидоров, известный Соколову по Алексеевскому равелину. Соколов писал специальный рапорт, чтобы взять Сидорова с собой на новую службу. В нем, то есть в Сидорове, и еще в трех других унтерах Соколов был уверен как в себе самом, и поэтому он даже не взглянул на Сидорова, зная, что, случись неполадок, ему было бы доложено.

И странное дело: стоило только Соколову окатиться в этом длинном коридоре, тускло и ровно освещенном керосиновыми лампами, где вдоль дверей камер, осторожно заглядывая в глазки, бесшумно скользил дежурный унтер, как чувство досады, несправедливости, мучившее капитана после выгора Покрошинского, сразу исчезло. Нет, он ничего не забыл, просто это неудовольствие, обида — дело личное, а посему мелкое, второстепенное. Тут же **б** было главное — служба.

И совсем в другом, бодром, служебном настроении Соколов отправился в кордегардию, откуда сейчас должны были разносить обед для номеров.

Рацион был утвержден раз навсегда, и каждому дню недели соответствовало свое определенное меню. Сегодня — 1 октября 1884 года от рождества Христова — шли грибные щи и пшенная каша с маслом. Соколов зачерпнул специальной ложкой из котла, попробовал. Дежурный вахмистр Кочетов, с застывшим выражением подчиненности и готовности на лице, следил за каждым его движением. Потом Соколов сел к столу и стал внимательно просматривать ведомость. Номерам полагалось столько-то фунтов гороха, пшена, капусты, грибов, масла, муки, сахара. Трудно было предположить, что когда-нибудь вахмистр по ошибке или по недомыслию мог увеличить рацион, но порядок требовал за всем надзора и надсмотра. И Соколов проверял ведомость ежедневно. На питание каждого номера в день было отпущено одиннадцать копеек.

И Соколов считал.

Хлопнула дверь. Краем глаза Соколов заметил, как испуганно вытянулся унтер Машков, услышал учащенное сопение вахмистра Кочетова. Произошло что-то необычное, но ничего необычного произойти не могло, и Соколов понял, что в кордегардию пожаловал их благородие, сам полковник Покрошинский.

Ежевечерне приходя на доклад в кабинет начальника шлессельбургского жандармского управления, капитан Соколов боялся ступить на ковер и с благоговением ловил все оттенки вежливого голоса Каспара Казимировича. Но в тюрьму Покрошинский являлся один раз в месяц, и то не по надобности, а для того, чтобы зафиксировать этот факт в отчете для шефа корпуса. В тюрьме Покрошинскому нечего было

делать, это была вотчина Соколова. И посему Соколов не повернул головы. Он считал.

Полковник Покрошинский тоже понимал ненужность своего визита, однако этим он как бы извинялся за резкий утренний разговор; ведь было ясно, что неудовольствие государя распространяется и на него, полковника Покрошинского. И уже другим тоном, более дружелюбным и даже чуть-чуть заискивающим, спросил полковник:

— Порядок, Матвей Ефимович?

— Обед сейчас понесем,— не поднимая головы, ответил Соколов. Он считал.

Покрошинскому явно показывали, что он лишний. Соколов брал реванш за утро, Соколову это было простительно. Но тут присутствовали нижние чины.

— Служим, братцы, царю и отечеству? — бодрым голосом спросил Покрошинский.

— Рады стараться, ваше благородие! — дружно гаркнули унтера.

Соколов поморщился, он не любил лишних разговоров. Он продолжал считать. Хлопнула дверь, и вахмистр Кочетов облегченно выдохнул.

Соколов подвел черту и отложил перо. Непорядок: получался недорасход. Вахмистр, почувяв недоброе, опять усиленно засопел. Соколов задумался, циркнул перышком. Теперь все сходилась.

— В кашу положишь еще четверть фунта масла,— приказал Соколов.

Форточка в двери каждой камеры отпиралась три раза в день. Открывал и закрывал ее собственноручно Соколов. На форточку, откинутую на манер столика, ставился завтрак, обед или ужин. Дело-то нехитрое, может и не требующее присутствия зрителя. Но таков был порядок, и его завел он сам, Соколов.

8 Нельзя было ни на секунду оставлять унтера наедине

с номером — слишком свежа была в памяти Соколова история злодейского заговора в равелине. Правда, сейчас у Соколова унтера отборные, проверенные, свезли со всей России, да и жалованье, жалованье какое: триста девяносто рублей годовых казна положила. Да за такое жалованье удавиться можно! Но и там, в равелине, унтера тоже были не промах, не первый год служили, но охмурил их, окрутил злодей египетский — Нечаев. Соколов помнил его. Глаза как у дьявола завораживали. Но ничего, с божьей помощью успокоили. Нечаева схоронили, да сколько он, злодей, успел народу погубить! Вахмистры и унтера в штрафные команды пошли. Бог Соколова миловал, но впредь урок, на будущее: никому нельзя доверять. Нечаев заснул навечно, да другие злодеи не дремлют. Государственные преступники, цареубийцы. Вон куда их загнали, за какую стену упрятали, какой караул учредили! И мрут они, и болеют, и на ноги встать не могут, сумасшедшими прикидываются, да только глаз за ними нужен, глаз, в любой момент всего можно ожидать. Вон недавно какой недосмотр вышел.

Почти все номера были старыми знакомыми Соколова, равелинцами. Каждого номера он знал лучше, чем ихняя родная мама. Каждый номер был злодеем-каторжником, на каждом из них небось кровь безвинно убитого государя. Случалось, они и над ним, капитаном Соколовым, кочевряжились, ндрав свой показывали. Да только ни к кому из них — истинный крест! — не питал зла Матвей Ефимович. Богом они наказаны, государь их навечно в Шлиссельбург определил. Не дело Соколова суд чинить, а дело Соколова — службу нести. А служба такая: чтоб был порядок! Что положено — получи, что не положено — извини, не обесудь, тюрьма не сахар. Всем Соколов объяснял, не ленился: «Сиди спокойно, никто не тро-

пет тебя». Так ведь не понимают, не понимают, господа хорошие, но поймут, со временем поймут. Соколов давно служит и знает: тюрьма лучше родной матери всех уговорит.

В сопровождении команды и унтеров он медленно переходил от одной двери к другой, и глаз его, острый, наметанный глаз, отмечал малейшие оттенки настроения каждого номера.

...Двадцать первый. Недавно прибыл. Богу молится. Осенило душу раскаянием. Но мы стреляные воробьи, нас на мякине не проведешь. Мы к тебе еще присмотримся, долго присматриваться будем.

...Второй номер. Поведение удовлетворительное. Лежит тихо, болеет, а бывало, в равелине голодовки закатывал. Укатали сивку крутые горки!

...Восьмой номер. Кровью харкает. Известный заводила, он и мертвым прикинется, с него станется. Держи с ним ухо востро, Ефимыч.

...Пятый номер. Все по камере шастает. А чего ходит, поберег бы ноги. И ты, сердешный, сляжешь, не век тебе прыгать. А пока пятый стучит, стучит по ночам, с девятнадцатым перестукивается. Небось думаешь, я не знаю? Соколову все ведомо.

...Двадцать третьему дверь открыть, в камеру обед занести; встать не может.

— Опять тухлые щи и в грибах черви!

Вишь, недоволен, барин! Ужель не полнмает, объяснить?

— Мне прикажут — я тебя рябчиками буду кормить, а прикажут повесить — повешу.

Вот так-то.

...Пятнадцатый номер. Вот это бунтовщик! Полудохлый, еле ползает, а все шебуршится:

— Прошу не стучать форткой более раза, я раздражаюсь!

— Ты раздражаешься, ну и я тоже раздражаюсь! Барыня на перине! Как ты ко мне, так и я к тебе. Специально раза три хлопну, уставом это не запрещено.

...Нумер третий. Ишь как схватил тарелки и сразу спиной повернулся. Горд, их сиятельство, князь липовый! Заркевич предполагает, что номер третий еще в равелине малость того... тронулся. Но Заркевич хоть и ученый врач, да человек хлипкий. А тюрьма — она для того, чтобы злодей волком выл, на стены лазил. Однако чего-то третий номер сегодня... Надо еще в глазок глянуть: так и есть, дергается. А жрет-то как; хоть и болен, а поест горазд! Дергается. Значит, не сегодня-завтра начнет кричать, в дверь колотить. И придется опять его в цитадель, в старую тюрьму отправлять. Эх, морока с третьим номером!

...Двадцать шестая камера. Тут и случился недосмотр. А теперь в ней одиннадцатый номер. Тоже своя, равелинская. И, по словам его превосходительства генерала Оржевского, самая важная преступница.

— Пожалте, барышня, сегодня каша вкусная.

Не ответила, только глазами повела. А ведь не положено ему с ней разговаривать, да еще умасливать, упрашивать. Но была осечка, срывался. Что-то в одиннадцатом номере было такое-этакое, не разбирай-поймешь, но господское, повелительное. Похожа она была на дочку командира четвертого карабиньерского полка, где службу начинал. Такая же глазастая, недоτροга. Эх, барышня, одиннадцатый номер! Знать бы все наперед, то упредил бы он ее, на колени бы встал, Христом-богом бы заклинал: не вяжись, барышня, со злодеями-сицилистами, не женское это дело! А женское дело — детей рожать, гостей чаем потчевать. И чего ей не хватало? Ведь всего хватало, из благородных.



...Седьмой номер. Дверь открыть. Унтера около койки обед поставят. Примерного поведения седьмой номер. Не кричит, не говорит, не стучит, не гуляет, не встает. Обед больничный: Заркевич прописал. Да не ест седьмой номер, как птичка поклюет. Сначала, бывало, чудил, в угол заползал, прятался. Теперь выправился, все как положено. Всем хорош седьмой номер, да недолго протянет. Жаль. Когда бог даст еще такого смиренного?

...В тридцатой камере девятнадцатый номер. Глаза б мои на него не смотрели. Этот опасен, этот зверь. В Новобелгородском центре подкуп устроил, с Кары бежал. Специально его поместили, чтоб никого из соседей рядом не было. Так нет, учуял пятого номера, по ночам перестукиваются. К этому в камеру заходишь, как к лютому тигру. Того гляди, бросится. Пусть унтер обед ставит, а я в сторонке... Взял. Молчком. Пронесло. А может, притих девятнадцатый? Взялся за ум после сентября? Был у нас еще такой горячий. Да суд справедливый скор: к стенке поставили, успокоили. Другим наука.

Прошел обед. Без скандала, бог миловал. На часок домой можно сбежать — к деточкам малым, к родной Марье Ефимовне.

Была у Соколова казенная квартира в офицерском доме. Была жена, степенная, домовитая Марья Ефимовна, что слова лишнего не скажет, а все угадает. И обед подаст, и полотенце, и в праздник чарочку поднесет. Чарочку, не больше, и то в праздник. Нельзя было пить Соколову: во-первых, служба, во-вторых, водка — это распушенность, в-третьих, водка — она копейку любит. А откуда она, лишняя копейка? И хоть большое жалованье казна положила

капитану Соколову — две тысячи семьсот пятьдесят рублей годовых, — но жили они с Марьей Ефимовной скромненько, откладывали. Сегодня жалованье, а завтра случись беда — и нет его. А у Соколова две дочери и два сына. Мальчишек надо в люди выводить, для девочек копить приданое. Сам Матвей Ефимович ползком продвигался. Сколько его по мордасам лупили, носом в дерьмо тыкали! Служба лютая, девятнадцать лет в рядовых ходил. Девятнадцать лет до серебряного погона тянулся! Ну ничего, бог не выдал. Кому из кантонистов офицером стать посчастливилось? И ни протекции, ни денег, ни знакомых-родственников не было у Соколова. Все заработано своим горбом. А уж деточкам иная судьба уготована. Соколов всем пасть порвет, а своих кровиночек не выдаст! Сережа и Володя в юнкера пойдут, Машу и Олю в благородный пансион определим. Когда-нибудь поймают, как надрывался их папаша. Хотя, говорят, от детей благодарности не дождешься. Ну да бог им судья. Одно плохо: Шлиссельбург — климат мерзостный. Оленька бледная, на ножках еле стоит, а Володька все кашляет и кашляет.

Отобедал Матвей Ефимович, молча чмокнул супругу в щеку, та аж покраснелась, поняла, что угодила. Старшей дочке, Маше, в арифметике помог, с Олей в лошадки поиграл, Сереге кошку обещал (суета одна с кошкой, грязь, непорядок, но раз сын просил, сделаем, какие у ребенка развлечения в крепости, тоска, а кошка все же забава), ну а Володенька... Порешил Соколов Заркевича к Володеньке послать, пусть порошок пропишет, ученую его душу в бога и в мать!

И часу не прошло, а Соколов уже ремень потуже затянул и шинель накиннул. Вот и все радости. Служба — она зовет. Пора нумеров своих проверить.

Угадал он с третьим номером. Когда Соколов в кордегардии белге из прачечной припимал, прибежал Сидоров с докладом: дескать, буянит третий, в дверь стучит, кричит, что его бьют, душат. А кто его бьет-то? Кому он нужен? Соколов вызвал Заркевича, пришел с командой. Надели на третьего смирительную рубаху, отволокли в цитадель, в старую крепость. Ничего, обошлось. Раньше, когда третий буянить начинал, остальные номера тоже шум подымали. А теперь тихо прошло, видать, привыкли.

И ужин тихо прошел, без скандальности. Правда, опять с девятнадцатым номером лоб в лоб столкнулись. Но тут уж разговор особый.

Еще часов в шесть, когда Соколов в глазок тридцатой камеры заглянул, то заметил: выражение лица у девятнадцатого особенное. Обычно, когда Соколов щеколду поднимал, чтоб в глазок глянуть, номер слышал шорох; то кулак показывал, то комбинацию из трех пальцев — словом, охальничал. А тут даже не шевельнулся. И тогда пришла к Соколову мысль: а не начинает ли сдавать злодей? Давно уж пора. Ведь в августе еще гоголем ходил, куражился, даже заявил однажды, дескать, «прошу, чтоб меня расстреляли». Это он начальство испугать хотел, думал, что сейчас ему из Питера поблажку пришлют. А как до дела дошло, то есть когда в сентябре уводили пятого номера на старый двор — «к праотцам отправлять», — ведь не пикнул девятнадцатый номер, промолчал. Потом, правда, шум поднял, да что шуметь?

Нет, недаром Соколов еще в равелине служил. Он ихний преступный характер давно изучил. Иной злодей от болезней головы поднять не может, а все волком смотрит. А другой жив-здоров, а сам в петлю лезет. Это потому, что не в ладах с законом — не с божьим, человеческим, а со своим, разбойничьим.

Божий, людской закон понятен: служи честно, не гневи начальство, да о себе не забывай. А у них, разбойников, вроде бы другой закон: ежели, скажем, вызвался на дело, хоть на смерть, то не отступай. А отступишь, так сам себя загрызешь. Вот они, закопы-то разбойников! И получалось, что девятнадцатый номер вроде бы вызвался («прошу меня расстрелять»), да отступил, притих. И сейчас себя поедом ест. Такой момент чутя надо.

Двери всех камер открывал и закрывал Соколов собственноручно: на прогулку или в ванну номера отвести, перед завтраком, чтоб койку поднять, после ужина, чтоб койку опустить. Дверь открывал Соколов, а входили унтера. От таких, как девятнадцатый, лучше держаться подальше. А сегодня вошел и Соколов.

Номер сидел с легкой улыбочкой и вроде бы глядел на унтеров, которые койку опускали, но Соколов готов был поклясться, что не видит их номер, в своем море-окияне плавает.

— Тебе известно, что вставать надо, когда смотритель входит? — сказал Соколов и приготовился. Знал смотритель, что не любит номер, когда ему тыкают, но таков был порядок, а к порядку приучать надобно. И потому ожидал он обычных слов: мол, не встану и тыр-пыр. Так раньше бывало, когда Соколов в камеру захаживал, пока это ему не надоело. Сейчас важен был ответ номера. Или неверно Соколов момент учуял? И вдруг номер взглянул на Соколова, ласково взглянул, видать, плавал еще в своем окияне-море, бороду почесал и отвечивал:

— А у меня случай был. Я сидел, а царь стоял. И долго стоял.

Не пашелся, что сказать Матвей Ефимович. Да за такие дерзкие слова... Да где это видано...

Круто повернулся смотритель и вышел из камеры. Потом он был у Покрошинского с докладом. Шинель в прихожей оставил, сапоги обтер. У ковра стоял, не наступал. А на ковре кошечка лежала, потягивалась. Вот бы такую Сережке!

Господин полковник доклад вполуха слушал, да все в другую дверь косился. Там, в столовой,— знал Соколов — игра. Там ждали полковника жаңдармский ротмистр (начальник внешней охраны), казначей и его преподобие, настоятель церкви. Видать, не шла сегодня Каспару Казимировичу карта. Да и на лице красные пятна проступили, знамо, их благородие за воротник изрядно заложили... И опять утреннее чувство, чувство обиды, всколыхнулось в душе Соколова. Значит, это он недосмотрел? Это у него, Матвея Ефимыча, мало усердия?

Дома был порядок. Дети уложены, ужин накрыт, Марья Ефимовна выглянула из спальни, задержалась. Нахмурился Соколов: не до баловства нынче. Поняла жена, дверь тихонько прикрыла. Соколов откушал буднично, без настроения, и заперся у себя в светелке.

Что же получается, господа хорошие? Девятнадцать лет Соколов в рядовых ходил, в крымской участвовал, поляков усмирал. Унтера над ним изымались. Сколько гальюнов он вычистил! Дочка полковника, козочка с гордыми глазами, сквозь него смотрела. Когда серебряный погон получил, и тут ровней офицерам не стал. Слышал Соколов за спиной шепот: «Скотина!» Благородия шипели, такие же баре, как двадцать третий номер. А Соколов служил, и ведь ценили его! Главных царевубийц, Перовскую и Желябова, в централ сопровождал — уже тогда дове-

ряли. Когда команду в Шлиссельбург утверждали, Соколова первым назвали. А господин полковник в картишки поигрывает и выговаривать изволит: «Недосмотр», «Мало усердия»... Инженеры недосмотрели, с них спрос! Вентилятор придумали... Вот злодей — номер девятый, сицилист Клименко, — воспользовался и повесился. Соколов сразу распорядился заложить вентиляционные ходы. Нонче так: если в камере запашок или воздух не такой, ничем помочь не могу. Раньше надо было думать, а не подводить честного человека под монастырь.

И пускай Покрошинский кривит губы, неудовольствие выказывает, но Матвей Ефимович знает: о нем, о штабс-капитане Соколове, государю-императору лично известно. Верит в него государь-император, не даст в обиду. Полковник уйдет, а штабс-капитан Соколов останется. Полковников много, а Соколов незаменим.

Их императорские величества верных слуг своих помнят. В феврале семидесятого года, семнадцатого дня, высочайшим приказом Соколов произведен в прапорщики с зачислением по Корпусу жандармов. Дважды за последние пять лет ему все милостивейше было пожаловано единовременное денежное пособие в размере трехсот шестидесяти рублей. Другие, может, и не такой куш срывали, так ведь дорого внимание.

Соколов открыл шкатулку, разложил на столе кресты и медали. Георгий — за польское дело. Знак отличия святой Анны с бантом — за усердие. Станислав третьей степени — за выслугу. Орден святой Анны он подержал в руке, поднес к губам. Этот орден он получил по высочайшему пожалованию, от государя-императора Александра Николаевича, царство ему небесное. Еще покойному государю было угодно знать,

что есть такой раб божий, слуга верный — Матвей Соколов.

И в сей момент, такой торжественный, целомудренный, вспомнил Соколов окаянные слова девятнадцатого нумера. Представить невозможно, что государь-император стоял перед этой разбойничьей рожей. Да за такие слова надо четвертовать злодея! Четвертовать? Нет, парень, быстрой смерти не дождешься. Мудро рассудил его императорское величество Александр Александрович: в Шлиссельбург его, пусть повоет, по стенам поползает, пусть живьем сгниет.

Он долго еще разглядывал ордена и медали, потом сложил их в шкатулку, запер. Спал сапоги, лег. Приучен был засыпать всегда мгновенно и спал без снов. Но ровно без десяти двенадцать, как по часам, как заведенный, вскочил смотритель. Служба, пора.

Дежурный унтер, устало ковылявший по коридору новой тюрьмы, вздрогнул, когда за его спиной бесшумно появился Соколов. Чуял унтер: время появляться смотрителю, но опять проворонил момент. Выпятив грудь и с усердием пожирая глазами спину начальства, шел унтер за легко скользившим Соколовым, а Соколов замирал у камер и осторожно подымал задвижку глазка.

На галерее второго этажа капитан, как собака, сделал стойку. Покрутил головой, обернулся.

— Слышишь — стучит?

Унтер прислушался. Мертвая тишина звенела в ушах.

— Никак нет, ваше благородие, — прошептал унтер.

— Болван, службы не знаешь!

Огромными прыжками, словно птица по воздуху, пронесся Соколов к тридцатой камере, рванул форточку,

— Я тебе постучу! В карцер захотел?

— Иди спать, Ирод,— глухо ответил девятнадцатый номер.

Унтер Воробьев прибыл в Шлиссельбург из Гомеля. Еще в казарме в первый день ему рассказали, как люто смотритель. У такого не углядишь — хана. Благоговел унтер перед капитаном Соколовым, благоговел и боялся, смертельно боялся. Всегда штрафником перед смотрителем ходишь, ведь тот сквозь стены слышит, сквозь двери видит. Эх, служба каторжная! И не даст капитан покоя. В середине ночи он опять, как сыч, прилетит, и не поймешь, откуда явится... А в шесть утра первый со сменой придет. И когда он спит, Ирод? Точно, Ирод, прости, господи, на недобром слове!

Соколов вышел из кордегардии, распрямил плечи, глубоко вздохнул. Заметно похолодало. Снежинки кружили у фонаря, но до земли не долетали. Ветер поутих, и тоскливые странные звуки доносились с Ладожского озера: то ли ухали волны, то ли стонали чайки, то ли тягуче перекликались часовые там, за крепостной стеной, у сторожевых бастаионов.



## *Часть первая*

### 1

Это надвигалось стремительно и неотвратно: седоусый великан-часовой, в старинной форме, в высоком золотом кивере, взял на караул; вестибюль подъезда ослепил огнями, блеском канделябров, белыми мундирами кавалергардов в золотых кирасах и шлемах; мраморная лестница подымала в небесные покои — и опять мундиры, все больше мундиров, все больше серебра на погонах, яркие орденские ленты, картины в старинных рамах, статуи богов и пастушек; высокие белые двери неслышно открывались одна за другой, а зеркало паркета пронесило через зал к следующим дверям; хрустальные люстры низвергались сверкающими водопадами с головокружительной высоты, где пухлые младенцы-ангелы, то ли нарисованные, то ли живые, порхали, тихо шелестя своими маленькими крылышками; на зеленом постаменте мальчик из черного камня изогнулся в почтительном полупоклоне, а может, и не мальчик, какой-нибудь камер-юнкер перекрашенный, — все могло быть в это невозможное утро, ибо сейчас, за следующими дверьми, разверзнутся небеса (уцпни

себя, солдатский сын Мышкин, может, и впрямь это сон) и он услышит пение божественного гимна и увидит золотой трон, на котором в горностаевой мантии, увенчанный драгоценной короной Мономаха, восседает он, царь, его императорское величество. И все попы в золоченых ризах, с ладанками и кадилами (обязательно должны быть попы), падут на колени, и гвардейские батальоны на Дворцовой площади возьмут на караул, и город Санкт-Петербург, столица северная, замрет, чиновники встанут во фронт, а извозчики снимут свои засаленные треухи... И оно, его императорское величество, самодержавное по всей Руси, в царстве Польском и Финляндском, верховное главнокомандующее, помазанное богом, соблаговолит опустить свои высокие очи на безвестного солдатского сына и скажет ласково: «Приблизься, слуга мой верный, и поведай мне...»

— Садись, унтер-офицер! — раздался резкий голос.

Мышкин сел, разложил на столе белые листы, придвинул карандаши. Несколько генералов как в тумане маячили у дальней стены кабинета. Серенькая, незаметная фигура подполковника Артоболевского застыла у дверей, а по белому ковру вышагивал молодеватый высокий генерал в гвардейской форме, с голубой широкой лентой через плечо. Знакомое по портретам, бакенбардное лицо генерала чуть иронически улыбалось...

Стоп! Не отвлекаться. Внимание. Что говорил гвардейский генерал, расхаживая по кабинету, и что отвечали ему из угла, не имело значения. Важно было успеть записать все это и не пропустить ни одного слова.

Мгновенная реакция на каждый звук. Карандаш привычно и четко царапал бумагу.

— Теперь читай, унтер-офицер! — сказал гвардейский генерал и подошел к столику, за которым сидел Мышкин. Мышкин встал, вытянулся и, держа перед собой листы, прочел. Из дальнего угла одобрительно заквакали.

— Превосходно! — сказал гвардейский генерал. На секунду в лицо Мышкину заглянули голубые холодные глаза. — Выдать молодцу двадцать пять рублей, немедленно!

И сразу выросла гибкая фигура адъютанта, коленая, тонкая рука протянула хрустящую бумажку.

Вот и все. Мышкин стоял на Дворцовой набережной. В воздухе кружились крупные снежинки. По мостовой проносились экипажи и пролетки.

«Мамаша ни в жизнь не поверит, а Ванька Лаврушкин сдохнет от зависти» — так впервые за это утро, осмысленно и здраво, подумал унтер-офицер Мышкин, стенограф геодезического отделения Николаевской академии Генерального штаба.

И тут Мышкин чуть не заплакал. Вот оно, чудо, о котором и мечтать простому человеку не дозволено, свершилось и пролетело в одно мгновение, а он, дурья башка, ничего не запомнил. А ведь начнут спрашивать, еще какие вопросы будут: где сообразовали принять? кто присутствовал? как были одеты государь? что изволили сказать?

Мышкину казалось, что еще все впереди, что сейчас он отдышится, осмотрится, но вот стоит он на Дворцовой набережной, а как попал сюда — не помнит. Сунул руку в карман, хрустнула ассигнация. Нет, значит, все было взаправду. И радость, буйная, бесшабашная радость охватила шестнадцатилетнего унтер-офицера. Конечно, не в деньгах счастье, хотя такую ассигнацию он никогда еще в руках не держал, — просто понял Мышкин, что свершилось чудо

чудное: фортуна улыбнулась, да еще царской улыбкой.

Вчера вечером с Ванькой Лаврушкиным, однокашником по псковской кантонистской школе, в подвале на Садовой сидели; Ванька угощал квасом и срывающимся голосом приговаривал:

— Да разрази меня гром, брешет Артоболовский! Государева приема послы неделями ждут, куда же нам, суконным рылам? Их благородие подполковник — прохиндейка известная, да дальше министра ему ходу не дадут, и то честь какая...

И согласно кивал головой Мышкин, и потягивал прохладный квасок, а про себя думал: «Но ведь начальник академии вызывал, а этот шутить не любит». И все равно — не верилось.

— Ты, конечно, умница, Полкаша,— продолжал шептать Ваня, повторяя школьное прозвище Ипполита Мышкина,— эту, ее, стерву, хренографию, как бог черепаху, разделяешь, за тобой никто в штабе не угонится, хоть двумя руками записывай, хоть на извозчике, и то не догонит.— Ваня хихикнул, а глаза его не смеялись: тоска там стояла, жуть болотная; не таясь, завидовал он товарищу.— Но только представь себе, на минуточку представь, что, если его императорское величество на тебя взглянуть соблаговолит, августейшее слово молвит, понимаешь?

— Поемаю,— отвечал Мышкин и значительно морщил лоб.

— Да ни черта ты не понимаешь, Полкаша,— захлебывался Ваня жарким шепотом.— Это же никому из смертных такая планида не светила, это же на всю жизнь!.. Да если такое случится... Да ты потом... ты потом в Псков поезжай, иди в школу, вызывай нашего змия, никого не бойсь! Вызывай поручика Бутякова — помнишь, как он порол нас, как шкуру спу-

скал,— так вот, вызывай Бутякова и плюй прямо ему в рожу! Поручик-скотина, конечно, в крик, а ты, пока он не опомнился, сообщи ему, дескать, так-то и так-то: государь-император соизволил, как сейчас перед вами, перед ним я стоял. И умоется Бутяков. И до самых дверей провожать пойдет...

— Как стоишь, сволочь, почему не приветствуешь? — раздался над ухом грозный рык. Очнулся унтер-офицер Мышкин и увидел черную с золотом шинель и адмиральский погон, а перед носом кулак в лайковой белой перчатке.

В коридорах штаба генералы были не редкость, из любой комнаты могли вынырнуть, но за версту их чувял унтер-офицер Мышкин, а тут проморгал, проворонил... И хоть этот был зол и вальяжен, но после сегодняшних недавно виденных жидковатым показался их превосходительство. Адмирал, словно уловив в глазах Мышкина непочтительность, задохнулся от гнева:

— Да ты пьян с утра... Да я тебя...

Плохо дело оборачивалось, ой как плохо! Но воистину счастливый был день сегодня у Мышкина. Невесть откуда взявшийся подполковник Артоболевский бочком протиснулся, прикрыл Мышкина, ласково заурчал что-то, уткнувшись в адмиральский погон. И обмякло их превосходительство и обратило к Мышкину обрюзгшее, красное от ветра человеческое лицо.

— Государь... молодцом называл... наградил за усердие,— рокотал снисходительный бас,— вижу, вижу, малый ошалел от радости... бывает. Но, братец, служба...— в голосе адмирала звякнул металл. Мышкин выпятил грудь, округлил глаза.— Вот так, братец, молодцом! Далеко пойдешь!

пало, Мышкин перевел взгляд на Артоболевского, и странной ему показалась перемена, происшедшая в его благородии. Прищурившись, злыми глазами следил подполковник за удалявшимся адмиралом.

— Рабство и шпицрутены отменили, — процедил Артоболевский, — а все норовят нижнему чину в зубы захватить. Вольно, Мышкин! И уйдем подальше от дворца, а то, неровен час, еще кто-нибудь выскочит. В штаб сегодня можешь не являться. Поручику доложишь, что весь день был в моем распоряжении.

Они перешли на другую сторону набережной и пошли вдоль гранитного парапета к Суворовскому мосту.

— Вот так, господа, — снова заговорил Артоболевский, как будто обращаясь сам к себе, — Россия держит абсолютное первенство по числу генералов! Возможно, если бы их превосходительств строили поротно и использовали на севастопольских редутах, то наши успехи в крымской кампании были бы значительнее. Однако война ничему не научила. Древо генералитета растет и плодоносит. Нас побили англичане и французы. За кем теперь очередь? Впрочем, — Артоболевский словно спохватился, — приказываю: сии слова категорически забыть! Сегодня, Мышкин, на нашей улице праздник. Глядишь, когда-нибудь памятник потомки соорудят: гражданину Мышкину и князю Артоболевскому — благодарная Россия. Где написано? Правильно! Жил когда-то на Руси гражданин Минин, который вместе с князем Пожарским поляков из Москвы выгнал. Учиться тебе надо, унтер-офицер. Давно слежу за тобой: очень ты способный юноша, а в стенографии просто явление необычайное. Мой тебе совет: срочную службу кончишь — и бегом из армии. Теперь, с твоей и божьей помощью, у моей науки — большое будущее. Стенографы пойдут нара-

схват, а тебя сам государь благословил. Богатым человеком станешь. Водку пьешь? Нет? Умно.

Маленькая черная кошечка с белыми пятнышками на мордочке и на передних лапах вышла из подворотни, фыркнула и неторопливо пересекла тротуар. Мышкин, не сбавляя шага, углублялся в переулок, а за спиной, удаляясь, затихал голос Артоболевского:

— Дурных примет не боишься? Умно. Но помни, что береженого бог бережет.

Маленькая черная кошечка присела, деловито облизала белые отметины на лапках и, задрав хвост, понеслась по учебному плацу псковской кантонистской школы. Поручик Бутяков строил классы.

— На кухню чистить картошку отправляются,— громко тянул Бутяков, подбирая дежурный взвод, и маленький Мышкин задрожал от обиды, предчувствуя привычный подвох.— Отправляются,— громко тянул Бутяков,— Котовский, Котов, Кошкин, Котофеев, Кошечкин и... Мышкин.

— Га-га-га! — дружно грохнули классы.

— Котовский, Котов, Коткин...— далеко за стенами перекликались часовые.

— Кошкин, Котофеев,— отвечали им голоса с Ладожских бастионов.

— Кошечкин и Мышкин! — ухнул в окно ветер.

— Котовский, Котов, Коткин,— простонал кто-то в соседней пустой камере. «Этого быть не может! — успел подумать Мышкин.— Иль мне все снится? Сон наяву?» — Кошкин, Котофеев,— проворчал дверной замок.— Кошечкин,— скрипнула, открываясь, обитая железом дверь...

— *И Мышкин,— сказал, входя в камеру, молодой цветастый высокий генерал в гвардейской шинели, и*

знакомое по портретам бакенбардное лицо генерала чуть иронически улыбалось.

— Вот и свиделись,— сказал генерал.— Однако у тебя тут прохладно. Пожалуй, шинель снимать не буду. Не возражаешь?

Генерал опустил железную койку, сел на краешек у стола, напрогив Мышкина.

— Ты хоть бы встал для приличия,— ленивым голосом продолжал генерал.— Все-таки я гость и старше тебя по возрасту... Да ладно, сиди, в ногах правды нет. Впрочем, есть ли она вообще, одна правда для всех? Говоришь, я стоял перед тобой? Не помню. И чего ты на меня волком смотришь? Давай за просто, без чинов. Зови меня Александром Николаевичем... Я же лично тебе ничего плохого не сделал. Даже двадцать пять рублей приказал выдать. Не в деньгах счастье? Но царская милость помогла тебе делать карьеру. Ведь получил же ты пост правительственного стенографа. Чего ж тебе еще было надобно?

— А вы купить меня думали? — усмехнулся Мышкин.— Двадцать пять рублей в зубы, сиди и по-малкуйвай? Или новый манифест хотите подписать? Чтоб, значит, каждому крестьянину и мастеровому казна выдала по двадцать пять рублей... То-то будет ликование среди российских либералов!..

— Речей не произносить! — взмахнул рукой генерал.— Твою речь на суде я читал. За правоту хвалю. Мыслей не одобряю. Я о другом тебя спрашиваю: вот прежде чем ты в социалисты перешел, разве сомнения тебя не одолевали? Ведь раньше ты хотел принести пользу народу на государевой службе, не так ли? Значит, была у тебя надежда, что возможен для России и мирный путь: конституция, реформы...



— О чем это вы? — Мышкин даже рассмеялся. — Или вы меня за дурака принимаете? Ну посудите, какие могут быть надежды на реформы и конституционные иллюзии после того, как я стенографом в суде и в земствах работал? Я там такого насмотрелся.. Большую школу прошел! В ваших учреждениях мошенник на мошеннике сидит и все открыто воруют. И подобный порядок вещей в первую очередь вам выгоден, Александр Николаевич!

— Что ж, спасибо за откровенность! Значит, по-твоему, ничего хорошего для России мне сделать не удалось? А посему ты и революцию учинить задумал?

— Революцию нельзя «учинить» по одному лишь моему желанию. Перед нами, социалистами, стояли другие задачи: надо было разрушить существующий порядок, чтобы крестьянин получил землю и возможность самостоятельно решать свою судьбу. Какой общественный порядок предпочтет народ — дело самого народа. А для этого надо было просветить мужика. Я книги печатал, хорошие книги. Мои товарищи несли их в деревни...

— Помню, было такое дело. Напялили студенты рваные армяки и направились «в народ». Что же из этого вышло? Не Архипка ли с Егоркой, слышав смутьянские речи, первыми бежали к становому? Значит, не дорос еще мужичок до хороших книг. Я, государь-император, лучше знаю свою страну. Мой манифест Россия приняла с благодарностью...

— Я сам сын крестьянина, но на суде открыто заявил, что я против реформы...

— Полагаешь, не надо было освободить крестьян?

— В темноте и невежестве вы народ держите, и поэтому вначале ничего мужик толком не понял. Разве вы освободили крестьян? Вы их бессовестно

надули! Крестьяне получили волю, да без земли. Что делать с волей, когда жрать нечего? Оставалось только продавать себя тому же помещику да глушить горе в кабаках. Воля крестьянская в трактире заложена: нынче вся Россия пьет, вся Россия продается «на вынос и распивочно»... Мастеровой и крестьянин закладывают последнюю рубаху — купцы и мироеды наживают миллионы. Вы выдумали так называемое «переходное состояние», когда помещик сек мужика руками урядника, когда все перепуталось так, что если бы и нашлась какая-нибудь льготная для народа крупица, то ею нельзя было воспользоваться. Кто заседал в земствах? Крестьяне? Нет, те же дворяне и становые. Характерно: иногда вы пытались кое-что сделать для народа, но никогда — через народ. Можно ли было дальше терпеть это насилие, прикрывающееся устарелой формой божественного права?

Тут поднял император царственную руку, перебил Мышкина:

— Складно говоришь, да сам понимаешь: нельзя мне из мужиков губернаторов назначать. Мужик — он грамоте не обучен. Дворяне были против реформы. На кого же прикажешь опираться? Где в России подготовленные, образованные люди? Даже студенты, вместо того чтоб учиться, бунты затеяли.

— Свобода общественного мнения — вот лучший университет! Раскрепощенная русская мысль воспытала бы тысячи реформаторов. Вы же русскую мысль в полицейский участок загнали, а цензором околоточного поставили! И помощников вы для себя выбрали из среды карьеристов, воров и льстецов. Вы верили только тем, кто, восхваляя ваше величество, бессовестно врал. Из любви к России они это делали? Нисколько. Ради чинов и большого жалования старались. Честные же люди, которые о благе народа

*мечтали, шли на каторгу, ибо они правду говорили, а правда глаза колола.*

*— Все речи произносишь, Мышкин? А с тем согласиться не хочешь, что министры и чиновники, дворяне — верные слуги российского престола. Что же мне? Обидеть дворян и восстановить против себя могущественное сословие? В истории случалось и такое, да только чем это заканчивалось? Проломили голову моему деду серебряной табакеркой...*

*— Вот-вот, именно этого вы и боялись! Если дать землю крестьянам, установить конституционный порядок, выборное земское правление, куда ж тогда вашим генералам и статским советникам деваться? Придут молодые, образованные люди и выберут их к чертовой матери из всех министерств! Ваши-то чиновники — они слова сказать в простоте не могут. Кто же их выберет? А чиновники, верно, к службе царской, вольготной привыкли. Не простили бы они вам такое, это точно. Зато если бы народ мог сам распоряжаться собой, а интеллигенция помогла бы в самоуправлении, то благодарность народная...*

*— Ну, насчет народной благодарности ты можешь мне не говорить. Я ни в чью благодарность не верю.*

*И встал император, и распахнул шинель, а под ней мундир гвардейский, порванный, в запекшейся крови. Застегнул шинель Александр Николаевич, аккуратно застегнул, на все пуговицы.*

*— В общем, пустое это, Мышкин. Государственного дела не понимаешь. История нас рассудит. Я на века останусь царем-освободителем. А ты? Сгниешь тут заживо. А ведь мог служить на пользу общества. Или тоже на благодарность народную рассчитываешь? Зря. Что ты, собственно, успел сделать? Кто о тебе вспомнит? Безвестный девятнадцатый номер...*

*Вот закопают за крепостной стеной, и никто, решительно никто про это не узнает. Так и умрешь, серо, незаметно, как мышь. Одним словом, Мышкин. Был — и не был.*

В новой шлиссельбургской тюрьме заключенные фамилий не имели. Сидевший в тридцатой камере государственный преступник был обозначен номером девятнадцатым. Только несколько человек в Шлиссельбурге — полковник Покрошинский, смотритель Соколов и три унтера, перешедшие сюда прямо из Алексеевского рavelина, — знали, что под девятнадцатым номером значится домашний учитель Ипполит Никитич Мышкин, лишенный всех прав, состояния, приговоренный к двадцати пяти годам каторги.

В крепость Ипполита Мышкина привезли 4 августа 1884 года. До этого он девять лет отбывал наказание в разных тюрьмах, на Кариийской каторге и в Петропавловке.

Из девяти лет заключения Мышкин почти половину срока провел в одиночных камерах. Испытав все «прелести строгого режима», он прекрасно сознавал, какие опасности подстерегают человека в одиночке.

Тягостное, пустое существование заполнялось только воспоминаниями. Ничтожные встречи и разговоры, картины природы, в которых вроде бы не было ничего замечательного, незначительные эпизоды из прежней жизни — все это настойчиво вылезало из тайников памяти, выплывало на поверхность сознания. Находясь годами наедине с самим собой, не видя вокруг ничего нового, узник постепенно увлеклся мечтами. Воображаемые сцены дорисовывались до мельчайших подробностей. Усилиями воли можно было прервать работу воображения, но через

некоторое время все начиналось снова, причем точно с того момента, на котором остановился.

Мышкин привык к этим странным фантазиям, но сейчас с ним произошло совсем другое: он заснул среди бела дня и, надо же, во сне к нему явился сам Александр II.

Мышкин резко встал, подставил лицо под струю холодной воды и стоял так, пока не заняли скулы, потом закрыл кран, утерся серой тряпкой, которая заменяла полотенце, и энергично, по-солдатски размахивая руками, зашагал вдоль камеры туда-обратно.

...Раз-два-три-четыре-пять-шесть. Дверь. Кругом. Раз-два-три-четыре-пять-шесть. Стена. Можно ли дотянуться до окошка? Можно, да ни черта не увидишь. Летом из окна рavelина был виден хоть кусок неба, все-таки развлечение. А тут — матовое стекло: начальство предусмотрительно. Кругом. С детства пальцами вколотили — поворот только через левое плечо. Кругом. Попробуем через правое... Смешно, не получается. Еще раз. Так, теперь шагом марш. Ну, Ипполит, как это тебе удалось заснуть? Почему дежурный унтер не разбудил? Он обычно зыркает в глазок и сразу стучит, если задремлешь и закроешь глаза... Или унтера самого сморило? Не похоже. Значит, ты спал с открытыми глазами. Возможно ли такое? Возможно. Вспомни, в рavelине Колодкевич сообщал, что он научился спать днем, не закрывая глаз. По ночам Колодкевич страдал бессонницей. Теперь бессонница и у тебя. Значит, ты сидел на стуле как примерный узник, не нарушал режима, а к тебе тем временем явился государь-император. Мило побеседовали. А вдруг? Нет, спокойно, нечего пугаться. Это не галлюцинация. И голова легкая, отдохнувшая, как после

32 сна. Кстати, тебе снилось, что ты сидел на койке.

А койка поднята... И так, сон среди бела дня. Как же это произошло? Ты вспоминал молодость, свой визит в Зимний дворец, потом разговор с подполковником Артоболевским, потом возникла какая-то кошечка... Вот, значит, с этого момента. Ну что ж, превосходное времяпрепровождение! И во сне, кажется, ты вещал красиво. Оратор. Пытался сагитировать самого царя-батюшку. «Сколько веков губила Русь вера в добрые намерения царя!» Неистребима в русском человеке вера в добрые намерения царя и вообще в начальство. Любопытно, что бы ты говорил, если б тебе приснился не царь, а просто какой-нибудь жандармский поручик? Снизшел бы ты до беседы с простым жандармом? Вот унтер заглядывает в глазок. С ним разговаривать почему-то неохота. Ни во сне, ни наяву. Другое дело — Александр Николаевич. Надо постучать Попову, поделиться «монархическими восторгамми».

Снизу, с дальнего конца галереи, раздался глухой грохот (колотили в дверь) и сдавленные крики: «Бьют, душат!»

Мышкин вздрогнул и бросился к двери своей казармы. «Живым не дамся, живым не дамся, — лихо радочно работала мысль, — но что схватить? Стул привинчен. Может, лампу? Отбиваться лампой?»

Крики смолкли. Мышкин был уверен, что все узники стоят у дверей своих камер, прислушиваются.

— Бьют, душат! — опять донеслось с нижней галереи, но в этом крике не было призыва о помощи. Голос повторыл слова протяжно, деловито.

Нет, конечно, никого не били и не душили. Так мог кричать только помешавшийся Щедрин. Опять у бедняги начался припадок. К этому тюрьма уже привыкла. Сейчас прибегут Заркевич, Соколов с ун-

терами, и Щедрина куда-то уведут. Так и есть: вни-  
ву какая-то возня, но голоса Щедрина не слышно.

Мышкин продолжал метаться по камере, повто-  
ряя: «Живым не дамся, живым не дамся!» Он отчет-  
ливо сознавал, что в данный момент ему лично ниче-  
го не угрожает, но не мог с собой совладать, потому  
что неожиданно ярким было воспоминание, как его,  
Мышкина, били в Новобелгородском центре.

В мае 1880 года он «оскорбил действием» смотри-  
теля Новобелгородского централа Копнина. Попро-  
сту дал ему пощечину. К этому моменту Мышкин  
провел в заключении уже пять лет. Если некоторое  
время его поведение не было «вызывающим», то  
только потому, что он готовился к побегу. Но планы  
рухнули, надежд не осталось. Что ж, вести себя тихо?  
Лебезить перед надзирателями? Благодарствовать за  
тюремную похлебку? Не на такого напали. Он дол-  
жен был показать и жандармам, и администрации, и  
всем этим трусливым чиновникам, что его, Мышкина,  
не сломали, что он не смирился. Революционер и в  
условиях каторги продолжает борьбу.

Когда он ударил Копнина — ударил в церкви, во  
время службы, — на него мигом набросились, скрути-  
ли. И в этот момент он был готов на все: пусть тут  
же, при всех, его казнят, расстреляют, четвертуют.  
Он не чувствовал боли, не ощущал ударов, он все че-  
ловеческое оставил за чертой.

Но ведь они еще не начинали бить по-настояще-  
му. Может, тут сказался многолетний опыт тюрем-  
щиков: дескать, пускай остынет, придет в себя, осоз-  
нает, и вот тогда...

Связанный, он лежал на деревянном топчане в  
караулке, а надзиратели неторопливо и добросовест-  
но готовились к процедуре избиения.

— Ишь, падло, на смотрителя руку поднял,— говорил вахмистр,— сейчас мы ему зубы пересчитаем...

— Прохорыч, одевать рукавицы аль нет? — спрашивал молодой надзиратель.

— Сапогами, только не в рожу,— советовал Федотыч, самый старый из жандармов.— Следователь аль комиссия нагрянет, хлопот потом не оберешься.

На секунду он подумал, что эти разговоры не имеют к нему никакого отношения. Вдруг речь идет о совсем другом человеке? Может, надзиратели страшат? Связанный, на топчане, Мышкин чувствовал свою абсолютную беспомощность. Ожидание — это страшно. Он стиснул зубы и приготовился. Надзиратели не шутили. Будут бить именно его. Оставалось только гадать: как, куда и сколько это будет продолжаться.

...Его стащили с топчана. Он видел перед собой лица трех надзирателей, причем самое интересное — на него смотрели без злобы, даже с некоторым любопытством. Примеривались. «Не буду кричать,— решил Мышкин.— Пусть убьют, но не крикну». Потом черный, смазанный жиром сапог оторвался от пола, пошел назад, стремительно приблизился (и опять он успел подумать, что все это не имеет к нему отношения, просто страшный сон). Словно оборвалось что-то в животе, он согнулся от дикой боли, но его схватили за плечи, разогнули, несколько ударов в лицо — и сразу во рту соленый привкус... Кто бил, он уже не понимал. Удары прекратились.

— Смотри на зверюгу,— сказал молодой надзиратель, и в голосе его Мышкин уловил некоторое разочарование.— Молчит. Может, зубы выбить?

— Не торопись, парень,— степенно проговорил Прохорыч, и почудилось, будто он подмигнул ему,



Мышкину, подмигнул как соучастнику.— Сейчас он у нас запоет, ой как петь будет! Ложки его на пол.

Мышкина положили на живот и каблуками начали бить ниже лопаток. Мышкин застонал, потом закричал, и до последнего момента ему казалось, что это кричит не он и вообще так не может кричать человек, а самого его, Мышкина, уже нет (просто смерть затянулась), — и так продолжалось до того момента, когда он изловчился, рывком поднял голову и наткнулся лицом на кованый сапог.

Это и спасло Мышкина от дальнейших мучений. Он потерял сознание.

Потом был карцер, потом лазарет, потом Мышкин вернулся в свою камеру и видел ежедневно своих палачей. И когда, сидя на подводе, он в последний раз оглядывал внутренний двор Новобелгородского центра, к нему подошел самый старый из тех троих — Федотыч, снял фуражку, перекрестился и с волнением в голосе сказал:

— Прощевай, барин. Бог даст, свидимся на миру. Извили, если что не так. Сам знаешь — служба...

Снова, как из тумана, выплыли шлиссельбургские стены. В полнейшем изнеможении, как после тяжелой работы, он опустился на стул. Сидел какое-то время в своей любимой позе: подперев голову руками, и, удаляясь, затихали голоса Прохорыча, Федотыча, крики жандармов и каторжан, доносившиеся оттуда, из тюремной церкви Новобелгородского центра. Мелькнуло испуганное лицо смотрителя Копнина, застыла с поднятым кадилом рука тюремного священника; та жизнь исчезала, уходила, как вода в песок. Он пытался задержать ее или, пока еще слышны отзвуки тех дней, пока перед глазами обрывочные доскутки воспоминаний, успеть переключиться на

что-нибудь иное. Инстинктивно он прислушивался, ждал, не раздастся ли где-нибудь внизу стук форточки, шорох задвижки (он всегда ловил момент, когда унтер заглядывал в глазок), как несбыточная мечта мелькнула мысль: вдруг унтер зацепится ногой за ступеньку, упадет, то-то будет грохоту... Нет, ничего. Наступала крайне неприятная минута (он давно научился предугадывать ее и, случалось, ловко перескакивал на какие-нибудь новые мысли или воспоминания, но сейчас никакие уловки не помогали) — минута, когда узник начинал слышать мертвую тишину тюрьмы. Тишина ползла от стен, наваливалась, давила на уши, тишина звучала нарастающим, слаженным звоном-стрекотом миллионов крохотных цикад. Этот беззвучный звон, шорох, стрекот усиливался, оглушал, и тут требовалось собрать всю волю в кулак, не кричать, не биться головой об стену, ибо за этим обвалом тюремной тишины стоял страх, страх, который испытывает человек, понявший, что он заживо, навечно погребен в могиле.

Сосредоточиться на чем-нибудь другом: отекают, болят ноги, — наверное, ревматизм, еще бы: такая сырость в камерах.

Но болят уши, непрекращающийся звон!

Опять стали кровоточить десны — конечно, все признаки цинги, зубы шатаются, машинально отдергиваешь руку, ибо кажется, что стоит дотронуться до зубов, как они безболезненно выпадут в ладонь.

Давит, давит на барабанные перепонки. Как орут эти цикады! Оглохнешь, а может, уже глухой...

Мышкин заставил себя встать, подойти к стене, где висела выписка из инструкции. Последняя уловка обычно всегда помогала — чтение инструкции. Но читать вслух он не решился: вдруг не услышишь собственного голоса?

«Заклученные подчиняются установленным в тюрьме порядкам, беспрекословно исполняют требования начальника управления, помощников его и дежурного унтер-офицера. Заклученным воспрещается: шум, крики, свист, пение, разговоры и вообще действия, нарушающие спокойствие и благочиние в тюрьме».

«Заклученные в случаях болезни лечатся в своих камерах, о каждом больном врач ведет скорбный лист, вносимый им затем в алфавитную скорбную книгу».

«Для заклученных, отличающихся хорошим поведением, допускаются с разрешения начальника управления следующие снисхождения: беседы со священником, занятие работами, пользование книгами из тюремной библиотеки, освещение камер в неположенное время, и в исключительных случаях прогулки вдвоем с другими арестантами».

Кто-то в Третьем отделении явно решил проявить чувство юмора. Иначе как понять: «освещение камер в неположепное время»? Ведь керосиновые лампы никогда не гасили, как же недремлющим дежурным наблюдать за заклученными? Во-вторых, какими работами их занять? В-третьих, прогулки вдвоем? Ирод скорее умрет, чем разрешит такое. (Помогала, помогала инструкция! Верное средство. Тишина отступала, и боль в ушах прошла.) О чем же беседовать со священником? И какие же книги в тюремной библиотеке? Впрочем, он, Мышкин, не отличается хорошим поведением. Ему книги не положены. А может, постараться заполучить увесистый том Библии? Чтоб было чем отбиваться, если попытаются ворваться в камеру. Как же, отобьешься... Впрочем, идея! Обгоревшей спичкой писать на листах, и если эту книгу получит кто-нибудь в другой камере... Переписка?

инструкция! Не при царе ли она составлялась? Плод верноподданнического усердия начальника Корпуса жандармов генерала Оржевского? (Вспомнилось недосказанное в разговоре с царем.) Чиновный подлец ничем не рискует. Пускай его прожекты принесут еще большее горе народу, но он лично получит только награды. Интересно, существуют ли у этих господ угрызения совести? Ощущают ли они ответственность перед будущим? Зачем? Будущее неопределенно и расплывчато, а власть и деньги вполне реальны...

Бесмысленные рассуждения. Никчемная трата энергии. Но Мышкин продолжал «рассуждать», и, когда в камеру вошел смотритель с унтерами и потребовал, чтоб заключенный встал, Мышкин рассердился. И чтоб Соколов отвязался, он сказал ему: дескать, когда-то царь стоял перед ним, Мышкиным,— и Соколов выпрыгнул в коридор: наверное, решил, что арестант тронулся.

Эта сцена рассмешила Мышкина и сразу выбила из головы всю душеспасительную беседу.

Обход кончился. Тюрьма замолкла. Мышкин лег на койку (наконец-то можно вытянуться на спине, полежать) и начал осторожно постукивать костяшками пальцев по стене.

...Два удара, потом четыре — буква С. Один удар, потом два — буква Е. Четыре удара, потом один — Г. Четыре удара, потом три — О. Пять ударов, потом один — Д. Три удара и три — Н. Три удара, потом шесть — Я. Сегодня.

«Сегодня я вспомнил свои молодые годы; моя московская жизнь складывалась удивительно легко и удачно».

Такова была первая фраза его исповеди. Мышкин знал, что внизу, в семнадцатой камере, номер пятый,

Михаил Попов, улегся поудобнее и приготовился слушать. Однако, чтобы полностью отстучать первую фразу, потребовалось минут десять (приходилось прерываться, чтоб не пропустить крадущихся шагов унтера). В нормальной обстановке рассказ занял бы часа два. В пересказе тюремной азбукой он затягивался на месяц. Впрочем, куда торопиться? В Шлиссельбурге Мышкину предстояло сидеть еще шестнадцать лет.

## 2

**В**се шло не так, как он предполагал. А полагал Мышкин, по обыкновению, отужинать в «Славянском базаре», отметить встречу со старым приятелем. Но Ваня Лаврушкин, увидев важного швейцара, еще при входе оробел, бочком в дверь протиснулся. За столиком в зале Ваня совсем притих. Мышкин распорядился водочки принести, закуску: икру, осетрину, и любезнейший лакей Петр Семенович, что всегда потчевал Мышкина, свисходительно улыбался Ване, рюмочку обещал пропустить за здоровье «господина Лаврушкина». «Конечно, сами понимаете, Ипполит Никитич, там, на кухне, здесь не положено-с». Но и это не помогло. «Господин Лаврушкин» испуганно озирался по сторонам и только графинчик ставил к себе поближе.

Разговор не клеился.

Вовремя Мышкин заметил, что к их столику приближается значительное лицо, и успел шепнуть Ване: «Сидеть смиренно, закусывать, встанешь — убью». Значительное лицо нависло над столиком и начальственно, еле сдерживая раздражение, задышало:

— Господин Мышкин, если не ошибаюсь?

Мышкин встал, вытер губы салфеткой.

— С кем имею честь?

Значительное лицо пошло пятнами, сдавленно зашипело:

— Ротмистр в отставке, его величества лейб-гусар граф Панов.

Лаврушкин поперхнулся и начал тихо сползать со стула. Граф, удовлетворенный произведенным эффектом, продолжал выговаривать:

— Я вас, любезнейший, целый день по всей Москве ищу. А вы изволите в заведениях прохлаждаться. И где вас носило, молодой человек?

— Покорнейше прошу, ваше сиятельство, присаживайтесь,— чужим голосом предложил Мышкин.

Значительное лицо графа дернулось. Мышкина услышать не пожелали. Граф продолжал:

— Мой лакей заезжал за вами в гостиницу. Там объяснили, что вы имеете привычку,— граф нажал на последние два слова,— ужинать в «Большом московском» или в «Славянском». Мне пришлось лично объехать рестораны, ибо дело государственное и не терпит отлагательств. В ваши годы, молодой человек...

— Не считаю обязанным давать отчет,— монотонно заговорил Мышкин,— но чисто из уважения к преклонному возрасту графа смею сообщить, что в четыре пополудни было совещание у господина обер-полицмейстера.

— В четыре пополудни? — быстро переспросил граф, резко сбавив тон.— И дело Барятинского обсуждалось?

— Его превосходительство лично докладывал.

— Скандал, скандал,— живо заинтересовался граф.— И какую поставили резолюцию?

— Вынужден напомнить вашему сиятельству, что заседание сугубо конфиденциальное.

— Однако, духота здесь,— заговорил граф светским голосом.— С удовольствием принимаю ваше приглашение.

Граф опустил на стул, брезгливо покосился на засаленный Ванин сюртук. Мышкин сел, поправил салфетку, представил приятеля:

— Господин Лаврушкин.

«Господин Лаврушкин», вцепившись в скатерть, улыбнулся бледной, вымученной улыбкой. Граф милостиво кивнул и повернулся в сторону Мышкина.

— Я, видите ли, предпочитаю запросто, без чинов. Павел Николаевич, и все... Не имею чести...

— Ипполит Никитич.

— Дорогой мой Ипполит Никитич. Не хотел бы злоупотреблять вашим драгоценным временем, по дела, дела. Суть в следующем: третьего дня на выборах в Дворянском собрании я, как помните, выступал.

— Ваша речь мною расшифрована.

— И превосходно, Ипполит Никитич. Но я вынужден внести необходимые коррективы. Сами понимаете, увлечешься — и проскользнут некоторые неточности. Я бы просил вас завезти мне утром...

— Не имею права, Павел Николаевич,— сухо ответил Мышкин,— таков порядок.

Лицо графа опять обрело значительность. Голос жестко зазвенел:

— Прикажете мне лично к вам заехать? Дела по имению... Только вечером...

— Вечером поздновато,— сонно, но вежливо ответил Мышкин,— в час дня отчет будет лежать в доме на Тверской, на столе у его высокопревосходительства. Сам затребовал.

Граф крикнул, кашлянул, уселся поудобнее на стуле и весело зашелестел:

— А чего это вы скучаете, Ипполит Никитич? Не прикажете ли шампанского? Не пьете? Зря, «Редерер» очень освежает. Вот я вижу, что господин Лаврушкин на этот счет другого мнения. Человек, шампанского! Одобряю: после стольких трудов почему себе не позволить... Миссия ваша, Ипполит Никитич, особенно и почетна, государственные дела, особо важные, — все проходит через ваши руки. Но если сам его превосходительство...

«Господин Лаврушкин» вдруг очнулся и с пьяной решимостью гаркнул:

— Государь-император благоволил диктовать Ипполит Никитичу...

Под столом Мышкин сделал резкое движение ногой. Ваня ойкнул, а в зале, набирая силу, гремел голос его сиятельства, лейб-гусара, отставного ротмистра:

— Человек, почему не холодное? Врешь, только что в лед положили! И я просил «Редерер», понимать надо, растяпа! Две бутылки.

Милейшей душой оказался граф. Забавный анекдотик сообщили-с. Вскользь заметили-с, что сами-де прогрессивных взглядов, за что по службе изволили-с пострадать. И не поверите, господа, какие интриги в высших сферах. Ипполит Никитич, конечно, в курсе, однако с его превосходительством генералом Архиповым случайно не знакомы? Ваше счастье. Дубина и солдафон. Конечно, господа, это между нами. Ваше здоровье, господин Лаврушкин!

Договорились, что граф в десять утра заедет к Мышкину в гостиницу.

Граф откланялся, «господину Лаврушкину» долго руку тряс. Петр Семенович, на которого недавно кричал лейб-гусар, приборы сменил, свежую скатерть



расстелил. «Скромничать изволите-с, Ипполит Никитич, какие приятные знакомства водите-с. За шампанское получено-с. Очень я вам ростбиф рекомендую-с». А Ваня-то, тишайший «господин Лаврушкин», словно вырос аршина на два, соколом на дам поглядывал, все не мог успокоиться.

— И когда я тебя, Ваня, в люди выведу?

— Ой, выводи скорее, Полкаша. В людях так приятно! Чтоб с их сиятельством господином ротмистром за столиком в «Славянском базаре» вальжничать.

— Дурак ты, Ваня. В другой-то раз граф мимо пройдет, плечом заденет и головы не повернет. Просто третьего дня на выборах предводителя наговорил граф либеральных глупостей, а ныне с этим строго. Нынче не шестьдесят первый, а семьдесят второй год! Государь на тульских помещиков разгневался, когда они ему петицию о новых реформах послали. Не слышал? Ну вот, а в Москве все разом узнается. Поэтому граф и засуетился. Впрочем, не он первый, не он последний. После очередной говорильни у меня в гостиной хоть приемы устраивай.

Не понял Ваня, продолжал свою песню:

— Дави их, Полкаша, топчи благородия. Хватит, они нашей кровушки попили. Теперь нам воля вышла. Ты правительством в Москву послан, тебе генерал-губернатор руку подает.

— Закусывай, Ваня, закусывай. Противно слушать, какую ахинею плетешь. Воля не в том, чтоб людей топтать да властью пользоваться. Воля, когда равные права предоставлены. Помнишь, я был первым учеником в классе, однако в военную семинарию меня не взяли. Для солдатских детей там шлагбаум. «Подлое» происхождение нам в нос тыкали. Но теперь давай по-честному: кто — кого. Да, я первый стенограф

в Москве, правительственный. В Большой дом на Тверскую, к обер-полицмейстеру, в судебные палаты, в окружной суд, на заседание земства — кого приглашают? Ипполит Никитич, извольте пожаловать! А все почему? Да потому что я один часа четыре без перерыва стенограмму веду...

Ваня как-то затрезвел и поскуучнел.

— Уважаю тебя, Полкаша, скорость твоя неслыханна, но ты только мне не заливай. Худо-бедно, я сам стенограф. Четыре часа без перерыва? Сие невозможно.

— Возможно, еще как возможно. — Мышкин даже обиделся. — Да на следующий день, пожалуйста, расшифрочка, чистая и точная, готова. Уметь надо работать. А иначе чем их побьешь, дворянских сыпков? Только трудолюбием и усидчивостью. Вот я в ресторане обедаю и по Москве на лихачах разъезжаю — так мне дешевле. Почему? Лишнее время выкраиваю. А каждый час моей работы знаешь как дорог? Я более четырехсот рублей зарабатываю.

Ваня одобрил:

— Четыреста годовых? Это солидно.

— Четыреста в месяц, — пояснил Мышкин.

«Господин Лаврушкин» исчез под столом и вылез оттуда нескоро, размазывая слезы.

— Ты же миллионер, Полкаша! Больше генерала получаешь! Дом надо купить, имение. Великий человек, — Ваня всхлипнул, — четыреста целковых в месяц загребаешь.

— Не загребаю, а за-ра-ба-ты-ва-ю. Я полночи за столом проसиживаю, пишу, пока рука не омертвеет. Еще судебную хронику для Каткова веду, успеваю. Теперь понял?

...Лихо тогда посидели с Лаврушкиным, хорошо. Пообещал Ипполит, что пристроит приятеля к делу,

сам рекомендацию даст. Ваня все целоваться лез и в любви клялся до гроба.

Отвез Мышкин приятеля в Марьину Рошу, а сам в Сокольники покатыл. В маленьком домике с мезонином ждали Мышкина. И почему бы ему не поехать, богатому, удачливому, двадцати четырех лет от роду, на тихую зеленую улочку в Сокольниках, где ждут его в доме с мезонином, молодая хозяйка ждет? Но вовремя вспомнил Ипполит: утро занято встречей с гусарским ротмистром, а в час дня надо быть у губернатора на Тверской. И со свежей, отдохнувшей головой непременно. А посему приказал лихачу повернуть к гостинице.

Когда в Москве комиссии на вакансии распускались, уезжал Мышкин по вызовам в Херсон или Рязань. Не за рублем гонялся — просто не любил бездельничать, ценил работу.

Господи, сколько он работал! Сколько пудов бумаги исписал! И ни одной ошибочки в расшифровке не допускал, грамматической ошибочки (задача для стенографа не первая, но тут был особый шик, профессиональная гордость), о других ошибках и разговаривать нечего.

Обычно стенографы речь неторопливую предпочитали, с паузами. Ежели оратор начинал захлебываться, частить, нервничал стенограф, шли неизбежные пропуски. Ну а спор затевали горячий, когда уже на личности переходят, — тут стенограф был бессилён: карандаш ломал, руками разводил, мол, помилуйте, господа почтенные, разве за вами угонишься?

На один голос накладывается второй, третий словечки вставляет, четвертый басом заглушает, — а Мышкин в самый азарт входит. Иногда сам себя спра-

шивал: что, если десять человек одновременно — успеет? И верил — успеет. Правда, с расшифровкой мучился, однако память выручала. Когда спор завязывался, не поймешь, о чем говорят; важно записать, что говорят. Потом голову ломаешь: чьи же это слова? Но каким-то особым чутьем в волнообразных строчках своей шифровки различал Мышкин интонацию слов и по интонации определял автора.

Чего только не бывает... Однажды два почтенных генерала как петухи сцепились. Один все смысла в донесении агента не углядывал. Другой генерал не вытерпел и посоветовал его превосходительству вставить это донесение себе в... — может, тогда углядит. Какая тут буря поднялась: «вежливость» поперла, парламентские выражения!.. Отцы города, не налюбуйтесь! И еще смеялся Мышкин потому, что теперь словпо видел себя со стороны: ведь он один-единственный сохранял на заседании спокойствие и невозмутимость. Скандал прошел мимо него, он лишь успевал записывать. Но сие могли истолковать по-другому, подивиться его выдержке, корректности. Да жаль, что никто не заметил.

Заметили. Его превосходительство, сухой, желчный генерал, обер-полицмейстер Москвы, листал стенограмму и покусывал нижнюю губу. Хмыкнул, строго глянул на Мышкина. Мышкин сделал соответствующее лицо.

— Напозволяли себе наши старички, — усмехнулся генерал. — Одно непостижимо: как вы успели записать этот бедлам? Есть вещи, перед которыми я пасую. К примеру, модная наука — электричество. Я честно признаю — не понимаю. И ваше искусство, господин Мышкин, тоже для меня загадочно. Феномен. Но смею уверить, что мы усердие ваше отмечали не раз. И ваша благонамеренность, — генерал бросил

выразительный взгляд на листки стенограммы, — весьма похвальна. К сожалению, человек ни от чего не застрахован. От судьбы не уйдешь: случайность, неприятности, гм... щекотливое положение. Но, господин Мышкин, помните: все, что в моей власти... буду рад.

И с гордой усмешкой покинул Мышкин высокий кабинет: оценили его профессионализм, умение, а это всегда приятно.

В Олесьем переулке, под двумя старыми липами, маленький дом с мезонином. Расторопная румяная Клаша уже в дверях строила глазки:

— Здравствуйте, барин! Чегой-то совсем пропали!

И почтения в голосе не было. В темной прихожей норовила прислониться. Знала, конечно, что никакой он не барин, но раз хозяйка принимает... А в столовой самовар гудит. А в спальне усатый поручик, масляной краской писанный, хмуρο со стены на кровать поглядывает. А на кровати взбитые подушки, и наволочки затейливо вышиты. Рыжий кот на зеленом атласном покрывале жмурится, потягивается.

— Обожрался Васька, обнаглел, совсем мышей не ловит, — и глазки лукаво стреляют: в угол, на нос и на Мышкина — благо, хозяйка в другой комнате.

Вдова пехотного поручика, случилось, журчала нежно, с придыханием, но только запомнил Мышкин другой ее голос — напористый, грудной, слова сыплются, как искры из самоварной трубы.

...Кружева, подушки, бледное пятно вместо лица — вот и все, что вырисовывается девятнадцатому номеру в желтом, немигающем свете керосиновой лампы. Еще портрет пехотного поручика смутно вспоминается, черные глазки разбитной Клаши, но сама

хозяйка — нет, бледное пятно. Однако голос ее, трубный, напористый, глухой голос, гудит в памяти:

— Ты всегда, Ипполит, ко мне откуда-то приезжаешь словно невзначай, заворачиваешь по дороге... Духами не пахнет, странно. Новая рубашка, почему? Говорила, не смей ничего покупать без меня. И шить надо не у Зайцева, а у Циммермана. У Зайцева купцы одеваются, от него луком пахнет. Деньгами сорись. Видно, не привык жить на жалованье. Матери посылать надобно, но немного. В Пскове жизнь дешевле. А брата Григория зря балуешь. Знаю я кондукторов: лишний рубль в соблазн вводит, к трактиру тянет. Денег твоих не считаю, не надобно. Пенсией за Михай Егорыча обеспечена. Я тебя, Ипполит, благородным хочу сделать. Дело ты знаешь, а обходительности ни на грош. Нынче эмансипация, но по одежке встречают. От твоего ума одна бестолочь. Книжный ум. Чтоб в «Московской» обедать да на лихачах щеголять, большой смекалки не надо. Я бы кормила, и не хуже, чем в гостиницах. Чай, не обеднею. Вон люди жмутся, копейку копят, а потом землю покупают. Годков через пять на земле в два раза выгадаешь. Ты бы поприжался, в долг у приятелей взял, а там, глядь, и дом где-нибудь на Плющихе осилил. Доходный дом. Жильцам меблированные комнаты бы сдавал. Прибыль чистая, черпай, как из реки. Не по душе это занятие? А я на что? За жильцами следить — женский глаз нужен, а ты дома сиди, книжки почитывай, в театр похаживай, гостей хороших приводи. Это я хочу лишить тебя свободы? Солдат, мужик, а я офицерская вдова. Уходи, уходи! Чтоб духу твоего в моем доме не было! Я для него своей честью пожертвовала, неблагодарный! В пору к речке бежать да с моста вниз бросаться. Уйди! Постой! Ипполит, я же тебе добра желаю. Дай платок. Чьи духи? Нет у меня таких. Ах, да, на

Сретенке покупала. Ладно, ладно, успокоилась. Бороду пора подстричь. Я ж хочу, чтоб лучше, чтоб у нас с тобой было как у благородных.

...Мягко прыгают по булыжнику резиновые шины пролетки. Под весенним солнцем модистками и барышнями расцвели тротуары Кузнецкого моста. Ипполит Мышкин в модном темно-сером с искрой фраке вольготно откинулся на спинку сиденья, надвинул на глаза высокий английский цилиндр. Прощай, Олений переулочек! Не нужно Мышкину доходного дома на Плющихе, не нужно земли. Слава богу, понял, что главное — свобода. Молодой, независимый, счастливый.

\* \*

\*

Высокий, чуть окающий голос каждую фразу как топором рубит, в такт ему вздрагивает пламя свечей, отблески скользят по книжным полкам, где за стеклом выстроились ряды толстых фолиантов в старинных кожаных переплетах. У хозяина кабинета мужицкая борода, высокий лоб мыслителя, стеклянные навывкате глаза.

— Не графы адлерберги, не фон палены, не шперзоны спасут Россию, — вещает голос. — Издавна так повелось: господин Великий Новгород гнал в шею заморских князей; Марфа-посадница правила вольным Псковом; не боярина Сигизмунда, а боярина Романова посадили у нас на русский трон. Забыли мы заветы отцов и дедов, на поклон к немцу и англичанину бегаем. Хорошее перенимать не зазорно: государь Петр Алексеич прорубил окно в Европу, и слава ему! Худо другое: без разбора, рабски, все перенимаем. Помните, как в комедии господина Грибоедова: «Хлопочут набирать учителей полки, числом поболее, ценою подешевле...»

Тускло поблескивают за стеклом корешки старинных книг. На столе хозяина кабинета — господина Каткова, редактора «Московских ведомостей», — гранки и корректуры. В кресле, где сейчас пристроился Мышкин, сживали маститые Тургенев, Григорович, Лесков, да и нынешние модные сочинители — граф Лев Толстой, Достоевский.

— ...Были целые племена, были могущественные царства, которые исчезли, оставив лишь несколько образчиков для этнографов, несколько обломков для археологии. Народ, призванный к историческому бессмертию, должен иметь значение для человечества. Народ, который рабски перенимает у других и живет плодами чужого ума, лишен внутреннего достоинства. Но и один природный ум, без серьезного и широкого образования, не может принести истинной пользы. Вопрос: чему и у кого учиться? Нам ли подражать Европе, которую Русь двести лет от татар спасала? Вот лондонский звонарь заграничные рецепты прописывал, немецкие социальные пилюли русскому мужику предлагал. Но когда поляк мятеж поднял, кто первым ликовал, кто подстрекал славян на братоубийственную войну? Да, в польскую кампанию отклеилась борода у ученого барина Александра Ивановича. Не русский патриот, а журнальный фокусник со страниц «Колокола» выглянул. И нет журнальчика, исчез за ненадобностью. Поучительная судьба для тех, кто оторвался от народа...

«Как он ненавидит Герцена! — подумал Мышкин. — Почему? Усердствует перед властями? Нет, Катков искренен, и потом он никого не боится. Помнится, было время, когда граф Валуев, министр внутренних дел, затягивал петлю на Каткове. Но не дрогнул человек со стеклянными глазами и мужицкой бородкой, не ловчил, не отступал. «Московские



ведомости» устояли — могущественный министр потерпел фиаско».

— Ипполит Никитич!.. Отчество какое — Никитич! Так звали русского богатыря Добрыню. Пора пришла о будущем подумать. Не век вам чужие слова записывать. Сын солдата? Гордиться надо такой родословной. Государь призывает народ к кормилу правления: У России свой, особый путь, богом predetermined. Конечно, не все сразу. Темнота, взяточничество, бюрократия как веревки опутали здоровое, сильное тело крестьянина. Но кому, как не русскому человеку, развязывать эти узлы? Государь повелел, и мы вступили на этот путь. Критиканы в женевских кофейнях злорадствуют: тут плохо, там плохо,— но они за деревьями леса не видят, они злословят, кофеек потягивают, трубочку покуривают, а мы тут обливаемся потом, лопатами грязь выгребаем.

Затихает высокий, чуть окающий голос, гаснут отблески свечей в стеклянных дверцах книжных шкафов. Двенадцать лет минуло с того дня, как умный, лукавый редактор, газетный воротила хотел «купить» Мышкина, обратить его в свою веру. Рассказать об этом Попову?

...Четыре удара, пауза, три. Пять ударов, пауза, один. Три удара, пауза, три. Один удар, пауза, один. Два удара, пауза, два. Пять ударов, пауза, один. Шесть ударов, пауза, один. Однажды.

«Однажды вечером, в зиму семьдесят второго года, меня пригласил Катков, и беседовали мы часа три наедине».

Чтобы полностью отстучать эту фразу в семнадцатую камеру, потребуется минут десять. Впрочем, куда торопиться? В крепости сидеть еще шестнадцать лет.

Внимание. Так и есть. Шорох задвижки. Надо бы закрыть глаза и притвориться спящим. Можно и не закрывать, зачем? Кто-то за тобой наблюдает. День и ночь. Что бы ты ни делал: сидел, лежал, спал, умывался, пользовался клозетом, ходил по камере, мечтал — за тобой наблюдают. Рассматривают. И это самое мучительное. Некуда спрятаться. В конце концов создается впечатление, что все твои мысли читаются. Воспоминания, картины прошлой жизни рассматриваются. Не остается ничего своего, интимного, личного. Кажется, что ты замурован не в каменном мешке (и каменный мешок можно превратить в свою крепость) — тебя содержат в стеклянной колбе. Стекло особое, оно прозрачно только для тех, кто снаружи. Ты не видишь никого, а тебя анонимно рассматривают. Опустили щеколду? Нет, глядят отовсюду — через стены, через потолок. Как будто бабочку проткнули иголкой и изучают через увеличительное стекло: долго ли она будет трепыхаться? Долго. Ты постепенно состаришься, выпадут зубы, поседеют волосы, ноги скрючит ревматизм. Когда ты отсюда выйдешь, тебе будет пятьдесят три года. Жизнь кончена. Старик. Впрочем, еще надо выйти отсюда. Каждую минуту, каждый час, каждый день. В году триста шестьдесят пять дней; шестнадцать лет — это... пять тысяч восемьсот сорок дней — бабочкой на иголке, которую рассматривают. И выйдешь ли отсюда, или тебя вынесут?

Нет, к черту эти мысли! Опять отвлекся. О чем же ты недавно думал? Вспоминал свой разговор с Катковым. Все-таки некоторое впечатление на тебя произвел Михаил Никифорович, знаменитый редактор и литератор, и помнится ты просмóтреть подшивку «Московских ведомостей», так сказать, определить общественно-правственную линию газеты.

Случилось это на масленицу. Праздники для тебя всегда были самым бессмысленнейшим временем. Запасешься книгами, запрешься в номере... Ведь работы никакой, а гостиница гудит, в коридоре — топот, под окном — разухабистое пение.

Вышел в буфет, попросил графин вишневого квасу. Буфетчик на тебя кинул ошалелый взгляд. Тут же рыло какое-то привалилось к стойке, рыгнуло и пробасило:

— Ми-не штоф водки!

И одобрительно крикнул буфетчик: «Вот это человек!»

Дверь на ключ. Хорошо бы уши зажать ладонями. Теперь почитаем передовую. Их обычно сам Михаил Никифорович пишет...

«Загадочна народная душа. Издавна на Руси говорят: «Кто не работает — тот не пьет». Но сердцем мужик чист и гласу божьему внемлет. Мы мечем молнии против пьянства, подсчитываем, сколько шагов от церкви до кабака, и не понимаем, что народ — просто большой ребенок. Займите его ум, завладейте его воображением, избавьте народ от всего запутанного, неясного, неопределенного».

Информация: «В опере публика освистала итальянских певцов и потребовала исполнения государственного гимна «Боже, царя храни!»».

В пору слезы пролить от такого патриотизма...

«...В Немецком клубе имеет быть маскарад с участием оркестра «Лира» и военной музыки господина Крейберга. Кавалеры и дамы могут быть замаскированы в приличных костюмах».

Ну что ж, выучим мы мужика грамоте, и начнет он газеты почитать. Узнает много интересного. Например:

очищающий вино по методе Попова, предлагает свои услуги. Узнавать у Никитских ворот».

«Брауншвейгское пиво — чистый солодяной сок, неподдельного товара. Рекомендуются против слабостей, грудных болезней».

А вот и серьезная статья:

«В губерниях внутренних народный быт — есть материк, непоколебимо твердый... Меры, принимаемые правительством, доказывают его заботливость о развитии у нас городской жизни...»

Большая забота! На последней судебной сессии засудили двух мещан. В кулуарах потом прокурор хватался: «А улики-то совсем не было. Я никак не думал, чтобы присяжные обвинили...» Гласный суд? Сплошное лицемерие!

Лицемерием пропахли даже газетные объявления:

«С высочайшего соизволения: большая лотерея в пользу кассы для пособия женскому полу, лицам, служащим при заведениях попечительства о бедных в Москве». Надо же, с высочайшего соизволения!

А вот просто и откровенно: «Акушерка Красовская имеет комнаты для дам и принимает детей на воспитание».

Или она тоже действует с высочайшего соизволения?

Поистине, правительство заботится о развитии у нас городской жизни... Пожалуйста, каждому — свое:

«Старухам и молодым, вдовам и девицам — вольдегановские щетки, наставления, как избежать заражений секретными болезнями».

«Американские капли против зубной боли действуют мгновенно, исцеляют также нервные страдания головы, лица и ушей...»

Как все просто! Зачем мучиться над проблемами добра и зла, социальной несправедливости? Амери-

канские капли мгновенно исцеляют страдания головы.

В заметке, напечатанной мелким шрифтом, какой-то либерал горестно вздыхает: «Не совсем хорошо у нас еще с медицинской помощью. Выборочное обследование некоторых домов за Рогожской заставой показало, что половина детей в бедных семьях больны туберкулезом». Подумаешь, какая ерунда, зато «волшебная вода доктора Мореля окончательно разрешила задачу постепенного окрашивания волос на голове и бороде, она одна исполняет все, что обещает».

И вообще, кто сказал, что Российская империя — отсталая страна? Вот, пожалуйста, можно купить «известное во всей Европе, привилегированное и признанное лучшим средством для уничтожения крыс, мышей и кротов. Средство имеет приятный запах и действует моментально. За верный успех ручаются».

А это — для всех российских граждан и тоже, наверно, имеет приятный запах и действует моментально: «Своры, ошейники, цепи, намордники, арашники — выбор хороший, цены умеренные»... Забыли только добавить «за верный успех ручаются»...

...Поздно вечером вышел Мышкин на улицу дышать свежим воздухом. Снежные сугробы. Слепые деревянные дома. Трое пьяных в рваных тулупах шли, приплясывая и подпевая в такт гармошке:

И в распухнувшее тело раки черные впились...

И в распухнувшее тело раки черные впились!

Шли, наслаждаясь «заботой правительства о развитии городской жизни», шли, сохраняя в себе «материк пародного быта, непоколебимо твердый», шли своим особым, богом и Катковым предопределенным путем.

**Т**ы помнишь, — отстукивал Мышкин Попову в семнадцатую камеру, — что в начале семидесятых годов о будущем России толковали все: профессора и студенты, разночинцы и офицеры. А сколько «ужасно революционных прожектов» я слышал на заседаниях земства и даже на выборах уездных дворянских предводителей! Ну хорошо, если отбросить наносное и спекулятивное и следить только за высказываниями людей, бесспорно честных и искренне озабоченных судьбами народными, все равно создавалось впечатление путаницы невероятной. Вопросы решались разом, и трудно было разобраться, что больше волнует: разорение крестьян или проблема фиктивных браков. Правда, модному среди либералов веянию — идти на поклон к мужику — я не поддался. Искать в крестьянском укладе смысл жизни — барская забава. Я понимал, что мужика в первую очередь надо было учить грамоте, причем как в прямом смысле этого слова, так и в переносном: пужно было раскрыть мужику глаза на существующую несправедливость в социальных отношениях. Долгое время у меня сохранялась иллюзия, что пропаганду можно вести легальным путем. Только действовать, думал я, надо осторожно и по-умному. Весной 1873 года я купил типографию на Тверском бульваре. Признаюсь, я не спешил связывать себя с революционными кружками студентов-разночинцев. Да и нелегко было сразу отказаться от программы Лаврова — «сначала пропаганда и подготовка» — и принять на веру слова Бакунина: «Ничего не стоит взбунтовать любую деревню»...

## ОТ АВТОРА:

Мышкин не стал подробно объяснять Попову, как и почему он, Мышкин, пришел в революцию. А если бы захотел, то вряд ли дежурные унтера и смотритель Соколов позволили бы ему «произнести» столь длинную речь.

Мышкин сидит в Шлиссельбурге третий месяц. Боюсь, многого о себе он не успеет рассказать. Попробую сообщить о своем герое самые краткие сведения.

Ипполит Мышкин родился в Пскове в январе 1848 года. Отец — унтер-офицер, мать — крепостная крестьянка. Учился в Псковской школе кантонистов, потом в Петербургском училище военного ведомства. В августе 1864 года он получил звание унтер-офицера топографа и начал прохождение обязательной военной службы при штабе войск гвардии Петербургского военного округа. Осенью 1865 года Мышкина перевели в Николаевскую академию Генерального штаба. Выйдя в отставку в 1870 году, Мышкин сдал через год в Новгороде экзамен на звание домашнего учителя. С осени 1871 года жил в Москве, получив должность правительственного стенографа при окружном суде.

4 мая 1874 года Мышкин открыл типографию на Арбате. Эту дату можно считать началом его активной революционной деятельности.

Типография проработала всего лишь месяц. 9 июня полиция произвела обыск и обнаружила нелегальную литературу. Летом того же года Мышкин уезжает за границу и возвращается осенью, чтобы организовать побег Чернышевского из Вилуйской ссылки.

20 июля 1875 года Мышкина арестовывают по дороге в Якутск, под Бадазанковской станцией.

15 ноября 1877 года он произносит на «процессе 193-х» свою знаменитую речь.

28 января 1878 года суд приговорил Мышкина к десяти годам каторжных работ.

За речь, произнесенную в сентябре 1881 года в иркутской тюремной часовне над гробом умершего товарища Льва Дмоховского, Мышкина приговаривают еще к пятнадцати годам каторги.

В ночь на 20 апреля 1882 года Мышкин бежал из Карийской тюрьмы и был арестован 21 мая во Владивостоке.

Летом 1883 года, «как главного зачинщика беспорядков», Мышкина переводят в Петербург, в Петропавловскую крепость, а с 4 августа 1884 года содержат в Шлиссельбургской крепости...

Теперь с хронологией полный порядок. Странно было бы требовать от Мышкина последовательного изложения своей биографии. Он рассказывает то, о чем вспоминает в данный момент.

Только что он обмолвился, что, дескать, не спешил связываться с революционными кружками. Почему? Проявлял излишнюю осторожность и не хотел «раскрываться» перед полицией?

Думаю, что истинную причину своего поведения он Попову не сообщит. А причина, на мой взгляд, такова: в то время кружки объединяли молодежь преимущественно из разночинцев и дворян. И вот революционерам «дворянского происхождения» солдатский сын Мыш-



кин не очень-то верил... Вероятно, свою ошибку он осознал уже на большом «процессе 193-х». Сейчас, после стольких лет совместной борьбы, стыдно признаваться Попову в подобной наивности...

Может быть, Мышкин колебался, вступать или не вступать ему в революцию? Таких колебаний не было. На этот счет есть документ — письменное заявление Мышкина товарищу обер-прокурора Сената. Мышкин написал его в 1876 году, когда сидел в Петропавловской крепости в ожидании суда. Кстати, получив сию бумагу, товарищ обер-прокурора потребовал, чтобы Мышкину запретили подавать какие-либо заявления. Судейский чиновник понял: Мышкин сочинил это письмо не с целью самооправдания, а в надежде, что заявление попадет в руки адвоката, проникнет в прессу и таким образом станет пропагандистским документом.

Вот отрывки из этого письма:

«...По какому-то странному недоразумению никто из лиц, допрашивавших меня, ни разу не предложил мне вопрос: что побудило меня вступить в ряды людей, действующих против нынешнего государственного порядка?..

Я сын бывшей крепостной крестьянки и солдата. Рассказы о горьком, несчастном житье крестьянском, о кровожадной жестокости помещиков, о беспощадной суровости военного начальства, раннее детство, проведенное в обстановке со всеми атрибутами бедности, — вот те первые впечатления, вот тот начальный материал, из которого слагались мои мнения в детстве о людских отношениях. Не из книг, а из собственной жизни и из жизни лиц, близких

мне, я очень рано узнал, что на свете существует два класса людей, из которых одни вечно трудятся, вечно страдают, вечно изнывают под тяжестью непосильного бремени, а другие, обладая чудным даром претворять народную кровь в шампанское и народную плоть — в шелка да бархаты, ведут вечно праздную, разгульную, пьяную, развратную барскую жизнь...

Вследствие бедности моих родителей я с десятилетнего возраста был помещен в одно из училищ военного ведомства, которые тогда только что были сформированы из бывших батальонов военных кантонистов. Благодаря домашней подготовке, учиться мне было легко, и я в тринадцать лет кончил курс, когда моими одноклассниками были шестнадцати — двадцатилетние юноши.

Я был первым учеником в классе, мне не раз приходилось выслушивать самые лестные отзывы со стороны учителей... Быть полезным другим, жить и трудиться для народа — вот единственная мысль, которою были проникнуты я и лучшие мои товарищи. Что может быть чище, светлее этой мечты? И вдруг эти мечты должны были разбиться самым неожиданным образом: от начальства вышло распоряжение об изгнании из учительского класса детей неприлежированных сословий на том единственном основании, что они, не получив-де приличного домашнего воспитания, не могут быть хорошими учителями.

И это произошло тогда, когда всюду и везде... толковали о любви к меньшей братии, о праве мужичков на все блага цивилизации, и в том числе, конечно, прежде всего на образование... 61

Пошрое, наглое лицемерие только растравляло нашу рану. Нужно было видеть, сколько слез пролито было нами, бедняками, чтобы понять, сколько злобы, ненависти накопело тогда у нас на душе. ...Я продолжал курс уже не в учительском, а в топографском отделении.

...Я шел ощупью, наобум, я брался за все: и за высшую математику, и за естественные науки, и за иностранные языки, и химические опыты производил, и ботанические экскурсии предпринимал. Из всего этого получился только один, несомненно полезный результат: я выработал в себе окончательно способность к упорному труду, к настойчивому преследованию цели...

...Мое постоянное присутствие в качестве стенографа на сессиях губернских земских собраний значительно содействовало моему политическому развитию. Когда, например, я познакомился в Херсонском собрании с таким фактом, что в губернии незадолго до введения земских учреждений администрация израсходовала несколько десятков тысяч рублей серебром на постройку моста, которого не только никто никогда не видел, но даже не знает, на каком именно месте он должен был быть построен, то у меня сам собой возникал вопрос: не строятся ли до сих пор подобные фиктивные мосты на государственный счет?..

...Мое близкое знакомство в качестве стенографа с судом, где, за весьма редкими исключениями, не видишь ничего, кроме борьбы искателей золота и искателей чинов; знакомство с редакцией «Московских ведомостей», которую легко смешать с полицейским учреждением...

знакомство со всем этим невольно возбуждало вопрос: «Почему везде в наших правящих и интеллигентных сферах так много темного и так мало светлого?»...

...Я продолжал еще верить в возможность действовать легальным путем в пользу народа, однако жизнь скоро заставила меня потерять эту веру.

...Все бессмысленное, все, поддерживающее в народе суеверие, невежество, у нас может без всякого препятствия распространяться в десятках тысяч экземпляров, а всякая дельная книга, где бы народ мог найти честный совет, полезные сведения, правдивый рассказ из собственной его жизни, преследуется как вредное, развращающее... Всякая ложь о благополучном житии нашего народа распространяется беспрепятственно... Нелепые вымыслы вроде того, что наши крестьяне щеголяют в цилиндрах, печатаются на казенный счет, то есть на деньги голодных и оборванных крестьян... И не иметь свободы изболбить эту ложь, не иметь права распространять даже сведения, собранные земской управой, — да можно ли оставаться равнодушным ввиду подобной возмутительной несправедливости?..

...Если вы хотите быть достойными Российского государства гражданами, то должны, единственно из страха тюрьмы и каторги, отречься от того, что считаете истиной...

...Меня крайне смущала противоположность требований государственной религии и правительства: евангелисты и апостолы говорят, что главный источник зла на земле заключается в частной собственности, а защитники государст-

венного порядка твердят: «Частная собственность есть основа всякого благоустроенного государства, и, кто проповедует противное, достоин тяжкого наказания»...

...Если нравственность и справедливость требуют, чтобы человек был благодарен тому, кто доводит его до голодной смерти, то, конечно, русский народ должен быть благодарен своему правительству...

...Теперь, как и прежде, российские граждане нисколько не гарантированы от произвола администрации; ни личность, ни дом их не пользуются правом неприкосновенности; во всякую минуту их могут без достаточных поводов подвергнуть обыску, сажать в тюрьму, ссылать на поселение...

...Благодаря выгоды моих стенографических занятий, мне легко было увлечься погоней за наживой, и я рад теперь, что избавился от этого омута, который понемногу начинал было втягивать меня; я рад, что окончательно отпал от «ликующих, праздно болтающих, обгаляющих руки в крови» и вступил в «стан погибающих за великое дело любви». Если в жизни мне не удалось принести большей пользы народу, то, по крайней мере, кончу жизнь со спокойной совестью, с сознанием того, что поступил так, как велел мне долг»...

Теперь нам ясно, что Мышкин не мог прикнуть к «стану ликующих, праздно болтающих», ибо с молоком матери впитал в себя ненависть к богатым хищникам. Другое дело — какой путь избрать для революционной борьбы. Этот вопрос решал для себя не только Мышкин — решало целое поколение.





Вот основные тезисы идейных вождей народничества.

Лавров:

«Перестройка русского общества должна быть совершена не только с целью народного блага, не только для народа, но и посредством народа. Лишь уясняя народу его потребности и подготавливая его к самостоятельной и сознательной деятельности для достижения ясно понятых целей, можно считать себя действительно полезным участником в современной подготовке лучшей будущности России. Лишь тогда, когда течение исторических событий само укажет минуту переворота и готовность к нему народа русского, можно считать себя в п р а в е призвать народ к осуществлению этого переворота. Революций искусственно вызвать нельзя, потому что они суть продукты не личной воли, не деятельности небольшой группы, но целого ряда сложных исторических процессов. Самая попытка вызвать их искусственно едва ли может быть оправдана в глазах того, кто знает, как тяжело ложатся всякие общественные потрясения именно на самое бедное большинство, которое принесит при этом самые значительные жертвы...»

То есть сначала агитация, сначала подготовка, все преждевременное преступно. Но Лавров был убежден, что готовить лучшее будущее смогут только «избранные, критически мыслящие личности». И раньше, чем воспитывать народ, революционеру надо воспитать самого себя.

Однако эту тактику выжидания и надежду на «постепеновщину» зло высмеивал Бакунин. Он говорил:



На просвещенного мужика надеетесь? Думаете постепенно, потихоньку, при помощи всеобщего голосования, при помощи земства и Учредительного собрания привести мужика к революции?.. «Утверждают, что должно прежде всего научить народ, а когда он научится и поймет свои права и обязанности, тогда только можно его бунтовать... Чему же вы станете учить народ? Ни лицу, ни обществу, ни народу нельзя дать того, что в нем уже не существует не только в зародыше, но даже в некоторой степени развития... В русском народе существуют в самых широких размерах те два первых элемента, на которые мы можем указать как на необходимое условие социальной революции: он может похвастаться чрезмерной нищетой, а также и рабством примерным. Страданиям его нет числа, и переносит он их не терпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием, выразившимся уже два раза исторически, двумя страшными взрывами: бунтом Стеньки Разина и Пугачевским бунтом... Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех представителей его, в каком бы виде они перед ним ни являлись. Народ наш явным образом нуждается в помощи. Он находится в таком отчаянном положении, что ничего не стоит поднять любую деревню. Надо поднять вдруг все деревни...»

И Лавров, и Бакунин утверждали, что только революция может освободить народ, дать народу землю, социализм и свободу. Но призыв Бакунина к немедленному действию имел несравненно большую популярность среди молодежи.

Любопытно, что с легкой руки Бакунина

разговоры о политическом будущем России считались «плохим тоном». Бакунин видел в революции «хороший и спасительный беспорядок». Он предполагал заменить старый мир другими, новыми, совершенно противоположными формами.

Какими именно?

Вместо четкого ответа Бакунин бросил сердитую реплику: «Всяческие рассуждения об этом туманном будущем преступны, потому что они мешают чистому разрушению».

Конечно, для современного читателя такая постановка вопроса звучит довольно странно. Но не будем забывать, что все это происходило сто лет назад...

Кстати, вернемся к прерванной «беседе» Мышкина и Попова. Вот они тоже заговорили о политике. Послушаем их самих.

**Мышкин.** Ты помнишь, в ту пору слово «политик» звучало как оскорбление. Честно говоря, я склонился к Бакунину, но вот эта расплывчатость политической программы меня несколько смущала...

**Попов.** Обычное заблуждение. Сейчас ты кажешься себе умнее, чем был тогда...

**Мышкин.** Вполне возможно. Однако крайне отрицательное впечатление на всех революционеров произвело «нечаевское дело». На процессе Нечаева я был официальным стенографом. Признаюсь, сам Нечаев мне активно не понравился. Ложь, обман, мистификации против членов собственной организации...

**Попов.** А не поддался ли ты, официальный стенограф, официальной пропаганде? Ведь правитель-

ство изо всех сил пыталось представить Нечаева в роли злодея.

Мышкин. Революцию надо делать чистыми руками. Нечаев скомпрометировал само понятие политической организации.

Попов. Но ведь сумел же Нечаев околдовать старика Бакунина.

\* \*  
\*

Устаешь ходить, устаешь сидеть. Если бы койку не подымали, наверное, лежал бы с утра до вечера. Апатия. Отупение. Заставляешь себя ходить от стены к стене. Считаешь шаги: тысяча шагов, две тысячи... А потом вроде бы всерьез прикидываешь: что, если разбежаться и с размаху в стену — вдруг пробьешь? А что, вполне возможно: встанешь, отряхнешься и пойдешь куда глаза глядят, и никто тебя не остановит... Садисься. Стул железный — не мягкое кресло. Хочется прилечь. Расстелить на полу бушлат, вольготно вытянуться... Может, попробовать? Инструкцией не запрещено... Нельзя: тюремщики ворвутся в камеру и получится, что ты как будто у их ног ползаешь, пощады просишь... Надо сидеть. Тишина ползет от стен, наваливается. Кузнечики-цикады начинают свой звон. По коридору на кошачьих лапах крадутся надзиратели. Попову не постучишь: самое время охоты. Надзиратель, спрятав когти, дышит в глазок, сторожит Мышкина.

*...Серые, незаметные, из всех щелей выползают живые существа (мышь или люди?), в группы собираются и на дорогу скатываются. Дорога широкая, лунная, белой лентой меж широких холмов пролегла.*

А там, далеко-далеко, в конце дороги, купола храма виднеются, да не божеского храма, а человеческого. Светлый храм розовеет в лучах восходящего солнца. А над бескрайней долиной темная ночь. Белой лентой вьется меж черных холмов лунная дорога, и храм тот, розовато-серебряные хоромы так далеко, что уж не знаешь: то ли он существует на самом деле, то ли мерещится. А дорогу заполняют серые маленькие существа, как мыши, все похожие друг на друга. Да нет, это не мыши, а люди. Всю Россию на дорогу вывели, на крошечные группы разбили, в каждой группе по пять человек, и не отличишь одну «пятерку» от другой. Великое переселение народов. Миллионы «пятерок», вся Россия на дорогу вышла; только дорога длинна и бесконечна, храм с розовато-серебряными крышами далеко, у самого горизонта мерещится. Серые «пятерки» кажутся совсем маленькими, лишь короткий отрезок дороги заполнили. Долгий путь предстоит, дойдут ли?

— Дойдут. Самые достойные доберутся до светлого храма, ибо все заранее учтено и обозначено.

Сидит напротив Мышкина человек с лицом худым, неопределенным. Желтые пальцы папироску мнут. А глаза колючие, сверлящие, завораживающие — как не узнать нечаевские глаза!

— В каждой «пятерке» только один человек настоящий, которому можно довериться. Остальные четверо — хлам. Первого надо обязательно уничтожить: паразит, эксплуататор, дерьмо. Второй — так себе, до полдороги пригодится, потом и его ликвидируем. Зачем тащить ненужный балласт в светлое будущее? Но пока эти подрядчики, баре, околоточные — самый дорогой для нас народ. Чем сильнее они притесняют мужика, тем послушнее мужик нашему революционному слову. Третий в «пятерке» — наш помощник, од-

нако до храма ему не дойти, идейно не закален. Четвертый в «пятерке» близок к нам по убеждению, однако слабостям людским подвластен, не созрел он еще для того, чтоб порвать с семьей, с близкими, с родными, с проклятыми пережитками буржуазной морали. Только пятый достоин жить в храме будущего, ибо он свободен от всех пут прошлого, для него нет ни отца, ни матери, ни «мещанских» понятий добра и зла, есть только великая идея. Только один из пяти может строить новую Россию.

— Страшный, кровавый путь предлагаете, Сергей Геннадьевич! По-вашему получается: больше половины населения надо уничтожить, чтоб к светлому будущему пробиться!

— Кого жалеешь, Мышкин? Эксплуататоров, насильников, душегубов? Они — кто по усердию, кто по невежеству — народную кровь лили. Теперь наше время с них ответ потребовать. Или белы ручки боишься замарать?

— Одному насилию вы противопоставите другое, еще более дикое и варварское...

— Не готов ты еще к революции, Мышкин. Место твое в «пятерке» — четвертое или третье. Да сорви ты очки гнилого либерализма! Нынче честный и порядочный человек опаснее урядника. Урядник высечет мужика, и мужик, от позора и обиды дом барский подожжет. А честный и порядочный либерал шубу мужику отдаст, и мужик подумает: черт с ней, с революцией, мне тепло, — значит, жить можно. Народ не может себя спасти. Россия пойдет по гибельному пути капиталистического развития, как и западные страны. Значит, долг истинного революционера — воспользоваться моментом, поднять бунт, совершить переворот и направить общество по верной дороге.

— Знакомые слова, — усмехнулся Мышкин. — Их в Швейцарии говорили ваши последователи...

— А ты, Мышкин, надеялся, что полиция откроет в деревнях кафедры по социологии?

— Ну хорошо, Сергей Геннадьевич, вот вы сами чего добились? Втянули честных людей в «Народную расправу», своих помощников шантажировали, обманывали, безвинного студента Иванова зверски жизни лишили, — это, по-вашему, революционные методы борьбы?

Жадно затянулся Нечаев папироской, колечки сизоватого дымка поплыли к керосиновой лампе.

— Запомни, Мышкин: цель оправдывает средства. Зато какой был шумный процесс! Каждый студент понял, как правильно организовывать тайное общество. Благодаря процессу нечаевские прокламации все газеты опубликовали. «Нет, не будем больше полагаться на благородство подлейшей в мире администрации!» Разве плохо сказано? В стенографических отчетах губернских газет какие слова прошли: «Мы не можем не признать, что главной причиной бедствия нашего общества служит дурной экономический строй его, допускающий и узаконивающий господство сильного над слабым, богатого над бедным... Одни работают от раннего утра до поздней ночи и получают за это скудную плату... Вместо одежды у них грязные, жалкие лохмотья, вместо жилища отвратительная конура, сырой, смрадный подвал... А другие отбирают у первых весь продукт труда... Мы требуем очищения России от сволочи, разжиревшей от сытых блюд, составленных из крох, вырванных из мужицких рук». Суд над моими товарищами продвинул Россию на десять лет ближе к революции, разве одного этого недостаточно?

— Сочувствие вызывали ваши товарищи, а вы лично скомпрометировали революцию.

— Опомнись, Мышкин, я девять лет сидел в крепости. Я умер в Алексеевском рavelине. Я подчинил себе даже жандармов Петропавловки. Мыслимо ли такое, Мышкин? Ты сам не один год в крепости провел, тебе ли меня упрекать? Вспомни, чем кончилась твоя затея с побегом на Каре. По чьей вине тогда люди пострадали?

Между прочим, снова заснул в середине дня. И опять, видимо, с открытыми глазами: унтер ничего не заметил. И что характерно: в отличие от ночных снов днем сохраняется какая-то логика. Что ж, в этих снах есть свое преимущество: время летит незаметно. Слышь, уже форточки хлопают,— значит, ужин разносят. Того гляди, проспишь шестнадцать лет, а потом растолкают и скажут: «Милостивый государь Ишполит Никитич! Пожалте, вы свободны, на «лихаче» к серебряному нечаевскому храму подведем».

Может, сны мои как-нибудь материализуются?

Допустим, приснится, что на ужин цыпленка принесли,— глядь, и в самом деле. Однако до этого пока далеко, как, впрочем, и до нечаевского храма. Сегодня на ужин пшенная каша, замешанная на добром оружейном масле. На чем же еще, вон как горчат. А ты гурман, Мышкин. Хлеб есть — и то хорошо.

— Господин унтер, сообщите смотрителю, чтоб книги из библиотеки мне доставляли.

Хлопнула форточка. Смотритель всегда за дверью стоит. Должен услышать. Сейчас ужин кончат, и мы с Михаил Родионычем беседу продолжим. В Пет-

ропавловке с этим попроще было. Во-первых, шаги дежурного прослушивались; во-вторых, умудрялись даже на бумаге переписку вести, царапали обгоревшими спичками. Вот тогда-то и рассказал Попов о последних годах Нечаева.

...Из Алексеевского равелина Нечаев установил связь с Исполнительным комитетом «Народной воли». Связными служили сами жандармы (бессловесные истуканы, цепные псы, как Нечаев заставил их заговорить, подобрал к каждому «ключик», подчинил их своей воле?). И хоть в свое время «Народная воля» осудила «нечаевщину», но мужественное поведение самого Нечаева в равелине заслуживало восхищения. Подготовленный им побег позволял освободить всех узников Петропавловки. Однако, когда внезапные аресты ослабили организацию, Исполнительный комитет сообщил Нечаеву, что стоит перед выбором: готовить побег или продолжать подполье на Садовой (дни Александра Второго были считены). Нечаев передал, что узники подождут: покушение на императора важнее.

После 1 марта Комитет был разгромлен, побег провалился... Как, к примеру, и наш побег с Кары... Но если б не пришла тебе в голову идея запутать часовых при пересчете каторжан, то побег был бы невозможен. И сидели бы товарищи спокойненько в Сибири... Какая жизнь была на Каре! Днем — работа в мастерских, вечером — чтение газет. Вольные диспуты! По сравнению с Шлиссельбургом — благодать, а не каторга.

А Минаков по вечерам играл бы с тобой в шахматы...

Егор Минаков! Как участника побега и его вместе с тобой привезли в Шлиссельбург. Сквозь толстые стены доносился его голос. Минаков пел:



Я вынести могу и муку,  
Жить в вечной праздной тишине.  
Но прозябать с живой душой,  
Колодой гнить, упавшей в ил,  
Имея ум, расти травой —  
Нет, это выше моих сил.

Не признавал Минаков инструкций, не хотел «колодой гнить, упавшей в ил» и... добился того, что его через месяц расстреляли.

Когда сентябрьским утром 1884 года уводили Минакова и в коридоре раздался крик: «Прощайте, товарищи, меня ведут казнить!», почему, почему ты не ответил ему? Как замороженная молчала тюрьма. Что с тобой произошло, Ипполит Никитич? Паралич случился, немота напала? Но не ответил ты на последнее слова товарища... Минаков боролся за права всех узников, на смерть пошел и в последние свои минуты, наверное, подумал, что напрасна его жертва, трусили товарищи, молчат.

Секунда промедления, растерянности — и не вернуть это мгновение...

«Больше всех я себя виню, — отстукивал Мышкин в семнадцатую камеру, — что не ответил на прощальный крик Минакова».

«Не дело растравлять себя понапрасну, — стучал снизу рассудительный Попов, — береги силы. Нам они еще пригодятся. Надо продолжать дело Минакова. Не склонять головы перед администрацией. И тут нам прекрасный пример подает Нечаев: огромной силы воли был человек».

Чего-чего, а воли у Нечаева хватало.

**Е**ще во время его первого заключения в Петропавловке в 1876—1877 годах все казематы Трубецкого бастиона «разговаривали» между собой. Была организована даже «почта», и часто сосед торопливо выстукивал «телеграмму»:

— Сажин сообщает Костюрину: их общий знакомый Васин на поверку оказался провокатором.

Или:

— Долгушину разрешили свидание с родственниками. Что передать на волю?

Услышав тот или иной текст, Мышкин сразу же отстукивал его в противоположную стену, и так, переходя из камеры в камеру, «телеграмма» находила адресата.

В Шлиссельбурге удалось наладить связь только с Поповым.

Соседние по этажу камеры, двадцать девятая и тридцать первая, пустовали. Внизу пустовали шестнадцатая и восемнадцатая камеры,— таким образом, Попов был тоже изолирован от соседей. С Поповым у Мышкина была общая левая стена, по которой они и перестукивались. Мышкин слышал, что внизу, в девятнадцатой камере, кто-то есть, с этим заключенным у них была общая стена, но узник из девятнадцатой на стук не отвечал и ни в какие контакты не вступал. Молчал также узник в двадцать восьмой камере, сосед Попова. Попов каким-то чудом узнал, что в двадцать восьмой камере заключен народоволец Арончик, но особой радости эта новость не принесла: Арончик еще в Петропавловке сошел с ума, заболев манией преследования.

Итак, исключалась возможность всякой связи с 75

товарищами, и поэтому Попов принял план Мышкина: из тюремной библиотеки получить книги и писать записки на страницах. Расчет был на то, что книга в скором времени попадет к товарищу, которого не достать тюремным «телеграфом». Тот непременно ответит на записку, потом Попов или Мышкин опять затребуют эту книгу, перелистают страницы, найдут ответ — и, пожалуйста, можно продолжать переписку. Правда, на такой счастливый случай полагаться особо не приходилось, но все-таки можно было надеяться.

Последние дни Мышкин и Попов перестукивались крайне осторожно, изображая всячески «примерное поведение», и последствия не замедлили сказаться. В обед Мышкину принесли два толстых тома. Мышкин нетерпеливо схватил книгу, поднес ее поближе к свету... и даже присвистнул от досады. Странное создание человек! Неистребимо его желание добиваться в любой обстановке хоть минимального удовольствия или развлечения. Конечно, книги пужны были в первую очередь как «средство связи», но все же Мышкин надеялся, что он еще и почитает... Увы, Мышкину выдали два тома из полного собрания сочинений Нестора Васильевича Кукольника. Мышкин заглянул в оглавление. Так... народно-патриотическая драма «Рука всевышнего Отечество спасла». «Князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский»... А это фантазии господина Кукольника на зарубежные темы: «Торкватто Тассо», «Джакомо Сеп-назар»... И опять знаменитый верноподданнический балаган «Генерал-поручик фон Паткуль»... Мда. Конечно, двадцать пять лет каторги — очень суровая кара, но даже в приговоре суда не было записано про обязательное чтение сочинений господина Кукольника. Это уж самодеятельность Соколова-Ирода, так сказать, выс-

шая мера наказания. До какой же степени должен выслужиться писатель перед правительством, чтобы его книги рекомендовали читать политическим заключенным! Значит, эти сочинения так же правдивы, как тюремная инструкция. В первом томе перед титульным листом — типографская копия портрета Кукольника, выполненного самим Брюлловым... Худощавый, высокий молодой человек весьма привлекательной наружности... Мышкину захотелось плюнуть на портрет, еле сдержался: книга — это не только произведение писателя, это еще труд наборщиков, печатников, а их Мышкин привык уважать.

И не стыдно вам, Нестор Васильевич? Великая литература была рядом, и как же ваша рука поднималась этакое писать? Еще как поднималась... Официально признанный талант! Столп правительственной литературы! Журнал Полевого закрыли, когда тот осмелился вас критиковать. Ну а потом, после Белинского, когда все мало-мальски образованные люди смеяться над вашими опусами стали, не стыдно было? Нет, не стыдно.

И вспомнилось, как в Иркутской общественной читальне нашел он книжку: Н. В. Гоголь. «Петербургские повести». Типография Вильде и Мышкин, Москва, 1873 год. Эх, Ипполит Никитич, такое дело начинал...

На воротах двухэтажного особняка по Тверскому бульвару, двадцать четыре, — писанная золотом вывеска:

## ТИПОГРАФИЯ ВИЛЬДЕ И МЫШКИН

*принимает заказы*

*на печатание книг, каталогов,  
афиш, бланков и визитных карточек.*

Купив типографию, Мышкин сдал ее в аренду своему компаньону Эдуарду Александровичу Вильде. Вильде, аккуратный, вежливый прибалтийский немец, неплохо знал производство и умел доставать заказы на разную выгодную мелочь: афиши, преискуранты для портерных и рестораций и т. д. Сам Мышкин осуществлял общее руководство и отбирал книги для печати.

«Ви, молодой человек, — любил повторять Вильде, по обыкновению не называя Мышкина по имени-отчеству, ибо с трудом его выговаривал, — книжный отдел взяли, а я пошел спать. Я немец-странец (что у Вильде означало «чужестранец» или «иностранец»), и я только честный коммерсант, мой дело — бухгалтер, машина, рабочий, чтоб с утра пьян не валялся...»

Простачком прикидывался Эдуард Александрович. Известно было, что любил он книги, да только немецкие. На ночь читал «Драмы» Шиллера в лейпцигском издании.

Тут как раз постановление подоспело, что типографии отдаются под надзор полиции. Неприятный указ, но компаньонам он чистой прибылью обернулся. Теперь заказчику книгу издать и хочется и колется. Иная брошюра птицей с прилавка улетит... Улетит, конечно, если полиция тираж не арестует. Ну а Мышкин, все знают, у его превосходительства обер-полицмейстера свой человек. Мышкину, небось, дозволено больше.

И чаще звонил колокольчик над обитой черной клеенкой входной дверью типографии, и, услышав его, сразу веселед и облизывал толстые губы честный коммерсант Эдуард Александрович.

На Тверском бульваре первые желтые листья. Дождик прибил пыль. Извозчики подняли козырьки своих пролеток. Сентябрь пришел в Москву, и тоскливо было встречать его двадцатипятилетнему Ипполиту Никитичу Мышкину. Он стоял у окна своего хозяйского кабинета и барабанил пальцами по стеклу.

Вроде бы все хорошо складывается. Работы много, планы обширные. Но чего-то не хватает... Целый день крутишься как белка в колесе и вдруг ловишь себя на мысли, что жизнь проходит мимо. Типография приносит массу хлопот, но и должность свою стенографа ты не бросаешь... Работа на измот. Иллюзия занятости. Здорово помогает. Помогает не задумываться над простым вопросом: кому ты лично нужен, Ипполит Никитич? Сегодняшняя хандра, конечно, не от погоды. Созерцание дождя и опавших листьев оставим для барышень. Видно, причина в том, что сегодня понедельник, будь он неладен. Твои рабочие — люди передовые. И в типографии, на зависть европейскому пролетарию, восьмичасовой рабочий день, платят прилично, обращение уважительное. Наборщики столько книг осилили, что иному студенту и не снилось. Однако, книги — книгами, но в воскресенье, истинный бог, положено выпить. Ну и, естественно, в понедельник работа соответствующая: как рак клешней литеры набирают, слова пропускают, строчки путаются — в общем, сплошная переверстка, чистый убыток.

Что, хозяин-барин в тебе заговорил? Нет, просто по характеру своему ты выше всего ставишь добросовестный труд. Понятно, проповеди тут не помогут... Вот если бы организовать коммуну, чтоб воздействовать, так сказать, личным примером. Но для коммуны помещение на Тверском не приспособлено.

Да и рабочие — люди семейные. Найти других рабочих, молодых, энтузиастов?

Стук в дверь. «Явление Христа народу». Еще в четверг с ним обсуждали «Очерки фабричной жизни» Голицинского. Нынче...

— Барин, прикажите выдать полтинник в счет жалования. Душа горит!

Ну что ему скажешь? «Не пей в воскресенье с кумом, с братом, сватом?» Обидится. Ладно, на рубль и проваливай! (В понедельник ты для него не Ипполит Никитич, не старший по работе, в понедельник ты для него барин. Черт бы его побрал!)

И сразу в кабинете запах — как в винном погребе.

Окна настезь. Опять закапало. Над тротуаром зонтики закачались. Ветер бросает желтые листья под копыта лошадей...

Легкие шаги в коридоре, скрипнула дверь.

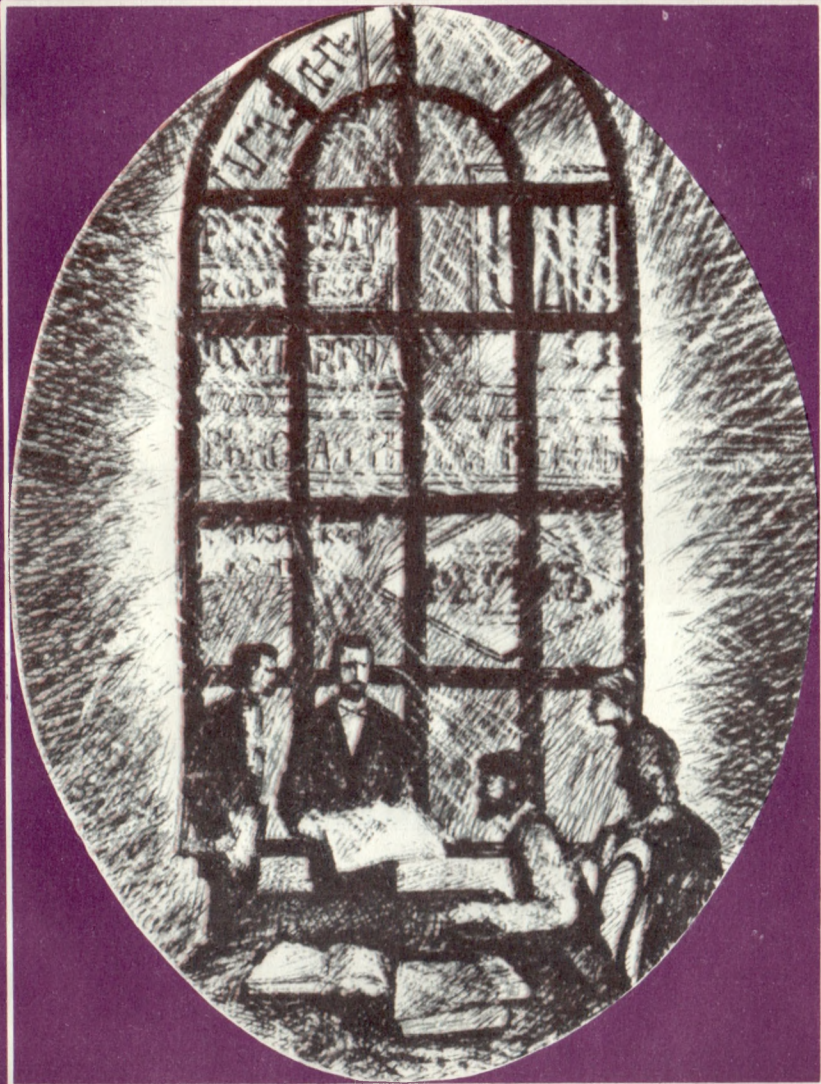
— Здравствуйте, — робко сказала черненькая, скромно одетая барышня и опустила глаза.

— Здравствуйте, здравствуйте! Чем могу служить? — вежливо ответил Мышкин, а сам подумал: «Наверно, принесла заказ на отпечатку афишки для благотворительного концерта. Надо послать ее к Эдуарду Александровичу».

— Господин Мышкин, — проговорила девушка чуть хрипловатым, срывающимся от волнения голосом. — Мы с подругами приехали из Архангельска. Ищем работу. Меня к вам направил ваш знакомый, господин... — девушка подняла на него свои большие серые глаза.

...Вот такой, какой он ее увидел в этот момент, она и запомнилась ему на всю жизнь — Фрузя Супинская, его единственная любовь.

Кажется, он сразу предложил ей сесть, сбегал за







чаем, а потом попросил подробно рассказать о себе и о своих подругах.

Фрузя Супинская, дочь польского дворянина, состоявшего в Архангельск, решила отправиться в Москву, чтобы посвятить себя освобождению родины и русской революции. С ней приехали две польки, сестры Юлия и Елена Прушакевич, и две русские подруги — Лариса Заруднева и Лиза Ермолаева. Господина Мышкина им рекомендовали как человека передовых взглядов, и вот поэтому...

С деловым, каменным лицом выслушал господин Мышкин сбивчивую речь девушки, вытащил бумажник, отсчитал ассигнации, сказал, что это аванс, что панне Супинской он предоставит переписку материалов судебных процессов и что подругам обязательно найдется работа, постарается устроить в свою типографию, посоветовал снять меблированные комнаты на Кокоревке («дешево и весьма прилично»), проводил по коридору, попрощался в меру любезно, с достоинством, как и положено преуспевающему хозяину.

И снова стоял Ипполит Никитич у окна своего кабинета и барабанил пальцами по стеклу, но только как будто сразу все изменилось: и дождик такой милый и приятный, и Тверской бульвар словно специально раскрасили к празднику, и весело цокали копыта по мостовой, грохотали экипажи, и вся эта лихая, красивая жизнь принадлежала ему, и он чувствовал необъяснимый прилив сил, энергии, радости.

В чем же загадка такой резкой перемены настроения? Не загадка, а скорее загадка. Загадка в больших серых глазах Ефрузии Супинской: один раз они на тебя пристально, доверчиво глянули — и жизнь твоя, деловой, озабоченный, скептический, всезнающий, осторожный господин Мышкин, и жизнь твоя перевернулась.

В глубине двора — деревянный двухкомнатный флигель. В первой комнате пахнет варом и кожей. Два студента тачают сапоги, третий прилаживает двойную подошву к ботфортам (секретный «карман» для документов и денег). В другой комнате, чистой и светлой, девушки шьют мужские сорочки.

Напрасно где-нибудь в смоленской или тамбовской усадьбе старенькие родители надеются, что их Сашенька или Варенька на землемера выучится, или на доктора, или курсы какие закончит, а там получит казенное место или выгодную партию для себя составит. Зброшены учебники, забыты лекции. Может, тому виной традиционный студенческий «плеязр» («от зари до зари все горят фонари») или «гранд амур»? Вон как лукаво стрельнула глазками девица, заглянув в комнату к «сапожникам»...

Нет, «амуры» в коммуне не приняты. А лукавый взгляд означал: господа, хватит отлынивать, сегодня ваша очередь бежать в лавку за продовольствием. Что же касается «плеязра», пожалуйста, работа от зари до зари. Надо пошить для товарищей обувь и одежду и, сверх того, сдать купцу товар.

По вечерам в комнатах многолюдно и накурено. Собираются студенты. Раньше они вместе сиживали в аудиториях Петровской лесной и земледельческой академии, а ныне кто на фабрике слесарит, кто шабашит в плотницких артелях.

По вечерам на общем столе — самовар и баранки. Чаю вдоволь, сахару — в обрез. Только по воскресеньям девушки подают к постным щам сазанину. И хоть артельщик и купец исправно рубли отсчитывают, да только эти деньги идут в общую кассу. На всем экономят, разве что табаку вдоволь. Табак — он голод глушит и дневную усталость снимает. Ведь

известно, что «железный» Рахметов хоть и на гвоздях спал, но сигары покупал хорошие.

Спорят? Нет, уже не спорят. Все ясно и определено. В сотый раз планы на лето обговаривают. К лету будут готовы брошюры, листовки (Войнаральский обещал, он не подведет). И тогда... «плотники» и «сапожники», «коробейники» и «офени» обойдут все села в центральных и приволжских уездах. В убогой избе хозяин сперва настороженно встретит гостя, поскрежет свою нечесаную бороду, а потом кликнет сватьев и братьев, и усядутся мужики в горнице, и при свете лучины будут вслух читать книжечки и «тайные» письма. И поймут наконец, узнают настоящую правду: кто — истинный враг крестьянина, кто — кровопивец. Ибо написано у Бакунина: «Ничего не стоит поднять любую деревню». Ведь «вне народа, вне многомиллионных масс рабочих нет более ни жизни, ни дела, ни будущности».

А через год... Вот тут можно вдоволь помечтать: что же будет через год?

Хрустит баранками Варенька, Сашенька пускает колечки дыма. Мимолетный взгляд, улыбка. И это любовь была? Хмурится студент. Господа, мы стоим на пороге великих дел! Народ вскормил нас на свой трудовые гроши. Теперь наша очередь вернуть народу долг. Взгляд, улыбка... И это любовь была? Глупости, не время. Вот через год, когда встретимся...

Когда они встретятся? В каких тюрьмах? И придется ли встретиться?

ОТ АВТОРА:

Мышкин вспоминает одну из коммун, куда его привозил Войнаральский. Как уже отмечалось, Мышкин держался в стороне от всех организаций радикальной (как она себя называла)

молодежи. Между тем в то время в России возникали многочисленные кружки и коммуны. Вот, к примеру, что пишет о знаменитом кружке «чайковцев» историк-писательница Е. Таратута:

«Все имущество каждого члена кружка являлось общим достоянием всего кружка. Среди кружковцев были и богатые и бедные. Князь Кропоткин... владел землями в Тамбовской губернии и все свои доходы передавал кружку. А Софья Перовская, хотя была из богатой и знатной семьи, не имела ничего, так как стала учиться на женских курсах вопреки воле отца и ушла из дома без копейки. Три сестры Корниловы были дочерьми богатого купца и фабриканта фарфоровых изделий. Время от времени они вносили в кружок небольшие суммы; но чтобы снабдить товарищей средствами, необходимыми для деятельности кружка, одна из сестер фиктивно вышла замуж за одного из своих же, чтобы получить приданое.

Все члены кружка сами зарабатывали себе на хлеб, кто — давая уроки, кто — переводя статьи и книги с иностранных языков. И сын богатого помещика, и дочь бедного сельского священника одинаково довольствовались лишь самым необходимым — уже белый хлеб считался роскошью...»

Легко убедиться, что, несмотря на некоторое различие, обстановка в кружках и коммунах была одинаковой. Кружки и коммуны возникали стихийно. У радикальной молодежи под влиянием «нечаевского дела» очень еще сильны были настроения против «генеральства» руководителей, и не было единого, централизованного, организующего центра.

Правда, несколько человек пытались — хоть как-то скоординировать действия революционной молодежи. В первую очередь это относится к Порфирию Ивановичу Войнаральскому, богатому помещику, бывшему мировому судье, который все свое состояние передал коммуна и студенческим радикальным обществам. Подготавливая «движение в народ», Войнаральский хотел создать по всей губернии опорные пункты: нелегальные квартиры, мастерские, где хранились бы деньги, фальшивые паспорта, литература. В этом Войнаральскому помогал и Дмитрий Рогачев, который отказался от мундира артиллерийского офицера и даже работал какое-то время рабочим у сталелитейной печи.

В конце 1873 года Войнаральский через Супинскую познакомился с Мышкиным и очень заинтересовался его типографией.

Для решающего разговора с Мышкиным Войнаральский пригласил Рогачева, а также Сергея Кравчинского и Сергея Ковалика — людей, пользующихся авторитетом в радикальных кружках.

Супинская разлила чай и коротко в упор взглянула на Мышкина. В ее взгляде читался немой упрек: «Чего ж ты молчишь?» Действительно, все, о чем так долго и подробно рассуждали Войнаральский и Рогачев, предназначалось не для Кравчинского и Ковалика. Эти четверо давно были знакомы между собой. «Специально для меня организовали нечто вроде просветительской лекции, — с горечью подумал Мышкин. — Или впрямь меня принимают за темного мужичка? — Он постарался подавить чувство обиды. — Нет, они просто меня мало знают».

— Собственно, нет предмета для спора, — заметно волнуясь, начал Мышкин. — Все мы озабочены одним: что нужно делать? как помочь народу? На «просветительскую» деятельность государевых чиновников рассчитывать не приходится. Крестьянин может заимствовать что-либо полезное только от лиц, сочувствующих ему. Пропаганда необходима, чтобы добиться нового общественного строя, при котором народ будет и сыт, и не бит, и здоров, и разумен, и свободен, и счастлив...

Ковалик и Войнаральский переглянулись. «Общие слова говорю», — подумал Мышкин и, разозлившись на себя, продолжил:

— Итак, новый общественный строй. Но простите за наивный вопрос: какой именно? Конституционная монархия? республика? Что мы предложим народу? Земской собор? Всеобщее избирательное право? Известно, что избранное во Франции демократическим путем правительство Тьера два года тому назад расстреляло парижских рабочих. Пригодны ли для России формы западной буржуазной демократии? Корооче: есть ли у нас политическая программа?

Усмехнулся Сергей Ковалик и знаком руки преврал Мышкина:

— Вы требуете от нас готовой политической программы? Отвечаю с полной откровенностью: ее у нас нет. В одном уверен: нельзя допустить, чтобы русский мужик попал в хищные лапы капиталиста-мироеда. Если мы будем бездумно копировать Запад, то обречем русский народ на муки буржуазного развития. Мы не политиканы. Наша задача — помочь народу сбросить с себя путы рабства. Крестьянская масса в основе проникнута принципами коллективизма, расположена к общинному производству. Европейское буржуазное государство — не для России...

— Помните, у Бакунина сказано, — вмешался Войнаральский, — что в идее народного управления на основе всеобщих выборов кроется деспотизм меньшинства. Это меньшинство будет состоять из работников, точнее, из бывших работников, которые, лишь только сделаются правителями или представителями народа, сами перестанут быть работниками и будут смотреть на весь чернорабочий люди с высоты государственной. Они будут представлять уже не народ, а себя и свои притязания на управление народом.

— Ну, это Бакунин слишком далеко заглядывает, — заметил Кравчинский. — Прав он или нет — дело далекого будущего. До всеобщих выборов еще надо дожить. В общем, об основах нового русского государства позаботится сам народ. Пока что всех нас объединяет нетерпеливое желание конкретных действий. Что бы там ни говорили, но летом следующего года вся радикальная русская интеллигенция отправится в народ, ибо сейчас наша главная задача — объяснить крестьянину, что его по-прежнему хищнически эксплуатируют помещики, мироеды и чиновники. Точно какой-то могучий клик пронесся по стране, призывая всех, в ком есть живая душа, на великое дело спасения родины. И все, в ком есть живая душа, отзовутся и пойдут.

— Меня, во всяком случае, агитировать не надо, — резко ответил Мышкин. — Я готов в любой момент...

— Другого ответа я и не ждал, — мягко улыбнулся Кравчинский, — однако ваше место в Москве. После разгрома типографии Долгушина большая часть литературы поступает из-за границы. Но этого мало, крайне мало. Нам нужна печатная база в России. Понадобятся сотни брошюр, тысячи прокламаций, причем значительными тиражами. Думаю, что широ-



кая революционная пропаганда приведет только к положительным результатам. Впоследствии мы найдем с вами время для продолжения теоретической дискуссии. Согласны?

— Безусловно, — ответил Мышкин. — Я тоже предпочитаю конкретное дело. Однако на Тверском печатание нелегальщины практически исключено. Надо будет разделить имущество с моим компаньоном и открыть собственную типографию. Это удастся не раньше весны... И еще должен предупредить: планы Сергея Михайловича, — кивок в сторону Кравчинского, — несколько утопичны. К лету мы не успеем отпечатать нужного количества литературы. Поймите, у типографии своя специфика работы. Нельзя обойтись без официальных заказов. За типографиями установлен строгий контроль. Сокращение выпуска книг вызовет подозрение. Да и не все рабочие надежны... Запрещенные брошюры будут набирать верные люди в отдельном помещении.

Сергей Ковалик с шумом отодвинул стул и заходил по комнате.

— Дорогой мой Ипполит Никитич! — заговорил Ковалик. — Не буду вдаваться в подробности вашей специфики, однако нам нужны сотни книг, а не две или три; тысячи листовок, а не десяток прокламаций. Придется распрощаться почти со всеми официальными заказами, иначе, действительно, вы ничего не успеете.

— Тогда дни нашей работы будут сочтены, — холодно ответил Мышкин, — очень скоро полиция упадет на наш след, и вместо типографии, выпускающей литературу на двух ставках, у нас ничего не будет.

— Риск бесспорный, — вмешался Рогачев. — Но нет другого выхода. За лето в России могут произой-

ти необратимые изменения, а посему весной нам каждая брошюра ценнее, чем революционные библиотеки где-нибудь к концу следующего года. Мы, конечно, вам поможем. Возможно, имеет смысл создать специальную брошюровочную мастерскую. Об этом особый разговор. Но...

— Но риск не оправдан. — Мышкин тоже вскочил и заходил из угла в угол. Теперь их пути с Коваликом перекрещивались; сталкиваясь в середине комнаты у стола, они по очереди уступали друг другу дорогу. — Вспомните, сколько трудов стоило владеть типографией... И ведь с типографией связаны судьбы людей! Взять хотя бы девушек из Архангельска. Им я хочу поручить выпуск революционных брошюр. Меня арестуют — черт с ним, но арестуют и девушек. А я обязан не подвергать риску своих работников. И потом, все ли возможности легальной борьбы мы использовали? Существуют десятки способов обойти цензуру. Книга, изданная официально, принесет больше пользы, чем подпольные листки.

— Мой дорогой друг, — сказал Войнаральский, — вы еще тешите себя иллюзиями...

— А по-моему, вопрос ставится иначе, — заметил Ковалик. — Просто Ипполиту Никитичу жалко терять свою типографию, и по-человечески я его понимаю. Он с детства знает цену каждой копейке. Деньги, вложенные в предприятие, достались ему не в наследство, а заработаны честным трудом.

— Сергей Филиппович, — раздался высокий голос Супинской. — Я прошу вас замолчать.

Мужчины как по команде обернулись в сторону девушки. Лицо ее покраснелось от волнения.

— Сергей Филиппович, — повторила Супинская. — Это несправедливо. Ипполит Никитич совсем другой человек. У него не может быть корыстных интересов. 89

Единственное, чем он озабочен, — это нашей безопасностью, безопасностью, как он выразился, своих работников. Но послушай, Ипполит, не надо нас опекать. Мы же знаем, на что идем. Думаешь, мне будет легко на свободе, если тебя посадят в тюрьму?

Мышкин растерялся и не нашел ответа. Он не ожидал, что Фрузя так открыто при всех обратится к нему как к близкому человеку.

*...Коптит лампа, надо подкрутить фитиль. Надо, а рука не подымается, не слушается. И откуда взялась эта лампа? Помнится, тогда в номере горели свечи. И холодно, озноб пробирает. Почему не топят в гостинице?*

*Кравчинский закурил от коптящей лампы и накинул себе на плечи бушлат Мышкина. Мышкин внимательно оглядел камеру. На стенах расплывались четыре тени. Фрузи не было. «Ясно, — подумал Мышкин, — товарищи, пользуясь отсутствием унтера, пришли навестить меня». Мышкин слабо улыбнулся.*

*— Конечно, вы обо всем догадались... Но это началось раньше, по-моему в октябре, когда мы с Фрузей гуляли у Москвы-реки. Как-нибудь расскажу, если успею. Сергей Михайлович, вас знобит? Мы-то в тюрьме давно привыкли к холоду.*

*— Я сделал все возможное, чтобы отомстить за вас, — с горечью проговорил Кравчинский. — Собственными руками заколол шефа жандармского корпуса Мезенцева... Как видите, меня божь милость, я за границей. Не знаю, смог ли бы я пройти через те испытания, которые выпали на вашу долю...*

*— Уверен, и вы бы все выдержали. В Петропавловке, в Новобелгородском центре и на Каре наши*

товарищи вели себя героически: задыхались в камере, голодали, умирали, но не сдавались. У нас было много побед. Победы над собственным страхом, над зрителем, над судьями... даже плевков в лицо жандарму воспринимался нами как победа. Но победили ли мы? Чего же мы добились? Изменилось ли что-нибудь в стране? Говорят, правительство взяло назад все свои жалкие податки народу. В России торжествует реакция. Ужель после нас останутся лишь безымянные могилы у тюремных стен? Верю, что жертвы не напрасны. Мы разбудили народ, он очнется от вековой спячки. Однако увидим ли мы это великое пробуждение? Я тут сказал — мы победили собственный страх, вернее, победили свои сомнения. Знаете, после девяти лет заключения поневоле появляется мысль, что летом семьдесят четвертого года лучшая часть нашей интеллигенции пошла не в народ, а на каторгу, добровольно отдала себя на заклятие. Слабость? Согласен. На десятом году заключения и не такое подумаешь. Да, каждый из нас вел себя мужественно, благородно. Чего-чего, а этого хватало — бездна благородства! Когда готовился побег с Кары, Дмитрий Рогачев, атлет, силач, уступил свою очередь более слабым товарищам. А может быть, только ему по силам было пройти тайгу? Понимаете, только ему одному имело смысл уходить. Но как же, нельзя: в глазах товарищей это было бы неблагородным. Итак, всему нашлось место: самопожертвованию, благородству... Ужас нашей тюрьмы — не в этих черных стенах, не в «одиночке», не в холоде, не в ревматизме. Нас тоска еложет: не успели мы сделать того, что могли. Броситься грудью на штык — велика удача, красиво, но бессмысленно... Извините, я заговорился, вам пора уходить. Сейчас унтер подымет задвижку, заглянет в глазок, и вы навечно останетесь в крепости.

...Один за другим в правой стене, за которой была пустая камера, исчезали Кравчинский, Ковалик, Войнаральский (на миг и вправду показалось, что из соседней камеры — прямая, открытая лестница на волю, такой уютный коридорчик прямо к причалу, а там ждет парходик — садись и плыви в любую сторону света). Огромный, широкоплечий Рогачев несколько замешкался...

— Дмитрий Михайлович, задержитесь еще на одно мгновение. Не решаюсь вас спрашивать, но... С вас я брал пример стойкости... Еще в Алексеевском равелине простучали, что вы уже... умерли.

И тряхнул Рогачев русыми кудрями (которые ему обрили на Каре), и в улыбке блеснули ровные, белые зубы (которых на каторге у него уже не было):

— Дорогой мой Ипполит Никитич! Знай мы все заранее, разве поступили бы иначе?

## 5

День 15 октября 1873 года выдался на редкость суетливый. Утром стенографировал в окружном суде дело о потомственном гражданине Мине Лазареве, обвиняемом в злостном банкротстве. Председал Орловский, обвинял товарищ прокурора Рынкевич, защитил присяжный поверенный Плевако. В перерыве Мышкин поймал старый приятель Ваня Лаврушкин. Мышкин оказал протекцию и договорился с частным приставом, что далее стенограмму будет продолжать Лаврушкин.

звучали обрывки речи присяжного поверенного: «Должник неосторожный, несостоятельный... продовольтвовался за счет дворника...» Жаль, что не дослушал дело, крутит адвокат: почтенный Мива Лаварев, хитрая каналья, пошел на злостное банкротство), в кабинете дочитал рукопись; поспорил из-за нее с Вильде (теперь, когда было договорено о разделе имущества, компаньон стал осторожным. «Помилуйте, Эдуард Александрович, какая тут крамола? Документальный сборник, все дозволено». «Ви, молодой человек, скоро самостоятельный коммерсант, ви у себя и рискуйте»), а в довершение всего Федот Фетисов, лучший наборщик, прислал жену с запиской: оказывается, Фетисов вместе с «архангельской компанией» засели в ближайшей кондитерской и первое жалование «обмывали».

— Просили передать, что кофеем стынет,— сказала Ольга Фетисова и хихикнула,— все ждут Пудина.

Этого еще недоставало: девицы успели придумать ему прозвище! Однако отказываться было нельзя: барышни могли обидеться.

В кондитерской «палегали» на пирожные, пили ситро «за здоровье почтенного хозяина, нашего любимого Пудика». Приходилось улыбаться, но все же Мышкин улучил момент и шепотом спросил Супинскую:

— Этой кличкой я вам обязав?

Фрузя сделала невинное лицо, в больших серых глазах плясали озорные чертики.

— Девочки,— обратилась Супинская к подругам,— нас приглашают покататься на конке.

— Ура! — закричали девицы.— Едем на Девичье поле.

Пропал день. Теперь не отвертеться.

На бульваре девушки продолжали дурачиться. 93

«Пудик, вам полезны прогулки, вы начинаете толстеть. Пудик, мы производим впечатление легкомысленных особ?» Ну как в такой обстановке говорить с Фетисовым о типографских делах? Надо бы, да не получилось.

Старая тучная барыня, занимавшая чуть ли не всю скамейку, неодобрительно следила за веселой компанией. По-французски она что-то возмущенно прошамкала своей тощей приживалке и затем громко добавила по-русски: «Сразу видно — поляки, не умеют себя вести!»

«Злая гримза! — подумал Мышкин. — Попробовала бы целый день набирать свинцовые шрифты. Пусть девушки порезвятся», — и он демонстративно взял под руки сестер Прушакевич.

У Арбатских ворот сели на конку, через Смоленский доехали до Зубовской. По Царицынской дошли до Института благородных девиц. За институтом начиналась липовая роща. Девицы бросились собирать оханки желтых листьев. Мышкин продолжал что-то увлеченно рассказывать, пока, словно очнувшись, не увидел, что все куда-то разбрелись и они с Супинской остались вдвоем на липовой аллее. Он сразу запнулся. Разговор оборвался. В молчании они шли в сторону реки.

— Вы, кажется, недовольны сегодняшней прогулкой? — спросила Фрузя.

— Напротив, приятно побывать на свежем воздухе. Да дела все не идут из головы. Утром был на суде, выступал Плевако, знаменитый адвокат...

Мышкин стал рассказывать про Мину Лазарева, благо, заседание велось неторопливо и Мышкин успевал не только записывать, но и вникать в курс дела.

— Вашего купца надо повесить, — заявила Фрузя.

— Почему? — изумился Мышкин.

— Он мне надоел. Знаете, Пудик, когда мы сделали первый шаг на пути нашей эмансипации и приехали в Архангельск учиться наборному ремеслу, то хозяин типографии не стеснялся, начал ухаживать сначала за Еленой, потом за мной. Признаться, он был изрядно удивлен, встретив, как бы это сказать, непонимание с нашей стороны. Ведь он нам благодетельствовал... Потом на работе стал вежливо придирается, за ошибки вычитал из жалования.

— И вы... вы...— задохнулся от возмущения Мышкин.— Надо было съездить по физиономии этому мерзавцу!

Супинская тихо рассмеялась:

— Пудик, какой вы смешной! Нам надо было привыкать ко всем трудностям самостоятельной жизни. У вас в России эмансипацию восприняли странно: стоит женщине появиться где-нибудь одной, сразу начинают приставать.

Они давно свернули с аллеи, под ногами шуршали желтые и красные листья.

— Как здорово, что вы не испугались и приехали в Москву! — сказал Мышкин.— Мы на пороге больших событий...

Он рассказал о планах новой типографии, о подготовке к массовому выпуску нелегальной литературы, о размахе революционного движения; он говорил горячо, казалось, искренне и в то же время чувствовал в своем голосе какую-то фальшь: все, что обычно его волновало, сейчас как бы отступило на задний план. Он боялся встретить взгляд Фруза.

— Пудик, я это знаю,— вздохнула Супинская.— Вот и река. Какой красивый вечер!

Розовые, освещенные солнцем облака отражались в серой глади Москвы-реки. Последние солнечные



лучи зажигали красные и желтые костры на верхних склонах Воробьевых гор.

— Значит,— продолжала Супинская насмешливым тоном,— из ваших слов я могу заключить, что молодой хозяин настолько поглощен своими важными заботами, что обещает не обижать незащитных девушек?

Он выпустил ее руку и сделал шаг в сторону. Фрузя остановилась и, не поворачивая к нему головы, продолжала как ни в чем не бывало любоваться рекой.

— Вы несносная девчонка! — с обидой выговорил Мышкин. — С вами — как с товарищем, а вы все время насмехаетесь. Конечно, вы увлеклись модными идеями, но в вас играет дворянская кровь. Признайтесь: вам, пани Супинской, стыдно работать простой наборщицей у какого-то русского выскочки? Ведь все могло по-иному случиться. Не будь реформы, не будь польского восстания, кто знает, может, я попал бы холопом в ваше имение. Что бы вы со мной сделали?

— Приказала бы отвести на конюшню и выпороть.

— Вот видите... — начал Мышкин.

Супинская резко повернулась к нему. Их взгляды встретились.

— Вижу,— сказала Фрузя.

— Вот видите,— сказал Мышкин. Голос его пресекался.

— Вижу,— сказала Фрузя. — С первого дня.

Снизу раздался тихий условный стук. Мышкин, вставая с койки, отстучал ногой букву Ж, что на тюремном языке значило: устал, не хочу говорить. Черт дернул Попова, не вовремя...

Попов не понял, наверное, обиделся. Придется отстучать ему потом, позднее... Теперь все спуталось, рассыпалось. Погасло солнце, исчезла река. Лицо Фрузи, сияющие большие глаза... Нет, все смешалось. Не вспомнить... Когда он ее поцеловал? Ну вот, сейчас можно придумать классическую любовную сцену. Именно придумать...

И что Попову неймется? Вообще-то Михал Родионич — молодец. Не будь его, Мышкину пришлось бы совсем худо. Попов непреклонен, негибает. Он как бы заряжает Мышкина своей энергией. И откуда берутся силы, ведь совсем не богатырского сложения Михал Родионич. Посмотреть бы, как он сейчас выглядит... А может, и хорошо, что нельзя увидеть товарищей. Все они совсем не такие, какими были на Каре. Что от них осталось? Страшно подумать.

Помнится, когда в мае восемьдесят второго они с Хрущевым добрались до Владивостока, Мышкин почувствовал такой прилив бешеной энергии, словно начинялась вторая жизнь, вторая молодость. Когда их арестовали в гостинице, он еще надеялся на новый побег, но, попав обратно на Кару, понял, что надежды нет. А доломала, физически dokonала его двенадцатидневная голодовка, которую они устроили с товарищами, протестуя против строгого режима. После той голодовки он так и не оправился. На Каре заболел цингой, в Алексеевском равелине — ревматизмом. Сказалось все: душевный надлом, отсутствие свежего воздуха, работы, движения... И потом — голодные тюремные харчи. Ему пошел только тридцать седьмой год, но он чувствует себя разбитым. Он заставляет себя делать физические упражнения, он мечется по камере от стены к стене, делает отчаянные попытки

продержаться. Он ждет не дождется того часа, когда унтер опустит койку и можно будет прилечь. К вечеру он ощущает дикую усталость во всем теле, как будто целый день таскал тяжелые мешки... И «соблазн» одолевает: что, если утром не встать с койки, сказаться больным? Но это значит отдать себя на милость тюремщиков. А «милость» их известна.

Он подвинулся, подошел к стене и при тусклом свете лампы прочел соответствующий параграф инструкции:

«За проступки первого рода назначаются наказания: 1. Лишение чая. 2. Лишение матраца на койке до пяти дней. 3. Заключение в темном карцере до пяти дней. 4. Заключение в темном карцере на такое же время с содержанием на хлебе и воде... Когда проступки сопровождались особенными обстоятельствами, увеличивающими вину, то нарушители могут быть наказаны розгами до пятидесяти ударов (225, ст. XVII кн. св. воен. пост. § 58)».

Он подкрутил фитиль (согласно инструкции, заключенные не имели права гасить лампу на ночь: унтер должен был иметь возможность наблюдать за ними даже во время сна), разделся и лег под одеяло, вакинув сверху бушлат. Черные стены камеры напоминали глубокий колодец. На потолке подрагивал в такт мерцанию фитилька желтый круг от лампы, словно там, наверху, был выход из колодца, отблески преломленного солнечного света, жизнь. Мышкин лежал на спине и следил за желтым кругом на потолке.

...По занавесу скользят лучи театральных фонарей. Занавес медленно раздвигается, и на сцене Малого театра танцуют Подхамюзин с Липочкой. К ним под бурные аплодисменты публики присоединяется Лев Гурыч Синичкин. В глубине сцены крадутся две гонимые по одному следу. Танцующие скрываются за кулисами, а сцену заполняют разнаряженные дамы и господа. Разыгрывается водевиль «Война жен с мужьями».

— Пудик, смотри какая лента! — восклицает Супинская и показывает глазами на молодую даму, сидящую в креслах справа от Мышкина. — Хочу такую же, атласную и широкую, только синюю.

— Фрузя, потише, — шепчет Мышкин, — ты мешаешь мне смотреть «Каширскую старину».

— Ты опять все перепутал, — смеется Фрузя, — это никакая не «старина», а водевиль «На узелок, или Прыжок с четвертого этажа». Эх ты, театрал! Хочу ленту...

— Хорошо, — успокаивает ее Мышкин. — В антракте сбегаю на Кузнецкий и куплю. Ты довольна?

— Ах, Пудик, — вздыхает Супинская. — Ты ничего не понимаешь в женщинах.

На сцене перемена декораций. Узкая, как пенал, комната на Кокоревке, скудная мебель. Театральные фонари затемнены, декорация в синем полумраке.

— Вот видишь, — говорит молодой актер в модном фраке с аккуратно остриженной бородкой.

— Вижу, — отвечает черноволосая девушка с большими глазами. — С первого дня.

Только это не актеры, а Мышкин и Фрузя оказались на сцене.

Гаснут театральные фонари. Пламя оплывшей свечи с туалетного столика освещает комнату.

— Пудик, мне набоел театр,— устало говорит Фрузя, садится на кровать и начинает расчесывать длинные волосы. На стене взлохмаченная тень по-слушно повторяет все движения Фрузи.

— Но я думал,— смущенно оправдывается Мышкин,— что «Преступление и наказание» — инсценировка Достоевского.

— Твоя беда,— улыбается Фрузя,— что ты слишком много думаешь и никогда меня не слушаешь. Вот и попали мы с тобой на безобразнейшую французскую мелодраму. После нее можно предположить, что здравый смысл — вещь лишняя на сцене. Ну, быстро говори: кто у нас самый умный?

— Поляк Фрузя,— с готовностью отвечает Мышкин.

— Что бы ты без меня делал?

— Повесился.

Фрузя начинает раздеваться.

— Фрузя, на нас же все смотрят! — в ужасе почти кричит Мышкин.

Фрузя смеется:

— Милый, мы давно дома. Иди ко мне.

Мышкин обеспокоенно оглядывается. Кровать, столик, свеча, шкаф раскрыт. На вешалке несколько платьев, белая заячья шубка (Фрузино приданое, привезенное еще из Архангельска). Около двери стоят сапожки. На столике стопка книг, флакон французских духов... Вот и все богатство польской дворянки Супинской. Конечно, это Фрузина комната. Поздний час, на Кокоревке все давно спят. Но почему, почему Мышкина не покидает ощущение, что за ними кто-то наблюдает?

— Ты заболел или переутомился, да? Тебе кажется, что все происходит на сцене.

...Они лежат обнявшись. В комнате темно, и только на потолке, над окном, желтый мутный круг света, вероятно от уличного фонаря.

— Ты теплый и колючий...— шепчет Фрузя.— Ну, говори быстро: кто у нас самый-самый красивый?

Мышкин послушно отвечает:

— Поляк Фруза.

— Ну а кого ты любишь больше всего на свете?

— Поляка Фрузу.

— Здорово я тебя выучила,— шепчет Фрузя.— Только знаешь, не надо мне даже синей атласной ленты, хотя лента, конечно, очень симпатичная. Обними меня покрепче.

За дверью шорох щеколды. Вот оно! Проклятие! Недаром Мышкин чувствовал, что за ними наблюдают. Унтер припал к глазку.

Мышкин рывком садится на койку. Бушлат падает на пол. На потолке, над керосиновой лампой, подрагивает желтый кружок света.

Там, за дверью, унтер или смотритель довольно усмекается. Мышкин грозит кулаком. Он знает, что человек, стоящий за дверью, рассматривает его с холодным любопытством. Небось еще злорадствует...

Щеколда опускается. Мышкин ждет еще несколько минут (унтер должен перейти на другую галерею), потом подымает бушлат и осторожно стучит в стену. Снизу тотчас доносится ответный сигнал.

«Значит, у тебя опять бессонница?» — выстукивает Мышкин.

Бессонница — это совсем скверно. Мышкилу искренне жаль товарища, но все-таки он рад, что Попов не спит. Так страшно сейчас оставаться одному.

«Почему не ответил вечером?» — спрашивает Попов.

Объяснить Михал Родионычу истинную причину невозможно. Для Попова существовали только жандармы, враги, с которыми надо было бороться ежедневно, ежесекундно. Какие, к черту, интимные воспоминания, когда товарищ выходит «на связь»! И поэтому Мышкин отстучал: «Думал — заболел, очень хотелось спать».

«Не доверяй врачу, — стучит Попов. — Минаков ударил Заркевича потому, что тот пытался его отравить».

«Такого быть не может, это же преступление!»

«Нас окружают убийцы и душегубы. Я отчетливо слышал, что Минаков кричал Заркевичу».

Невероятно! Впрочем, Мышкин по собственному опыту знает: у каждого наступает период болезненной подозрительности, когда действительно кажется — кругом заговор. Вдруг начинаешь бояться еды, отказываешься от чая. Неожиданно приходит странная мысль: сегодняшней обед отравлен. Знаешь, что это вздор, но переубедить себя в обратном — безнадежная затея. Мучаешься, исходишь голодной слюной, но к обеду не притрагиваешься. Зато потом жадно набрасываешься на скудный ужин. Почему-то уверен, что второй раз в один день тебя травить не будут. Хотя, в сущности, странно не это: удивительно вообще, как человек в одиночке сохраняет способность мыслить.

вал не только против строгого режима. Ценой собственной жизни Минаков надеялся спасти других узников.

Его уводили на расстрел, он крикнул последние слова прощания, а тюрьма испуганно молчала.

«Родионич, может, Минаков прав? Может, лучше плюнуть палачам в лицо и гордо встретить смерть, чем ждать, пока сойдешь с ума или сгниешь заживо?»

«Бредовая идея! — отвечает Попов. — Добровольная смерть — это признание безнадежности нашей борьбы. Об этом палачи лишь мечтают. Надо протестовать по любому поводу, но надо жить».

«Ты веришь, что мы выйдем на волю?»

«Я верю в силу нашей ненависти!»

Рано утром его разбудил унтер. Подняли койку, принесли чай. Мышкин ходил по камере, делал гимнастику, но после завтрака стало клонить ко сну.

Он сидел перед раскрытой книгой («Генерал-поручик фон Паткуль»), опершись локтями на стол и уткнув лицо в ладони. Глаза слипались. Мысли теряли свою четкость, сбивались с привычного ритма.

...В феврале семьдесят четвертого года Супинская и сестры Прушакевич переселились в Петровско-Разумовское, на дачу Ашиткова. Рядом была Петровская земледельческая академия. В гостях у девушек он постоянно заставал студентов. Приходил на дачу и Михаил Фроленко... Фроленко сидел в равелине. Наверно, он тоже здесь. В какой камере? Пора отдавать книгу, может, она попадет к Фроленко и тот обнаружит записку. Почему бы ему не взять сочинения господина Кукольника?

Хлопает форточка.

— Девятнадцатый номер, спать не положено.



Мышкин трет глаза, выпрямляется, потягивается, переворачивает страницу.

И надо же так плохо писать! Вот если бы за плохие пьесы приговаривали к каторжным работам.

...Супинская пригибает ветку молодой березы, неожиданно опускает ее, Мышкин успевает отпрыгнуть в сторону, и снег с дерева падает на Фрузю.

— Пудик, это нечестно, — жалуется Фрузя. Щеки ее покраснелись на морозе.

— Опять у тебя мокрые рукавицы! — негодует Мышкин.

Хлопает форточка.

— Опять спишь, девятнадцатый? На сегодня лишую тебя прогулки.

Мышкин переворачивает страницу, встает, подходит к умывальнику, подставляет лицо под холодную струю воды. Нельзя спать.

Ирод заподозрит, что по ночам перестукиваемся с Поповым. Жалко прогулки... Четверть часа на свежем воздухе здорово бы взбодрили.

...«Пудик, мне пора домой, — шепчет Супинская, — ты устал, спи, не надо меня провожать. Мы скоро поженимся?» — «Нельзя рисковать. Если полиция раскроет подпольную типографию, тебя арестуют как мою жену». — «Ну и хорошо. Женам декабристов разрешили следовать за мужьями, я тоже поеду в Сибирь». — «Надеешься на гуманность властей? Декабристы были дворяне. С нами не станут так церемониться». — «Надоело прятаться, надоело таиться. Ведь я люблю тебя, Пудик».

Гремят замки. Распахивается дверь. Ирод шипит с порога:

— В карцер захотел, девятнадцатый? Сидоров, забрать у него книгу!

Мышкин пытается встать и чуть не падает, Затек-

шную ногу свело судорогой. Несколько приседаний. Теперь легче. Нельзя сидеть. Надо ходить. Лучше считать шаги. Раз, два, три, пятнадцать, шестнадцать, сто пять, сто шесть... Как же Попов справляется с бессонницей? Может, он тоже научился спать днем, не закрывая глаз? Двести два, двести три, двести четыре... Если смотреть оптимистически, то даже из самого плохого можно извлечь пользу. Ему не дают спать? Превосходно. Так бы Мышкин лежал пластом на койке, а это, как утверждает медицина, не полезно. Приходится двигаться. Часовая прогулка по камере. Еще древние римляне писали, что ходьба укрепляет здоровье: В здоровом теле здоровый дух. Значит, сами того не ведая, жандармы заботятся о Мышкине.

Четыреста шестьдесят один, четыреста шестьдесят два... Царское правительство так рьяно преследует инакомыслящих, что поневоле укрепляет ряды революционеров. Печально знаменит указ, по которому все русские студенты были вынуждены покинуть Швейцарию. Благодаря ему мы в семьдесят четвертом году неожиданно получили подкрепление. В Россию вернулись люди, читавшие Маркса, лично знакомые с Бакуиным, квалифицированные пропагандисты.

...«Нет, Пудик, мне не нужно нового платья, — голос Фрузи строг и решителен. — Ни Лена, ни Ольга не могут себе позволить такой роскоши, чем же я лучше? Тебе Катков заплатил за отчет? Вот и хорошо, Миша Фроленко просил денег для товарищей. Думаешь, студенты только книгами питаются? Посмотрел бы, как они булки с чаем уплетают». ...Булка, теплая, ситная. Свежий пасхальный кулич. Хрустящие рогаляки с маком. Чай, крепкий, душистый, с медом...

Скрежет форточки заставляет его очнуться. Окавывается, он дремал стоя, прислонившись к стене.

В форточку заглядывает бородатое, в рытвинах от осы, раскрасневшееся лицо зрителя. Несколько секунд Мышкин и Соколов смотрят друг на друга. «Может, поведет на прогулку?» — успевает подумать Мышкин, но Соколов ухмыляется и захлопывает форточку.

Форточку зритель хлопнул, но щеколду глазка подвнял. Угадал, наверно, что Мышкин на прогулку понадеялся. Теперь исподтишка поглядывает, рад-радешенек. Досадить непокорному номеру — любимое развлечение у Соколова.

...Ноги не держат. Мышкин опускается на стул. Сейчас бы расстелить бушлат, лечь, вытянуться, закрыть глаза, и будь что будет... Внизу хлопает дверь. Шаги. Кого-то повели во двор. Значит, прогулка не кончилась. Полагал, что перевалило за полдень. Нет, до обеда еще сидеть и сидеть.

Шестнадцать лет тебе сидеть, Ипполит Никитич.

\* \*  
\*

Однажды они не то что поссорились, но почувствовали Мышкин: обиделась на него Фрузя.

Вечером Мышкин уезжал в Одессу. Пригласили стенографировать съезд учредителей страхового общества. Перед отъездом Мышкин прикатил в Петровско-Разумовское. Супинская вызвалась провожать. Как ни уговаривал ее Мышкин — поздно возвращаться одной через всю Москву, — Фрузя настояла на своем.

Ужинали в дымном, грязном трактире Бокатова. С ресторациями давно покончили. Новая типография требовала немало денег. Войнаральский дал пятьсот рублей. Не хватало двух сотен, и Мышкин рассчитывал заработать в Одессе. Половой даже оскорбился, когда Мышкин отказался от водки, — в трактир при-

ходили не есть, а пить. Принес пиво, нагло вато глянул на Супинскую. Видимо, решил, что «барышня большего не стоит».

— Экономись на мне, Пудик, — заметила Фрузя, — но ничего, осенью, перед свадьбой, я тебя раззорю.

Легким движением руки она пригладила Мышкину волосы и, мягко улыбнувшись, добавила:

— Не обращай на дураков внимания.

— Эти дураки безвредны, — сказал Мышкин. — А как быть с другими? Сегодня разговаривал с цензором по поводу сборника...

— Чего же ты молчал до сих пор? — сразу насторожилась Фрузя. — Ну?

Неделю назад типография начала печатать сборник под названием «Об отношении господ к прислуге и о мировом институте». В нем Мышкин собрал статьи, появившиеся в русской печати в связи с делом горничной Ульяновой. Горничную выгнала жена провизора Енкена, выгнала поздно вечером зимой на мороз, не отдав даже паспорта. Ульянова подала жалобу в суд. Судебный процесс широко комментировался в прессе. Авторы статей придерживались различных точек зрения. Одни осуждали самодурство господ, другие утверждали, что прислуга обязана проявлять к своим хозяевам «особое уважение». В целом сборник служил наглядной иллюстрацией бесправного положения наемных работников России. И Мышкин и Фрузя придавали большое значение этой книге: в сущности, то была последняя попытка издать «взрычато-агитационный» материал легальным путем.

— Что «ну»? — вспылил Мышкин, вспомнив недавнюю беседу с цензором. — Дурак он и дубина! Я ему доказываю: большинство статей благонамеренны и высмеивают маниловские прожекты наших горе-ли-

бералов, так прямо и сказал. А этому ослу кажется, что книга может возбудить прислугу против нанимателей, и вообще, дескать, она пропагандирует враждебность низших классов к высшим.

— Так он совсем и не дурак и не осел, твой цензор, — рассмеялась Фрузя. — Знаешь, Пудик, надо научиться иначе смотреть на вещи. Если каждый раз расстраиваться из-за цензуры... Так что ты решил?

— Рискнем. Вдруг мне удалось переубедить цензора? В крайнем случае конфискуют тираж. Правда, это убытки не только материальные...

— Ты у меня хозяйчик, капиталист, — протянула Фрузя, опять переходя на шуточный тон. — Ладно, зачем гадать понапрасну? Забудь про это. Слышишь? Ты же у нас отчаянно храбрый, ужасно рискованный господин... Правда, в том случае, когда речь идет о деле. Эх, был бы ты таким по отношению к женщинам! Ведь женщинам нравятся легкость, гусарство. Другой бы на твоём месте увез меня на неделю в Петербург, погулял бы по Невскому, посетил оперу... Скажи, Мышкин, хоть несколько дней мы можем провести вдвоем, ты и я, и больше никого? Ну, рискнем?..

— Да, — согласился Мышкин. — Было бы совсем неплохо. Но в Одессе обещали...

— Ой-ой-ой! Только не надо опять про деньги и типографию. Все знаю. Нет, ты не гусар, Пудик...

И вдруг словно спала с её лица маска. В больших серых глазах прочел Мышкин мольбу.

— Не уезжай, Ипполит! — Она редко называла его по имени. — Черт с ней, с Одессой! И в Москве можно заработать.

— Время не ждёт, — забормотал Мышкин.

— Знаю, время не ждёт. А я жду. Жду лета, жду осени. Пускай я капризничаю, но один раз в жизни могу я покапризничать? Я плохо себя чувствую...

«Акушерка Краевская имеет комнаты для дам», — почему-то сразу вспомнилось объявление в «Московских ведомостях». И Мышкин стал успокаивать Фрузю, уговаривать, убеждать: нет другого выхода, такая наша судьба, всем приходится жертвовать, наступает решающий этап и прочее и прочее.

— Оставим, — сказала Фрузя. — Конечно, ты прав... Смотри, этот подьячий еле стоит на ногах. Забавно, да?

Извозчик привез их на вокзал, и Мышкин целовал ей руки и продолжал что-то говорить, а в голове билась мысль: «Я ей сейчас так нужен, может, все-таки остаться?»

Фрузя казалась веселой и даже извинялась за недавний каприз. «В Одессе, говорят, ветрено. Надевай шарф и не смей смотреть на других женщин. Обо мне не беспокойся. И приезжай скорей».

На талом снегу перрона чернели лужи. Поезд тронулся. Мышкин стоял на подножке, держась за поручни, и следил за удаляющейся фигуркой в белой заячьей шубе. Махала кому-то платком старушка. Татары тащили к вокзалу узлы и чемоданы. Мелькнули разгоряченные вином, улыбающиеся лица офицеров, и вообще на перроне было много народа.

Прав Попов, только ненависть придает силы. Ненависть и отчаяние. (Когда приносили чай, смотритель прошипел сквозь зубы: «Не пойму тебя, девятнадцатый. То кимаришь, то мечешься, как тигра в клетке».) Мышкин метался по камере, ему хотелось выломать дверь, броситься на жандармов, бить, крушить, топтать, разнести всю тюрьму...

Что же останавливает? Ломай дверь, души их голыми руками, все равно умирать один раз. Нет, при-

вычное благоразумие голос подает: «Не время, оставим для другого случая, более подходящего». Вот так: благоразумие, призрачная надежда на завтрашний день. Недаром Супинская тебя дразнила: «Мужичок, хочешь действовать только наверняка». И что ж? Пока ты колесил по губерниям, Фрузя вела типографию, печатала книги, листовки. Значит, разумным было только то, что делала Фрузя. Однажды она призналась в своей слабости, однажды она попросила тебя остаться. Но ты, как камень, как чурбан, уперся. А сам, когда было плохо, прибегал к Фрузе. Вот сидишь у нее, злой, мрачный. Скверные новости: идут аресты. А Фрузя легонько гладит ладонью твои волосы и успокаивает: «Пудик, не надо отчаиваться, ведь в Москве работа на полном ходу, в Саратове открыли мастерскую. Разве плохо?» «Мужичок ты мой, — говорила Фрузя, — ты все живешь завтрашними заботами, прикидываешь, какая будет погода, хватит ли хлеба до следующего урожая, и даже свадьбу откладываешь на осень. Почему ты не радуешься тому, что есть? Мы на свободе, любим друг друга». А он хмурился: легкомысленная девчонка, не понимает всю сложность обстановки. Он считал себя очень умным, на сто лет заглядывал. Он надеялся, что все еще впереди, а впереди уже ничего не было. Да, Фрузя казалась легкомысленной, она радовалась как ребенок каждому светлому, погожему дню, каждому часу их любви. Видно, знала заранее, сердцем чувствовала...

Никто не расскажет Мышкину подробностей, но он представляет себе, как это было. В северной ссылке умерла его девочка. В отгороженном карантинном углу, накрытая каменным тулупом, в бреду и беспмятстве металась Фрузя Супинская. Звала его, просила, вымаливала последнее свидание. Но жандарм де-

ловито посматривал на часы, а хозяйка избы клала на лоб мокрое полотенце и подавала кружку с водой... Может, Фрузе виделось, что стоит она на талом снегу перрона, вокруг татары, офицеры и носильщики и медленно удаляется вагон, а Мышкин... Мышкин прыгает с подножки?

Ведь Фрузя просила его остаться. Один раз попросила; зачем же он уехал? И не успели они пожениться, и синей ленты он ей не купил.

Пять лет в Петропавловской крепости, а потом далекое северное село, снега, метели... И если пришла она в сознание, в последний свой миг открыла глаза, то не было рядом любимого, единственно близкого ей человека. Чужие, равнодушные лица склонялись над ней.

Со дня смерти Супинской прошло пять лет. Пять лет каторги, скитаний по тюрьмам, и нет надежды когда-либо встретиться с Фрузей...

## 6

**В** сущности, связаться с товарищами было довольно просто. Возвращаясь с прогулки, можно было крикнуть с верхней галереи:

— Я Мышкин, заключен в тридцатой камере. Прошу каждого назвать себя.

И тюрьма бы услышала. Все, кто мог ходить и кто имел право на прогулку, повторили бы то же самое. «Громкое» проявление общей солидарности придало бы силы шлессельбуржцам. Но Мышкин не спешил осуществитъ свою идею. И не боязнь карцера сдерживала его. Он не хотел рисковать здоровьем товарищей. За такую «перекличку» их ждало бы наказание. Не-



известно, каково состояние остальных. Если они больны, то карцер их доконает. Конечно, Мышкин верил, что все воспользуются случаем и назовут себя... А друг?.. Что, если они не решатся, не осмелятся? Какие тоскливые дни предостоят тогда Попову и Мышкину! Так еще теплится надежда на новые времена. Но думать, что друзья сломлены, что суровая инструктория сковала их волю...

В петербургской предварилке тюремщики не могли с ними справиться. Сами заключенные диктовали условия. Опасаясь бунта, администрация закрывала глаза на открытое нарушение режима. Но тогда все чувствовали себя моложе, сильнее, да и времена были иными. С тех пор прошло семь лет. Каждый шлис-сельбуржец знает о гибели кого-нибудь из своих друзей по заключению. И ждет своей очереди. Теперь остается только с грустью вспоминать о петербургской предварилке.

Правительство организовало большой показательный «процесс 193-х» с целью устроить не только самих обвиняемых, но и всех сочувствующих им. Однако, как обычно, эффект оказался совершенно противоположным. Многие из участников процесса ранее не знали друг друга — правительство предоставило им такую «счастливую возможность». Летом 1874 года революционные кружки в различных городах действовали стихийно, на свой страх и риск, — через три года на суде власти объединили их усилия. Вся мыслящая Россия могла воочию убедиться, какой размах приобрело «хождение в парод».

Получалось, что правительство не столько устрашило, сколько само «устрашилось». Не горстка энтузиастов агитировала в деревнях, а партия социалистов пыталась свергнуть существующий строй. (было чего испугаться). Во главе этого огромного заговора

правительство «поставило» Мышкина и Войнаральского (Мышкин даже шел первым номером; нижайший поклон властям за такую честь). Прокурор в своей речи утверждал:

«Мышкин и Войнаральский во главе заговора составляли, печатали и рассылали в разные местности возбуждающие к бунту или к явному неповиновению верховной власти сочинения с целью распространения их...».

Далее, правда, следовала ехидная фраза:

«...Чего не успели совершить по обстоятельствам, от их воли не зависящим».

Действительно, в Москве и в Саратове полиция конфисковала целый склад нелегальной литературы. Но переплетные мастерские в Рязани и Пензе продолжали работу. Мышкин и Супинская сумели переправить туда отпечатанные листы.

Прокурор подробно докладывал о каждом зафиксированном случае антиправительственной агитации, о том, как в деревнях Поволжья и Тамбовщины читались прокламация «Чтой-то, братцы» и брошюра «История одного из многострадалых». Мышкин слушал и улыбался.

Можно только поблагодарить прокурора за ценную информацию. Отправляя очередную партию готовых листов, Мышкин с тревогой думал: «Справятся ли переплетчики? Дойдут ли книги по назначению?» Три года спустя прокурор как бы подвел итог работы его типографии. Мышкин предполагал худший вариант, однако прокурор нарисовал довольно радужную картину — что ж, весьма любезно с его стороны. В конце концов большая часть литературы попала в лапы полиции. Но ведь что-то сохранилось, что-то прячут до сих пор! Теперь ясно, что книги помогли агитаторам.



— Пожалуйте-с, барин, угощайтесь! — дворник протянул Мышкину кисет.

Мышкин отказался. Дворник достал щепотку табаку, затолкал ее себе в нос, значительно глянул на Мышкина, чихнул дважды, крикнул, убрал кисет и только потом продолжал:

— Да, барин, раньше табак не курили, раньше нюхали, и жизнь была другая — почтенная, уважительная. Утром тишина, никакого постороннего народа. И откуда вьются-то народу? Лавки на этих улицах не допускались. Вот в полдень, бывало, французы али немки ведут барчуков на бульвар. Через час, глядь, и барыни в гости выезжают. Кареты запряжены четверкой, впереди рейтор, на запятках двое лакеев. И никаких посторонних мазуриков не шпалось. И откуда такая прорва народа взялась? К примеру, в этом доме сколько помещений, а все для службы годилось: погреба, кухни, сараи, прихожие, людские, конюшни, — свой брат, дворовый, место занимал. А нынче в каждом флигеле семья: татары, басурмане, студенты, сапожники, подрядчики... Но более всего деревенщины. Ну и чего эти-то землю бросают, чего их в город тянет?

— Плохо, видно, в селах, — ответил Мышкин, — голодно, вот и приходят в Москву на заработки.

— А в Москве даром пряники раздают? Вы барин, человек степенный...

— Называйте меня просто Ипполитом Никитичем.

— Нет уж, барин, поздно переучивать, — насутился дворник. — Вот машины в залу поставили, не обессудьте, но запах от них... Раньше в этой зале танцы давали, музыка играла.

— Теперь будем книги печатать,— сказал Мышкин.

— Церковные? — строго осведомился дворник.

— Церковные,— быстро подтвердил Мышкин,— по заказу епархии.

— Покойный наш барин Петр Андреевич, поручик и кавалер, изволил говорить, что в книгах все зло,— сторож перекрестился,— но церковные — дело святое. Завтра вселяться будете?

— В полдень приедем.

— Располагайтесь как знаете. Ну, я пошел. За имущество не беспокойтесь. Ворота закрою — кошка не проскочит.

Мышкин полез в карман и, смущенно улыбаясь, протянул серебряный рубль. Дворник неопределенно хмыкнул, но рубль взял. Когда за стариком закрылась дверь, Мышкин с облегчением вздохнул и отправился еще раз осматривать комнаты.

Итак, с 4 мая 1874 года в доме Орлова хозяин он. В бывшей бальной зале — официальная типография. Здесь будем выполнять заказы управы и статистического бюро. В помещении справа от передней — станки для конспиративного набора. Это вотчина Супинской, сюда вход разрешен только доверенным лицам. На антресолях — жилые комнаты для наборщиц. За наборной, в большой угловой комнате, его кабинет. Все как положено, не придерешься. С новосельем, почтенный коммерсант Ипполит Никитич! Завтра из Петровско-Разумовского перевезем барышень, с Кокоревки переедут супруги Фетисовы... Организуем коммуну, будем жить-поживать и добра наживать.

Он спустился во двор. Во флигелях светились огни. У дальних строений, там, где был выход на Филипповский переулок, кто-то неразличимый в тем-

поте наигрывал на гармонике. Вспомнились слова сторожа: «В каждом флигеле семья: татары, басурмане, студенты, сапожники». Поэтому и понравился Мышкину дом Орлова. Хорошо, что много народу: посторонний человек не вызовет подозрений. А «посторонние» будут приходить ежедневно. И запасной выход на Филипповский пригодится.

Мышкин оглянулся. У ворот маячила фигура сторожа. Надо купить евангелие и подарить старику. Сторож хоть неграмотен, но книге обрадуется и перед соседями похвастается... Осторожность не помешает, береженого бог бережет.

Бодрым шагом Мышкин направился к воротам, кивнул сторожу. Выйдя на Арбат, он остановился и полюбовался еще раз аккуратной новенькой вывеской: «ТИПОГРАФИЯ И. Н. МЫШКИНА».

\* \*  
\*

На квартире студентов братьев Аркадакских — товарищеская пирушка. По разнообразию закуски чувствуется, что тут руку приложил Порфирий Войнаральский. Старший Аркадакский произносит соответствующий случаю торжественный витиеватый тост.

Мышкин и Супинская опоздали, их сразу посадили за стол, даже не успев представить собравшимся.

Если бы случайный посетитель заглянул в квартиру Аркадакских, он бы только позавидовал веселью молодежи. (Если бы заглянула полиция, то тоже не нашла бы ничего предосудительного.) Но Аркадакские пригласили не случайных гостей. И хотя Мышкин не знал более половины присутствующих, можно было догадаться, что все это проверенные люди, которым не сегодня-завтра предстоит отправиться «в народ». Как «генералы на свадьбе», сидели

Кравчинский и Рогачев. Они уже ходили по Тверской губернии, «возмутили» целую волость, их арестовали, но они бежали из-под стражи и теперь, естественно, были в центре внимания.

Поначалу как будто все поклялись не касаться серьезных тем, но постепенно разговор принял иной оборот. В общем гуле голосов все настойчивее прорывались названия приволжских городов и уездов. Кто-то цитировал отрывки из прокламации Шишко «Чтой-то, братцы».

— Куда направляемся, коллега? — спросил у Мышкина его сосед справа, лохматый розовощекий студент. Мышкин сделал неопределенный жест:

— Пока в Москве.

Студент взглянул на Мышкина с явным сожалением и похвастался:

— А я с артелью ухожу в Нижний.

— Петька, — крикнул студенту приятель с другого конца стола, — слышал новость: у нас в Москве открылась тайная типография.

— Не мели языком! — прервал его студент и, обращаясь к Мышкину, с деланным равнодушием добавил: — Молод еще, болтает, а чего болтает — сам не знает.

Слева худой юноша в очках горячо доказывал Суринской:

— Мы забыли, что Стенька Разин и Пугачев были крестьянами.

— Не крестьянами, а казаками, — поправили его.

— Какая разница? — пожал плечами юноша. — Те и другие землю пахут.

В углу, где сидел Войнаральский, зазвенели громкие голоса спорящих.

— Господа, мы совершаем непростительную ошибку. Мы прекратили агитацию среди фабричных.

— И правильно! Россия — крестьянская страна.

— Маркс писал, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей.

— Это в Европе пролетариат, — вставил ехидный голос, — а русский мастеровой свои цепи в кабак заложил, за полштофа водки. Надо запретить вино, тогда и в Москве революцией запахнет. Предложи такой закон правительству.

— Неправда, — возмущалась девушка, — ткачи на нашей фабрике по субботам книжки читали...

— А иначе как за вами поухаживаешь? — парировал тот же голос.

— Господа, — заговорил Кравчинский, и спорящие притихли. — Помните: наш народ прост, добр и доверчив. Он встретит вас с открытым сердцем. В любой избе мы с Дмитрием находили внимательных слушателей. Крестьяне даже отказывались брать деньги за ночлег. В деревнях живут крайне бедно: сахар «вприглядку», мясо в щах — по большим праздникам. В один из первых дней, когда у нас еще оставалась городская провизия, мы положили на стол колбасу — как на заморское чудо глядели. Мы поделили на всех, так они есть не осмеливались. Нет, господа, о нищете народа не рассказывать — ее надо видеть собственными глазами. И поймите главное: мужик испокон веку привык, что его секут, бьют по зубам, ему приказывают. Он абсолютно бесправен, все, кому не лень, дерут с него три шкуры: лекарю взятку, подьячему взятку, писарю положи «на лапу», становой приезжает — опять поборы. И вдруг появляются люди, которые разговаривают с мужиком уважительно, которые объясняют мужику, что он сам хозяин земли, что стоит только крестьянам объединиться — и они возьмут власть в свои руки. Не поверите, господа, но нас принимали за настоящих апостолов

божьих. Если бы мы захотели поднять бунт немедленно, то запылали бы барские усадьбы.

...У Аркадакских собралось человек двадцать пять. Еще недавно спорили, шутили, делились планами на будущее. Теперь все притихли и старались не пропустить ни одного слова Кравчинского. Кравчинский говорил зло, уверенно. Слушая его, Мышкин впервые пожалел, что связан с типографией и не может вместе с товарищами пойти по деревням: пробил великий час, начиналось решительное сражение, а Мышкин в арьегарде, в обозе. Товарищи поведут за собой восставших крестьян, а Мышкину остается только печатать книги...

Он покосился на Супинскую. Глаза Фрузи сияли. И она тоже восхищалась Кравчинским: не отрываясь, смотрела на него.

— А как вам удалось обмануть стражу? — раздался чей-то робкий голос.

— Обманывать никого не пришлось, — ответил за Кравчинского Рогачев. — Нас арестовал староста по приказу станового и выделил для сопровождения самых надежных мужиков. По дороге разговорились, видим — ребята подобрались степенные, чтут бога и начальство. Ну а Сергей Михалыч им «Святое писание» наизусть шпарит, он же дока по части Библии. Мужики слушают, затылки чешут. Все, что мы ранее по избам рассказывали, не противоречит христианским заповедям. «Непорядок, — шепчутся мужики, — хороших людей в «кутузку» сажает». Проходили большое село, а там храмовый праздник. Наш конвой встретил знакомых и, конечно, соблазнился дармовой выпивкой. В каждой избе подносили нам брагу. Мы только делали вид, что пьем, а конвойные все больше хмелели. К вечеру из села не выбрались, заночевали. Нас с Сергеем заперли в сарае, да самый молодой из



конвойных шешнул, что замок вешать не будут, так, для приличия, двери палкой подопрут. В полночь мы свободно ворота отворили и к утру верст двадцать отмахали. Как раз к поезду на станцию успели. Отсюда мораль, господа: мужика не надо бояться. Мужик не выдаст.

...Никак не удавалось Мышкину переговорить с Войнаральским. Порфирий Иванович ни на шаг не отходил от Кравчинского. Они сидели, отделившись от общества. Войнаральский что-то горячо доказывал Сергею Михайловичу. Кравчинский ничего не пил, покусывал губы и нервным движением пальцев ломал спички.

Мышкин и Супинская покинули общество так же незаметно, как и появились. На их исчезновение никто не обратил внимания.

Они возвращались по ночному Арбату. Накрапывал дождь, в лужах отражались огни редких газовых фонарей. После шумной компании странным казалось, что обыватели мирно спят в своих домах и не подозревают о грядущих событиях.

— Зачем Кравчинский приехал из Питера? — спросила Супинская.

— Ему нужны помощники. Готовят чей-то побег из тюрьмы. Но, — с неожиданной для себя горечью добавил Мышкин, — в подробности сего предприятия посвящены лишь избранные. Мы же не из их числа.

— Ты обиделся, как ребенок, — мягко сказала Фрузя и попыталась дотянуться до его лица. Мышкин резко отстранился.

Да, он обиделся. В конце концов, когда речь идет об освобождении товарища, когда наконец затеяно настоящее дело, то почему-то забыли, что Мышкин не только удачливый предприниматель-типограф, он в первую очередь военный, унтер-офицер. Он умеет

владеть оружием, смел, энергичен. Никто не понимает, что он, Мышкин, рожден для действия, а не для разговоров.

«Россия казалась нам тогда пороховой бочкой, — отстукивал он Попову. — Требовалась лишь искра».

«Противоречишь самому себе, — отвечал Попов. — Давеча говорил, что четко понимал расстановку сил».

Тонкие книжки для брошюровки отправлялись в Пензу. В Саратове открылась «сапожная мастерская», куда под видом башмачного товара Мышкин переправлял ящики с готовыми листами толстых книг. Саратовской мастерской заведовал мастер Пельконен, к нему на помощь уехали Юлия и Елена Прушакевич.

Несмотря на поддержку Саратова и Пензы, положение в типографии было крайне напряженным. Для печатания нелегальной литературы не хватало людей. Мышкин совсем забросил стенографию, днем правил корректуру, а по ночам, запершись в «секретной» комнате вместе с Супинской и Фетисовыми, изготовлял бланки фальшивых паспортов и других подложных документов.

Ермолаева и Заруднева набирали «Историю одного из многострадальных» (сокращенный перевод с французского «Истории одного крестьянина» времен революции 1789—1794 годов) в общем зале. Это было рискованно. Новым рабочим, в спешном порядке принятым с улицы, Мышкин не доверял. Наборщица Левшина проявляла излишнее любопытство к «секретной» комнате. Мышкину пришлось намекнуть на свою интимную связь с Фрузей. Но это возбудило еще

большие подозрения. Действительно, если «секретная» предназначалась для ночных свиданий, то при чем тут супруги Фетисовы? В довершение всего цензура конфисковала ранее официально разрешенные брошюры «Об отношении господ к прислуге». Это накалило обстановку в типографии. Девушки передавали, что Левшина распространяет слухи, будто хозяин печатает «запрещенное». Рабочие боялись, что их привлекут к уголовной ответственности за «недопущение властям». Входя в общий зал, Мышкин ловил на себе косые взгляды.

Неприятный осадок оставил разговор с цензором. Цензор был предельно вежлив, но категоричен. Конечно, он сочувствует господину Мышкину, понимает, что типография несет материальный ущерб, однако ничего поделать не может: весь конфискованный тираж уничтожен. Мышкин сказал, что будет жаловаться, слава богу, он вхож к его превосходительству. Цензор тонко улыбнулся и вскользь заметил, что давно не видно Ипполита Никитича в комитетах; какие неотложные дела мешают вести стенограммы? Его превосходительство наверняка помнит услуги, оказанные господином Мышкиным, только в данном случае указания исходят от другого ведомства. Мышкин поспешил откланяться. Что ж, цензор недвусмысленно предостерегал: типографией заинтересовалось жандармское управление.

\* \*  
\*

Войнаральский нервничал, чертил тростью по земле. Скамейку напротив занимал подозрительный субъект. Мышкин выразительно посмотрел на субъекта. Войнаральский понял, и они перешли на боковую аллею.

— Из Саратова сообщают, — заговорил Порфирий Иванович, поминутно оглядываясь, — за мастерской Пельконена установлена слежка.

— Послушай, — вспыхнул Мышкин, — наши «сапожники» ради приличия сшили хоть пару сапог?

— Ты завалил их готовыми листами, — смущенно ответил Войнаральский. — Посланцы Ковалика требуют все больше книг.

— Хороши конспираторы! Открыли мастерскую, ежедневно получают какие-то ящики, в дом приходят неизвестные люди, работа кипит, только забыли самую мелочь — шить сапоги. Просто удивительно, почему полиция так поздно проявила любознательность. А если обыск? Ниточка приведет в Москву. Надо ликвидировать саратовский филиал, уничтожить или вывезти листы.

— Давай без паники, Ипполит. Наши предупреждены, приняты меры...

Войнаральский долго успокаивал Мышкина. Он сказал, что сам поедет в Саратов. А Мышкин пока отправится в Рязань — стенографировать очередной съезд земства: революции нужны деньги.

#### ЗАПОМНИЛОСЬ:

бледное, усталое лицо Фрузи, синева под глазами, легкий кивок — и девушка опять склонилась над корректурой (некогда даже попрощаться); скандал в печатной. «Что мы, крепостные, — надрывался мордастый парень, наборщик из новеньких, — я квас пил, и опоздать нельзя на десять минут!»; цепкий взгляд Левшиной, плотно сжатые губы, кажется, сейчас с них сорвутся ехидные слова: «Благородные люди жегнутся!» (одно хорошо: она, как ни странно, пре-

исполнилась сочувствием к Супинской, — бедная девочка, совращенная коварным хозяином); дом сотрясает мерный перестук печатных машин; с двумя туго набитыми чемоданами (готовые от- тиски) Мышкин спускается с крыльца, оборачи- вается, смотрит на окно «секретной» комнаты (вдруг Фрузя выглянет, махнет рукой, — нет, не догадалась, на подоконнике красный цветок — условный знак, что все в порядке); у ворот на скамейке дремлет сторож, накинув на плечи зимний тулуп (начало июня, а старику холо- дно); «До скорого свидания, барин», — сонно бор- мочет сторож; Мышкин кладет чемоданы в про- летку, извозчик дергает лошадь; ветер гонит по Арбату пыль, обрывки грязной бумаги; гремит, бренчит по рельсам вагон конки, и что-то коль- нуло в груди — с недобрými предчувствиями Мышкин покидал Москву.

Через несколько дней он заглянул на городскую почту. Его ждала телеграмма из Москвы: «Дом в Са- ратове сгорел. Поляк Фруза». Это означало, что поли- ция «накрыла» мастерскую Пельконена.

Мышкин тут же купил билет на ночной поезд.

...Той же ночью, в поезде, Мышкин увидел сон, ко- торый впоследствии повторялся много раз и обрастал новыми подробностями. Этот кошмар преследовал его в Петропавловке и Новобелгородском центре, и иногда Мышкину казалось, что все приснившееся случилось с ним наяву...

Старый дворник дома Орлова стучится в купе (по- том он открывал двери камер, и ключи звенели у него на поясе), на плечах — зимний тулуп, а в руке он дер- жит красный цветок.

— Барин, вам девушка велела передать, — он протягивает Мышкину цветок, а глаза старика скованы дремотой; веки опущены, не смотрит он на Мышкина.

— Ее арестовали? — кричит Мышкин и в ужасе замолкает на полуслове: он проговорился, выдал, теперь сторож донесет в полицию.

Слепое лицо дворника кривит усмешка:

— Неведомо, барин, много народу в дом понаехало; и чего их в Москву гонит? Обещали «Святое писание» печатать, обманули старика... Вся зала краской провоняла. Другие хозяева объявились, говорят, музыку в залах устроят, как при покойном Петре Андреевиче.

Мышкин подбегает к нему, трясет за плечи, но сторож не раскрывает глаз.

— Вот цветок, — бормочет дворник. — Барышня еще приказала передать, чтобы поливали и ухаживали за ним.

— Да проснись, старик, — кричит Мышкин, а перед Мышкиным уже не дворник стоит, а знакомый цензор (или другой вариант: его превосходительство обер-полицмейстер).

— Не видно вас, Ипполит Никитич, в комитетах, — ехидно замечает цензор (или генерал), — какие неотложные дела мешают вести стенограммы?

\* \*  
\*

В окне комнаты Супинской не было красного цветка. Не заходя в дом, Мышкин выбежал через двор на Филипповский переулок. Вечером он пришел к Аркадакским. В квартиру его впустил Константин Аркадакский. Он провел Мышкина в самую темную

комнату, потом долго стоял на лестнице, прислушиваясь, а вернувшись, произнес:

— Все про-а-пало. Надо скрываться.

Итак, в Саратове арестованы Пельконен, Селиванов, сестры Прушакевич. В доме Орлова уже дважды был обыск. Сначала полиция ничего не нашла, но, придя вторично, обнаружила в «секретной» наборной готовые формы и оригиналы запрещенных рукописей.

Увидев, что в окне нет цветка, Аркадакский пошел к соседям. Он жаловался, что не может получить свои визитные карточки, и спрашивал, где типографы. Соседи посочувствовали барину и сказали, что вряд ли он получит карточки, так как в доме жили не типографы, а «сицилисты», деньги у хороших господ брали, пропивали, а вместо заказов печатали «поджигательные листки», но всех их, слава богу, полиция свезла в участок, а «главный» давно пойман и заключен в кандалы.

Еще утром Мышкин был уважаемым гражданином в звании «домашнего учителя», состоятельным коммерсантом — теперь он стал государственным преступником с фальшивым паспортом в кармане. На его имущество наложен арест, а при себе только 300 рублей.

В один момент все перевернулось. Ему предстояло жить на нелегальном положении. Однако больше всего его волновала судьба девушек. В том, что других наборщиков выпустят, он не сомневался. Но каковы улики против Фетисовых, Зарудневой, Ермолаевой?

...Мысль, что Фрузя Супинская тоже в тюрьме, казалась настолько чудовищной... Он понимал, чудес не бывает, нет никакой надежды, и тем не менее вдруг... Он ждал, что сейчас Аркадакский скажет: «Фрузя в безопасности, на даче Ашиткова», но Арка-

дакский вздрагивал при каждом стуке, доносящемся с лестницы, и, заикаясь, повторял:

— Все про-а-пало. Ннадо скрыватья.

7

— **П**олкаша, какими судьбами?

Старый друг Ваня Лаврушкин всплеснул руками и загрохотал сапогами вниз по лестнице, оставив недоумевающего Мышкина на пороге своей квартиры. Вернулся он через минуту, запыхавшийся, раскрасневшийся, подтолкнул Мышкина в комнаты, хлопнул дверью, щелкнул замком и решительно произнес:

— Слава богу, на улице никого! Но давай сразу договоримся: ежели за тобой придут, я знать ничего не знаю, тебя в гости не приглашал. А сам я жду, когда Марфа вернется, чтоб в участок ее послать, донести, значит, понимаешь? Ты на меня не хочешь петлю накидывать, верно, Полкаша? Я к вашим делам непричастен. Но это так, для полиции. А ты проходи, не бойсь, Марфа поздно вернется. Садись грейся, я окна закрою, чтоб не продувало.

К любому приему готов был Мышкин. Даже к тому, что Лаврушкин дверь перед носом захлопнет. Но такая откровенность... Хорошее начало, что же дальше?

Мышкин прошел в кабинет, сел в кресло, расстегнул ворот сорочки. На столе лежала стопка листков. Знакомые стенографические крючки. Мышкин усмехнулся.

— Зачем окна закрывать, Ваня? Душно на дворе.

— А я кваску холодного принесу.



И Ваня нырнул в столовую, прогремел там какой-то посудой, и точно, вынес на подносе кувшин, стаканы, лучок, сало, поставил перед Мышкиным, приговаривая:

— Отдыхай, угощайся, Полкаша. Небось набегался?

Мышкин налил полный стакан, отпил. Квас был свеж и холоден.

— Ну что, друг сердечный, и вправду Марфу пошлешь в полицию?

— Сдурел, Полкаша? — обиделся Ваня. — Это так, для блезиру, договариваюсь на всякий случай. Ежели вдруг придут, зачем нам двоим пропадать? Я ж тебе пригожусь, правда? Я еще тебя выручу! А на рожон переть глупо, согласен? Ты лучше объясни мне, как по улицам ходишь; тебя любой пристав в лицо знает.

— А я не хожу, пробираюсь.

Мышкин цепко вглядывался в лицо своего бывшего однокашника. Друг проверяется в беде. Но кто он, Ваня Лаврушкин? Что раньше знал о нем Мышкин? Покровительствовал он Ване, помогал, а тот в свою очередь громко восхищался им, льстил, поддакивал.

По лицу Лаврушкина плавала улыбка, выражавшая радушие, участие к товарищу. Но вот за окном раздался шорох. Лаврушкин на секунду потерял радужную улыбку, потом, видимо успокоившись, поправил, прочно зафиксировал ее в уголках губ.

— Ипполит, заарестуют тебя.

— А я уеду. Скоро.

— И то верно, — откровенно обрадовался Лаврушкин и уже совсем некстати добавил: — Жалко, скучать буду.

— Зачем скучать, Ваня? Будешь стараться — тебя определят на мою должность. Считаю, счастье привалило.

— А как же иначе, Полкаша? — вздохнул Лаврушкин. — Как жить прикажешь? Мы люди маленькие. Помнишь, как нас порол поручик Бутяков? И если ты место доходное сам оставил, то пускай оно мне достанется. Резон? Резон. Лучше мне, чем какому-нибудь дворянчику, «шелкоперу». Думаешь, Ваня Лаврушкин забыл, как его Ипполит Мышкин облагодетельствовал? Ваня все хорошее помнит. Рассуди: какая от меня польза, ежели в тюрьму за тобой загремлю? Кто я? Так, человечешко без идей и принципов. А когда я в должности, от меня прямая выгода. Ведь пригожусь тебе, Ипполит, еще как пригожусь.

— Тебя обо мне спрашивали?

— Его превосходительство полковник вызывали. Но Ваня не дурак, все как надо рассказал: связей с ним, то есть с тобой, не поддерживал, о злодейских замыслах не догадывался, и вообще этот человек, то есть ты, всегда казался мне подозрительным. Однажды предложил замещать его в суде, так кто ж послушать государю и отечеству откажется?

— И что полковник?

— А полковник изволили сказать: молодец. А я сказал: рад стараться, ваше превосходительство. А полковник сказал: если увидишь его, Лаврушкин, на улице... А я сообразил, тут же поклялся: дескать, своими руками отволоку в полицию.

— Сметлив ты, Лаврушка.

— А как же иначе, жить-то надо. Теперь я у господина полковника свой человек. И тебе польза: если смогу, предупрежу, если что надо, сделаю. Но только так, молчком и не рискуя. Сам понимаешь: я тебе ничего не говорил, ты ничего не слышал. В петлю мне

лезть не резон. Тем более невеста на примете, тысяча приданого, дом. Дом небольшой, но каменный. Ежели в него въеду, ты первый за товарища обрадуешься. Вспомнишь небось, как порол Лаврушкина поручик Бутяков, драл с нас, стервец, три шкуры, а нынче Лаврушкин при должности, того гляди, домовладельцем станет. Помогать надо друг другу. Резон? Резон.

— Слушай, Лаврушка, надо узнать, в каком участке содержится Супинская Ефрузия Викентьевна. Узнать, передать ей деньги и записку, что я жив, на свободе и уезжаю.

— Супинская? Не та ли смазливая бабенка, которая с тобой всегда...

— Ваня!

— Не хватай меня, Полкаша, и не рычи! Ой-ой, задушил совсем! Ну и лапы, как у медведя. Я же ничего не говорил, дело ваше молодое... Нет, не проси меня, Полкаша, не могу! Какой мне резон самому в петлю лезть? Сразу догадаются, для кого я хлопочу.

— Сволочь ты, Лаврушка! — сказал Мышкин и встал.

— Посиди, Полкаша, кваску отпей. Ежели бы мне твою споровку, ничего бы не боялся. Другое место запросто бы нашел. Стенограф Мышкин — талант известный, а кто Лаврушкин? Мне б за должность зубами удержаться. Но ты садись, закусывай. Лаврушкин хитрый, что-нибудь придумает. И куда спешить? Я хоть ничего не знаю, но краем уха слышал: твою барышню не скоро выпустят, дознание только начинается. Я, конечно, так, невзначай, мимоходом все пытаю. У Марфы есть свояченица, вот ее и упрощу, пошлю в участок как родственницу Супинской. Передаст она деньги, будь спокоен. Сколько?

Мышкин выложил сто рублей. Ассигнации исчезли, растворились в руках Лаврушкина.

— Ипполит, чтоб все было по-честному, предупреждаю: барышня получит девяносто. Десять рублей — свояченице за труды. Не подмажешь — не поедешь. И то хорошо, рассуди: лучше девяносто, чем ничего. Кстати, от кого привет барышне? Ведь имя твое не назовешь?

— Пускай свояченица скажет, что привет от Пудика, — смущенно пробормотал Мышкин.

Судорожно всхлипывая, Ваня сполз со стула, и некоторое время из-за стола доносилось:

— Это ты Пудик? Ой, уморил!

Отдышавшись, Лаврушкин снова влез на стул, глянул на стенные часы, отклеил, словно в карман спрятал, радушную улыбку.

— Ладно, Ипполит Никитич, мы с тобой договорились. Не задерживаю. Скоро Марфа воротится. — Ваня говорил тоном чиновника, заканчивающего прием в канцелярии. — Не скрою, одно мне странно: ну чего тебе, друг ситный, не хватало? И должность имел, и положение, и коммерцию. Зачем супротив властей полез? Не одобряю. Такую карьеру загубил! Истинно говорят: что имеем, не храним, потерявши — плачем. — И вдруг лицо Лаврушкина опять преобразилось, улыбочки по краям губ забегали, в глазах хитрые искры запрыгали, и залепетал Ваня скороговоркой, почтительно, как раньше, как всегда бывало между ними: — Но ты же не прост, Полкаша, умен, бестия! Значит, все наперед рассчитал? Умный человек за здорово живешь рисковать не будет. Нет, Полкаша, ни о чем тебя не спрашиваю и не выведываю, но когда ваши люди победят, власть займут и ты большим человеком станешь, вспомни о Лаврушкине. В трудный момент Лаврушкин не отвернулся, не продал, посильную помощь оказал. Вспомнишь, Полкаша, вспомнишь?

Через три года он увидел Лаврушкина на «процессе 193-х». Места для публики, расположенные амфитеатром, были заняты подсудимыми. С верхней скамьи Мышкин наблюдал, как располневший, солидный правительственный чиновник Лаврушкин прилежно вел стенограмму. Не отрывал Лаврушкин глаз от бумаги, ни разу не взглянул на Мышкина.

\* \* \*

\*

Сначала длинноногие сосны неторопливо вышагивали в гордом одиночестве, не замечая редких кустиков и чахлых маленьких деревьев, путавшихся под ногами. Но вот лес загустел, темные ели шли плотными цепями, поддерживая друг друга мохнатыми лапами; между ними, толкаясь, спешили протиснуться осины и березы; за каждым дубом, как в кильватере большого корабля, пристроились кусты орешника. Наконец, все смешалось: деревья, малые и большие, разномастной толпой бежали на запад, перепрыгивая через узловатые корни и старые пни; молодая сосна, споткнувшись, падая, уцепилась за высокую ель, и та, словно солдат на поле боя, волочила товарища на своей спине. Сбившись в кучу, топча упавших, деревья, задохнувшись, устав от стремительного бега, приготовились к последнему, решающему прыжку — и замерли, остановились, испуганно взметнув в небо зеленые руки, будто перед ними разверзлась пропасть.

Не пропасть — узкая просека, окаймленная небольшим рвом, как стена, преграждала им путь. То была государственная граница Российской империи.

За просекой начиналась спокойная роща, где на зеленом подстриженном лугу паслись пузатые, откормленные дубы и немецкие, аккуратно причесанные липы. Ни суетни, ни толкотни, тишина, порядок...

Мышкин посмотрел по сторонам. Никого. Он протянул три рубля проводнику, попрощался, перешагнул патрульную тропу, перескочил ров и... очутился в Германии.

Как просто!

И можно распрямить плечи, вздохнуть свободно, и не надо прислушиваться к любому шороху, и не надо опасно всматриваться в заросли, ожидая увидеть там притаившихся жандармов... «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...»

### ЗАПОМНИЛОСЬ:

чистенькие каменные домики немецких деревень, вылизанные, блестящие перроны вокзалов, чинные дамы и поспода в купе вагона (пассажиры разворачивают сверточки, закусывают бутербродами с тонко нарезанной колбасой, вытирают губы платочком, бумагу и остатки пищи бросают не в окно, а несут к специальной урне в конце вагона);

голубое Женевское озеро, зеленые, с бело-снежной пеной, бурные волны Роны (праздничные, выбеленные кварталы Женевы, словно нарисованные акварелью на темном склоне гор, над которыми сверкает ледяная шапка Монблана); уютная комнатка «Северного» отеля; услужливый гарсон по утрам подает кофе и булочки прямо в постель, маленькая зала кафе Грессо, где на столе всегда красовался бочонок с красным вином и никогда не смолкала русская речь;

и солнце, солнце, солнце, ни одного пасмурного дня. Господи, неужели все это было?..

Серая водяная мгла с Ладогои переваливала через стены крепости, оседая крупными каплями на черном деревянном заборе дворика. Мутные серые облака нависли так низко, что, казалось, наблюдатель Соколов, стоящий на вышке, упирается кашпоном своей шпнели прямо в облака.

Мышкин ходил по треугольному дворiku от стены к стене. Его знобило, бушлат отсырел. Теперь будешь дрожать полдня в камере. И все-таки нельзя отказываться от прогулки. Надо дышать свежим воздухом. Хотя какая это прогулка? Та же тюрьма, черные стены, серый, сумрачный потолок — камера, чуть просторнее и холоднее. Скоро ноябрь, повалит снег, ударят морозы, и, может, тогда повезет: увидишь солнце. А бывает ли ясное небо над Шлиссельбургом? Богом проклятое место, дожди и туманы. Однако когда-нибудь солнце пробьется. Шестнадцать лет — время долгое, все может случиться.

Он взял деревянную лопатку, лежащую у забора, и стал ею чертить на мокром песке. Однообразные узоры. Треугольник, квадраты. Квадраты он подчеркивал горизонтальными и вертикальными полосами. Решетка. Надо бы нарисовать яйца с длинными ушами, все-таки живое существо.

Повинуясь невидимому для Мышкина знаку наблюдателя, унтера распахнули калитку. Кончена прогулка. Мышкин отложил лопатку, вышел из дворика и зашагал по плиточной дорожке к двухэтажному зданию.

Кирпичная, когда-то красная стена тюрьмы, истлестанная дождями, потеряла свой первоначальный цвет, стала бурой, грязной.

И почему-то вспомнился день, когда он возвращался в Россию. На всем пути от Швейцарии до русской границы багряными узорами цвела золотая

осень. Но как только он пересек границу, начались дожди. За окнами вагона мелькали голые деревья, раскисшие желтые дороги с застрявшими в грязи повозками. Петербург встретил пронизывающим ветром, слякотью, пьяной матерщиной извозчиков у вокзала...

\* \*  
\*

Первый же вечер, который он провел в Женеве, в «русском» зале кафе Грессо, очень напомнил Мышкину Россию до 1874 года: споры, словесные баталии между сторонниками Лаврова и Бакунина — все то же, что было и в Москве.

Лавровцы и бакунисты сидели корпоративно, каждая фракция за отдельным столиком.

— Видимо, нелегко поднять каждую деревню, — иронически сокрушался Лазарь Гольденберг, секретарь и издатель лавровского журнала «Вперед». — Пока нет сведений, что взбунтовалось хотя бы одно село. Уважаемый Михаил Александрович Бакунин утверждал, что Россия подобна пороховой бочке: кинь спичку — взорвется. Не читали, что пишут в газетах о погоде? Наверно, дождливое выдалось лето, порох отсырел.

— Зато вы будете усердствовать на ниве просвещения до второго пришествия Спасителя, — отвечал с другого столика Дебагорий-Мокриевич. — Наладили массовый выпуск брошюр на санитарно-гигиенические темы: мойте руки перед едой, чистите зубы. Верно, мужика надо приобщать к культуре. В конце концов правительство наградит Петра Лавровича Андреевской лентой. Августейшему государю приятно видеть своих подданных умытыми и причесанными...

Но появлялась с подносом мадам Грессо, расставляла дымящиеся тарелки, мило улыбалась и уходила,



покачивая бедрами; лавристы и бакунисты замолкали, провожая хозяйку долгими взглядами. Обмен любезностями возобновлялся, когда отодвигались пустые тарелки.

И в Москве Мышкина раздражали эти состязания в остроумии, но там все диспуты имели другую окраску, ибо в любой момент в дверях мог появиться жандармский офицер с командой городских.

После обеда произошло нечто вроде перемирия, столики сдвинулись. Курили и рассуждали о расколе Интернационала.

— Господин Овчинников,— спросили Мышкина,— что нового в России?

— Мне пришлось долго скрываться,— ответил Мышкин, который согласно своему новому паспорту представился эмигрантам как Овчинников.— У меня нет сведений.

— Вы не знаете про арест Войнаральского? — удивился Гольденберг.

Мышкин закусил губы. Жалко Порфирия Иваповича. И притом он надеялся, что именно Войнаральский выручит девушек. Значит, действительно полный разгром.

— После провала типографии Мышкина,— сказал Жуковский,— это самая большая наша неудача. Но мы верим, что появятся десятки новых типографий.

И разговор пошел уже об Интернационале: Бакунин против Маркса, Маркс против Прудона, французские социалисты осуждают русский анархизм, английские рабочие требуют шестидневной рабочей недели и т. д.

Мышкин слушал и с горечью размышлял о том, что для собравшихся в кафе английские рабочие и русские революционеры — абстрактные люди, действия которых подтверждают или опровергают теорию.

Кто-то даже сказал, что, в конце концов, движение «в народ» имело свой положительный результат: «Мы убедились — крестьянская масса консервативна, у крестьян отсутствует революционная сознательность, рухнула великая иллюзия, и в этом тоже шаг вперед». Шаг вперед! Мышкин почувствовал, что его губы задергались. Что ж, Женевский теоретик видит в неудачах семьдесят четвертого года известные достижения: разрушение великой иллюзии. Однако для Мышкина это «достижение» означает страдание близких ему людей. С точки зрения теории, конечно, похвально, что отработан и выброшен еще один вариант. Но люди, поверившие Мышкину, люди, за которых он отвечал: Ефрузия Супинская, Лариса Заруднева, Лиза Ермолаева, сестры Прушакевич, супруги Фетисовы — сейчас томятся в московских тюрьмах. Чем может Мышкин облегчить их судьбу? Написать им письмо, успокоить? Мол, благодаря вашей жертве «рухнула великая иллюзия»?..

Вероятно, Мышкину не удавалось скрыть свои мысли. Он заметил, что за ним пристально наблюдает человек, лицо которого показалось ему знакомым. Этот человек тоже морщился, когда за столом произносились пышные фразы. Встретив взгляд Мышкина, человек улыбнулся.

И Мышкин вспомнил фотографию, которую мельком видел в Москве. Это был Петр Ткачев, в свое время осужденный по процессу нечаевцев. Уехав в эмиграцию, Ткачев занялся журналистской деятельностью, Мышкин даже писал ему в Женеву, консультируясь по поводу одной рукописи. Через час, когда все вышли на улицу, Ткачев заговорил с Мышкиным как со старым знакомым. Мышкин сразу почувствовал, что Ткачев понимает его настроение, и проникся доверием к новому товарищу.

\* \*

\*

В «русский» зал кафе Грессо часто приходили итальянские, французские, немецкие социалисты. Слушая того или иного оратора (Ткачев обычно сиделся рядом и, чуть склонив голову набок, легко переводил с французского или немецкого), Мышкин, с одной стороны, восхищался умением выступавших связывать новейшие факты экономики с древней историей, он отдавал должное глубине и точности сравнений, но, с другой стороны, его раздражала та свобода и небрежность, с которой некоторые ораторы ниспровергали авторитеты. «...Прудон — анархист, Лассаль — экономист, Герцен устарел, Лавров слишком осторожен, а Бакунин, наоборот, нетерпелив; Маркс хорош, но только для Запада: в России марксизму не хватает самой малости — пролетариата, которому нечего терять». «А вы сами кто?! — хотелось крикнуть Мышкину. — Какая ваша программа?» Правда, когда упоминалось имя Чернышевского, Мышкин весь обращался в слух. О Чернышевском все в кафе говорили почтительно: «Чернышевский — теоретик, он лучше всех понимает проблемы русской революции. Чернышевский — превосходный организатор; он бы сумел примирить и лавровцев и бакунистов. Чернышевский всегда ставил практические задачи, а именно это сейчас крайне необходимо...» Эрудиты цитировали статьи Чернышевского, вспоминали «Что делать?», потом грустно вздыхали; Лазарь Гольденберг любил повторять: «Царское правительство, послав Чернышевского на каторгу, обезглавило революцию».

«Но почему о Чернышевском говорят как о покойнике? — думал Мышкин. — Конечно, Виллюк на краю света, однако, раз Николай Гаврилович жив, нет ничего невозможного...»



Беседы с Ткачевым затягивались до полуночи...

— Ни в настоящем, ни в будущем, — говорил Ткачев, — народ, сам себе предоставленный, не в силах осуществить социальную революцию. Революцию делает меньшинство, и нелепо ждать, пока большинство народа осознает ее необходимость. Наша цель — овладеть правительственной властью и превратить данное консервативное государство в государство революционное. Революция осуществляется революционным государством, которое, с одной стороны, борется и уничтожает консервативные и реакционные элементы общества, упраздняет все учреждения, которые препятствуют установлению равенства и братства; с другой — вводит в жизнь учреждения, благоприятствующие их развитию.

Мышкин пересказал Ткачеву свой давнишний спор с Коваликом и Кравчинским. Тогда, помнится, товарищи убедили Мышкина, что требование политической программы несвоевременно.

— Наоборот, — возразил Ткачев. — Пока революционер не уяснит себе хотя бы в самых общих чертах, как и чем следует заменить существующий ненормальный строй общественных отношений, пока в его голове не сложится хоть какого-нибудь идеала «лучшего будущего», до тех пор от его деятельности нельзя ждать никаких особенно полезных результатов, в ней не будет ни устойчивости, ни последовательности, ни целесообразности.

— Петр Никитич, — спрашивал Мышкин, — значит, горстка революционеров должна совершить переворот? Интеллигенция против гвардейских полков, жандармов и полиции?

— В решительную минуту революционного взрыва с нами и под нашими знаменами будут все честные и мыслящие, все лучшие люди России. Тысяча энергичных революционеров — и революция сделана.

Мышкин качал головой.

— Допустим, что это чудо случится, — все бывает — и тогда к чему мы придем? Меньшинство будет диктовать свою волю большинству нации? Где же демократия?

— Меньшинство даст народу землю, волю, работу. Даст самоуправление, это и будет демократия.

— Мужики получают землю, удачливые будут богаче, неудачники — разорятся, и постепенно общество разделится на богатых и обездоленных?

— А мы не станем делить землю, мы отберем ее у помещиков и передадим общинам, организуя коммуны.

— А откуда вашему интеллигентному, образованному меньшинству известно, что мужик хочет работать в коммуне? — взрывался Мышкин. — Может, он хочет просто иметь кусок своей земли?

— Специфика России, — отвечал Ткачев, — ее отличие от Запада: испокон веков у нас было общинное земледелие. Русский крестьянин самой природой создан для коммунного образа жизни.

С этим Мышкин соглашался. И вообще, что-то рациональное было в словах Ткачева. Однако сама идея заговора, захват власти не через народ, а минуя народ...

— Диктатура меньшинства! — не унимался Мышкин. — А не узурпаторство ли это?

— Ах, Мышкин, — качал головой Ткачев, — законник и демократ! Вам бы в буржуазном парламенте заседать. Но вспомните французскую революцию. Только якобинцы, партия малочисленная, но хорошо орга-

низованная, исполнили все требования народа. Недаром Робеспьер провозгласил лозунг: меньшинство всегда право. Я могу найти место в его речах.

— Может быть. Но объясните мне, какие именно требования народа удовлетворил Робеспьер? Он обещал хлеб, а в стране царил голод. Он обещал мир, а во Франции разразилась гражданская война. Он обещал свободу личности, а всех инакомыслящих казнили на гильотине. Вы скажете: он дал крестьянам землю. Справедливо, но все продукты крестьянского труда потом реквизировали военные отряды.

— Во-первых, то были условия военного времени. Во-вторых, довести реформы до конца Робеспьеру помешал термидор.

— Правильно, а почему был возможен термидор? Почему победила реакция? Да потому, что вы сами говорили: якобинцы опирались на меньшинство. Видимо, не так просто революционным интеллигентам решать, не спросив народа, его судьбу.

— Извините, Ипполит, но вы не разбираетесь во французской истории, там все сложнее и противоречивее. К тому же у Робеспьера было много ошибок.

— А я о чем толкую? Я требую сначала ясной программы. Иначе мы вместо революции устроим кровавую резню, а потом будем вздыхать и сетовать: дескать, ошиблись, братцы, наломали дров.

— Тогда, Ипполит, вы противоречите самому себе: по-вашему, получается, что революционеры должны советоваться с народом; с народом можно советоваться, когда он дорос до революции, когда он сам ее захочет; пока что народ надо воспитывать и просвещать в определенном духе. То есть получается все по Лаврову. Но ведь вы против тактики выжидания?

Да, опять заколдованный круг. Начинай спор сначала...

Ткачев хотел основать новый эмигрантский журнал «Набат». Он предложил Мышкину оставаться в Женеве.

Мышкин отказался:

— Я уехал за границу, чтобы облегчить участь арестованных товарищей. Войнаральский должен был пайти способ связаться с ними и передать следующее: все валить на меня, мы, мол, люди подневольные, и печатать «нелегалыщину» нас заставлял хозляин.

— Вот и прекрасно. Зачем же вам спешить в лапы к жандармам? — недоумевал Ткачев.

— У меня там дела, — твердил Мышкин. — Мое место в России.

— Можно подумать, что я вам предлагаю открыть игорный дом, — уговаривал его Ткачев. — Наш «Набат» заменит «Колокол». Только здесь существует реальная возможность действовать. Тут мы имеем полную информацию, которой лишены в России. Отсюда мы можем организовывать, направлять деятельность пропагандистских кружков, печатать, рассылать литературу. Да, сейчас русская революционная мысль на распутье. Мы найдем, нащупаем верную дорогу. Это дело одного или двух лет... В Москве и Петербурге — провал за провалом, всюду аресты. Надетесь, что лично вам повезет?

— Что ж, я разделю судьбу своих товарищей.

— Намерение благородное. Разорим казну еще на один арестантский харч, — качал головой Ткачев. — В эмиграции вы принесете в сто раз больше пользы, Вы опытный издатель и типограф. Ваш авторитет укрепил бы позиции моего журнала.

Остаться в Женеве и пропагандировать идеи Ткачева? Однако Мышкин совсем не уверен в их правоте.

В данное время, думал Мышкин, Чернышевский очень многое может сделать, и только он, никто больше, потому что его знает вся Россия, а нас она не знает.

#### ОТ АВТОРА:

Автор опять вынужден прервать воспоминания своего героя.

Читателю, наверно, странным показалось то обстоятельство, что Мышкин «не принял» эмиграцию. По логике вещей все должно было быть наоборот: ведь в Женеве он встретился со своими друзьями — единомышленниками, соратниками по революционной борьбе. У него появилась прекрасная возможность продолжать общее дело рука об руку с товарищами. Однако факты говорят о другом: не понравилось Мышкину в Женеве, ни с кем он близко не сошелся и ни к какому кружку не примкнул.

Может, у Мышкина были веские причины для того, чтобы иронически относиться к эмиграции? Да ничего подобного. Русская эмиграция являлась не только центром революционной теории, но и издательским, организационным центром народников. И не так вольготно было жить в Женеве: русские революционеры перебивались случайными заработками, испытывали материальные лишения. Более того, у русской революционной эмиграции было большое будущее: именно в Женеве через девять лет была создана группа «Освобождение труда».

Неужели Мышкин не увидел очевидного? И не лучше ли автору, не компрометируя своего



героя, осторожно обойти этот период? Мол, не все понимал Мышкин, ошибался, с кем не бывает? Но как тогда все это связать с ленинской характеристикой Мышкина? А Ленин утверждал, что Мышкину «доступны политические задачи в самом действительном, в самом практическом смысле этого слова...».

Попробуем разобраться в поведении Мышкина. Конечно, Ипполит Никитич мог найти для себя и в Женеве обширное поле деятельности. И доводы Ткачева, когда тот уговаривал Мышкина остаться, вполне разумны. Но позвольте автору высказать свое субъективное мнение: а не заставлял ли себя Мышкин сознательно видеть эмиграцию в искаженном свете (благополучие, пустые разговоры) именно потому, что боялся поддаться разумным доводам Ткачева? Как там ни говори, но при всех тяготах эмиграции жизнь в России была опаснее. Мышкин, человек высокой нравственной ответственности, постоянно напоминал себе, что, дескать, здесь он красотами Монблана любителю, а работники его типографии смотрят на московское небо сквозь тюремную решетку...

Да, Женевы была теоретическим центром народников. Естественно, в эмиграции анализировали провал движения «в народ», но объясняли это недооценкой «летучей» пропаганды, отсутствием революционной организации, строгостью полицейских репрессий. То есть бакунисты и лавровцы по-прежнему верили в правоту своих учителей. А Мышкину и его товарищам в России на практике пришлось убедиться в наивности представления о коммунистических инстинктах мужика» (В. И. Ленин). Вероятно,

Мышкин мучительно размышлял, существуют ли другие пути для русской революции. Недаром он внимательно прислушивался к Ткачеву. Но Ткачев с его теорией «заговора для народа минуя народ» совсем не уговорил Мышкина. Напоминаю, что значительный шаг вперед (создание Плехановым группы «Освобождение труда») был сделан лишь через девять лет.

Итак, Мышкин убедился, что в русской эмиграции нет настоящего вождя, нет деятеля, хотя бы отдаленно приближающегося по значимости к Н. Г. Чернышевскому. Можно предположить, что до Мышкина дошли слова Карла Маркса о том, что «политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы». Осознав, что в «данное время Чернышевский очень многое может сделать, только он, и никто больше», Мышкин, революционер практического склада, ставит своей целью освободить Чернышевского из ссылки. Наверно, более актуальной политической задачи в практическом смысле этого слова для русской революции в то время не было.

Остается добавить: Мышкин не афишировал свой план, и на это, как покажет будущее, у него были достаточные основания...

## 8

Стены закрашены черной краской почти доверху. Оставшаяся белая узкая полоска сливается с потолком, и поэтому камера кажется ниже. Каждый раз, возвращаясь с прогулки, с тре-

вогой думаешь: а вдруг в твое отсутствие замазали черным и эти полоски?

Как ни прикручивай фитиль, все равно не уследишь. И вот уже над лампой появились разводы копоти. День за днем темное пятно постепенно расплзается по всему потолку. Когда исчезнут последние светлые полоски, закроется крышка. Потолок нависнет могильной плитой (захлопнется мышеловка!), — нет, Ипполит Никитич, не прожить тебе шестнадцать лет, не выйти отсюда.

Который теперь час? Который теперь день? Мутный, слабый свет в окне давно погас, — значит, скоро ужин. А может, уже ночь? Этим мерзавцам ничего не стоит перекроить сутки: днем заставят спать, вечером разбудят, ранним утром принесут обед — и не поймешь, не догадаешься. Над проклятым Шлиессельбургом нет неба, серые тяжелые тучи придавили остров.

Темное пятно копоти затянет потолок, грязное матовое стекло не пробьет фиолетовый сумрак дня (а может, окно снаружи завесят мешковиной!), время остановится, замрет, и тогда в полночь, в полдень, в любой час этой глухой зимы скрипнет еле слышно дверь камеры (заранее смазали петли жиром), лопнет с жестким выстрелом лампа, взметнется слабый фитилек, захлебнется порывом ветра, и в кромешной тьме войдут они. Придавят, навалятся, задушат. Не отобьешься, их много, возьмут врасплох. Не кликнешь на помощь: кого звать, когда тюрьма молчит? Есть ли кто-нибудь живой в других камерах? Вдруг их тоже передушили втихую?

Раньше думал: человеку плохо в одиночном заключении потому, что скучно, тоскливо, не с кем поговорить... Ко всему можно привыкнуть, однако ужас

в другом: в одиночке страшно, чувствуешь полную беззащитность. Хоть бы железная палка была под рукой!..

Слабеешь, Мышкин, ужасы мерещатся. Они по посмеют, у них инструкция. Запрещено. Кем запрещено? Кто узнает? Дадут команду — и все. Нельзя предаваться панике, нельзя распускаться. И потом, внизу есть Попов. В случае чего ему дашь сигнал. Кстати, надо постучать. Михал Родионыч, жив ли ты?

А если там не Попов, унтера подсадили, «азбуке» научили? И он тайны твои выведывает, момент выбирает, первым в твою камеру ворвется?..

Жив Михал Родионыч, стучит.

Наблюдают за тобой, Мышкин, наблюдают и ухмыляются. Может, это началось, когда ты в Россию вернулся? За каждым шагом твоим следили, — пусть порезвится Мышкин, далеко не уйдет, сам прибежит в Вилюйский острог. А в Вилюйском остроге к встрече готовились, комедию разыгрывали. И чего им волноваться: ведь Чернышевского в Вилюйске не было. Не было, и все. Давно придушили, захоронили, а сотника Жиркова «подсадной уткой» оставили: подождем, кто-нибудь еще явится, тут мы его и схватим.

Стучит Попов:

«Получил Кукольника, нашел твою записку, остальные страницы чистые».

Экая незадача! Никто из товарищей книгу не требовал, не догадался. Что ж, торопиться некуда, времени много... И главное, держи себя в руках, не сходи с ума. Арончик помешался потому, что всех стал подозревать в измене. Нет, конечно, это Попов, кто же еще. Надо вести себя спокойно и разумно.

Когда говорят «будь что будет», еще на что-то надеются. Ты затеял игру без единого козыря, рассчитывал на везение, на чудесный расклад (а вдруг шулера колоду тасовали, да карты краплены. Не было в Вилуйске Чернышевского?). Вздор, ерунда, был там Николай Гаврилович, потому так и сторожили, так и всполошились. Твоя совесть, Ипполит, чиста, ты сделал все, что мог. Значит, смело смотри в глаза судьбе, а смерть придет — и ее встретим достойно. Не дадим тюремщикам повода для ликования. Мы живы, боремся, нас не сломать! (Эх, если б там, в Вилуйске, хоть одним словом с Николаем Гавриловичем перекинуться! Узнал ли он, что к нему на выручку приезжали?)

«Число какое, Михал Родионыч?»

«Пятнадцатое ноября. Черточки делай на степе, коль счет дням потерял».

Хоть голоса не слышно, а понять можно: сердится Попов. Конечно, Попов, кто же еще? Развеселим товарища, расскажем ему историю, как жандармский поручик Мещеринов (он же Титов, он же Мышкин) вилуйский острог «инспектировал».

«В Сибири сейчас морозы свирепствуют, реки льдом сковало. Но мне подфартило, успел к весне семьдесят пятого года до Иркутска добраться. А добирался тоже с приключениями».

В Питере он никого из знакомых не встретил. Получил на явке по условному паролю новый паспорт и сразу же уехал в Москву. День он провел в меблированных комнатах у вокзала, а вечером пришел на домашнюю квартиру к Вильде.

Увидев на пороге Мышкина, Эдуард Александрович без долгих разговоров выложил двести рублей. Хотя денежные расчеты между бывшими компаньонами были давно закончены, Вильде с запальчивостью утверждал, будто задолжал господину Мышкину эту сумму и, дескать, «господин Мышкин просто замятоваль».

Растроганному Мышкину ничего не оставалось, как поблагодарить старика. Ведь кошелек Мышкина был пуст, а Вильде сообщил, что типографию на Арбате прибрал к своим рукам владелец дома Орлов.

Вильде предлагал переночевать у него, но Мышкин опасался скомпрометировать старика и поспешил откланяться. Напоследок Эдуард Александрович сказал, что ему очень жалко «хороший русский господин и польский барышень, который все в тюрьме Петербурга».

Вот так, Ипполит Никитич! Супинская в Питере. Не пришлось свидеться.

Поездом добрался до Владимира. На перекладных — до Нижнего. В Нижнем прямо на пристани он купил билет второго класса до Перми, и через несколько часов пароход «Купец», хлопая по воде огромным «лапотным» колесом, увозил Мышкина вниз по Волге.

Мышкин бродил по палубам, прислушивался, приглаживался. В первом и втором классе ехали в основном купцы. Заприметил он и несколько чиновничьих мундиров. На нижней палубе, между канатами и ящиками, подложив под головы котомки и мешки, лежал вповалку простой люд.

Наверху вспоминали нижегородскую ярмарку. Чиновники держались особняком, рассуждали преимущественно о вакансиях и о ценах на стерлядь.

На нижней палубе матерились, ругались из-за «теплых мест» около машинного отделения, угощали друг друга арбузами... Плакали дети, цыганка приставала с картами, молодой рыжий крестьянский парень играл на балалайке.

Впрочем, и верхнюю и нижнюю палубу объединяло одно: и тут и там пили водку.

Хоть бы кто-нибудь читал книжку или газету!

По вечерам наверху играла музыка. Скрипач-еврей и два флейтиста ублажали подвыпивших купцов. Снизу доносилось безобразное пьяное пение.

Прошли Казань. Желтая, мутная волжская вода сменилась серой прозрачной волной Камы. «Купец», загребая «лаптями», медленно полз против течения. На обрывистых берегах рос густой ельник. Вдали просматривались синие горы.

Часами Мышкин простаивал на палубе, облокотившись на поручни... Он думал о том, что этот пароход представляет собой как бы всю Россию, только в миниатюре: разделение на классы, пьянство, невежество... Понимает ли бедный люд все убожество своего существования или считает, что так и должно быть? С каким восторгом, с каким ликованием приветствовало русское либеральное общество так называемые великие реформы нынешнего царствования! И что же в результате? Народ доведен до отчаяния бедственным положением, до небывалых хронических голодовок... Крестьянин, освобожденный от помещика, стал лицом к лицу с представителями губернской власти... Неужели он не увидел, что ему нечего надеяться на эту власть, нечего ждать от нее? Веря в царскую правду, ища в ней опору против своих врагов, народ жестоко обманывался... «Прославленная» реформа свелась к одному — к переводу более двадцати миллионов крестьянского населения из разряда поме-

щичьих холопов в разряд государственных или, вернее, чиновничьих рабов...

Увлечшись, Мышкин начинал мысленно произносить целую речь, а потом с усмешкой прерывал сам себя... Действительно, что толку витийствовать втихомолку? Конечно, надо донести эти простые истины до каждого мужика, но каким образом? Спуститься на нижнюю палубу и громогласно агитировать? Испуганные пассажиры сдадут его полиции на первой же пристани. Вот если бы была возможность обратиться ко всей России, чтоб тебя все услышали!.. Ну право, смешно, кто же тебе предоставит такую высокую трибуну? И типографии уже нет, так что даже прокламации не отпечатаешь...

Ладно, нечего попусту тешиться мечтами. И не забывай, что ты инкогнито. И миссия у тебя ответственная и нелегкая.

Итак, Ипполит Никитич, тебе надо самому определить свое положение. Кто ты: чиновник, купец, отставной военный? Скажем так: топограф-землемер, едущий на службу в Иркутск. Держись скромно, не вступай в разговоры, не вызывай подозрений.

— Титов Михаил, топограф-землемер, еду по вызову Иркутской губернской управы — так он отрекомендовался своему соседу по каюте. Сосед, пожилой телеграфист, служивший в Екатеринбурге, завистливо вздохнул:

— Землемер, должность хлебная.

Неожиданное происшествие чуть не спутало все его планы. В Сарапуле рыбаки принесли рыбу прямо на пароход. Старик крестьянин торговался с ушлым малым из-за огромного осетра. Сошлись на двугривен-



ном. Старик отдал деньги, но тут появился толсто-пузый купчина с верхней палубы.

— Знатный рыбец! — сказал он, взглянув на осетра, и обратился к рыбаку: — Отдашь за полтинник?

— Уважим, ваше степенство, — быстро сориентировался малый и потянул рыбу у старика. Старик заупрямился, вцепился в покупку:

— Цена заплачена! Робята, гляньте, православных обижают!

Рыбак обругал старика, крестьянин тоже ответил бранью. Рыбак пытался ухватить рыбу, старик изворачивался. Купцу это дело наскучило, и он, недолго думая, двинул крестьянина в ухо. Старик упал и завопил истошным голосом:

— Помогите, робята, грабют, убивают!

Сбежался народ. Купчина сообразил, что могут быть неприятности, сунул незаметно рыбаку рублевую бумажку и закричал, обращаясь к толпе:

— Глянь, честной люд! Этот висельник осетра украл! Бог тому свидетель, а вот живой человек подтвердит.

Купец указывал на ушлого малого, и тот повторял:

— Истинный крест, украл среди бела дня!

Старика схватили, поволокли на верхнюю палубу. Появился капитан. Пассажирский помощник послал на пристань за урядником. «Правый суд» вершился тут же, на палубе. «Нижний» народ наверх не пустили, а «классная» публика, естественно, приняла сторону купца.

Старый крестьянин стоял на коленях, окруженный толпой разъяренных купцов, одной рукой он потирал окровавленное ухо, другой придерживал злополучного осетра. Старик плакал и причитал, что это оговор, что нет правды и бедный человек всегда виноват.

Сквозь толпу протиснулся усатый урядник. Купец поклонился полицейскому чину и рассказал, как у него среди бела дня голодранец украл «знатного рыбака». Единственный свидетель — плутоватый малый — охотно подтвердил слова купца. Старика даже слушать не захотели.

— В острог его, каторжника! — раздались голоса.

...Мышкин наблюдал всю эту сцену с самого начала. Когда еще внизу купец ударил старика, он было решил вмешаться, но сдержался, понимая, что не имеет права вмешиваться в скандал. Потянут в участок, будут выяснять, кто да что. Нельзя рисковать. Но тут на его глазах погибал человек: укут старика в тюрьму, это точно. Мышкин сделал шаг вперед и сухим, начальственным голосом (бессознательно подражая тону московского обер-полицмейстера) заговорил:

— Обращаю внимание властей на удивительнейшее безобразие: купец, вступив в преступный сговор с этим мошенником, пытался отнять у крестьянина товар, за который деньги были уплачены. Между тем законы Российской империи гарантируют каждому верноподданному равные права.— Сколько степограмм было расшифровано у обер-полицмейстера! Пригодился чиновный слог.— Я молча следил за ходом расследования, ожидая, что ответственные лица поступят так, как им подсказывает служебный долг.

Пассажирский помощник зашептал что-то капитану, капитан склонился к уряднику, урядник послушал, грозно сверкнул очами и загремел, обращаясь к купцу:

— Каналья! Государевы законы вздумал нарушать!

— Виноват, ваше-ство, спьяну показалось,— забормотал перепуганный купчина.— Мы енто дело без скандалу, враз уладим.

Толпа возмущенно загудела. Купец припал к стоявшему на коленях крестьянину, обнял его и правильно сунул за пазуху старику «красненькую».

— Премного благодарен, ваше степенство,— залепетал крестьянин,— мы на вас зла не имеем.

— Видите, ваше-ство, никаких претензий! — обрадовался купчина.

— То-то,— пробасил урядник, поискал мгновенно исчезнувшего рыбака, отдал честь Мышкину и пошел вниз по трапу. Купец бросился следом.

Потом, встречая Мышкина на палубе, крестьянин низко кланялся и называл благодетелем. А капитан как-то мимоходом осведомился, не беспокоит ли кто его благородие.

Тем же вечером, ложась спать, екатеринбургский телеграфист хитро прищурился и сказал вроде бы сам себе:

— Которые особняком держатся и водку не употребляют, известно, птица важная, на ревизию следуют.

И стал стягивать сапоги.

...От Перми до Екатеринбурга он доехал на «чугунке». «Классных» вагонов не было, он сел в общий, в котором возвращались рабочие с разных летних заработков. Ночью кондуктор стал проверять билеты, зуботычинами и матерщиной будя спящих.

— Мешки не положено. Курить не положено. Чего разлегся? Лежать не положено, не спальные места.

Все не положено. Впрочем, кондуктор сразу же оставлял в покое тех, кто совал ему какую-то мелочишку. Очевидно, это было «узаконенной» формой поборов. «Каждому жить надо, каждый ловчит!» — философски вздохнул сосед Мышкина и приготовил монету. Мышкину следовало бы тоже послушно приготовить свой гривенник, не дожидаясь зуботычины и окрика (благоразумие подсказывало не выделяться, не привлекать к себе внимания), но, встретив наглый взгляд кондуктора, он сузил глаза, выпрямился, начальственно рыкнул — и этого оказалось достаточно: кондуктор забормотал извинение, что ненароком потревожил их благородие, и исчез, растворился в тамбуре.

Следующий день до самого Екатеринбурга вагон приглушенно гудел. На Мышкина косились почтительно, но с опаской.

«Держится особняком и не пьет водку».

На грязных почтовых станциях, где за рваными обоями клопы с вожделением подстерегали очередную жертву, Мышкину отводили лучшие комнаты и предоставляли лошадей в первую очередь.

Колеса открытой кибитки увязали в чавкающих лужах, ямщик остервенело нахлестывал измученных лошадей, легкое заграничное пальто не спасало от сурового, пронизывающего ветра — бесконечна дорога до Тюмени!

И показала Тюмень — приземистая, деревянная, дома, заборы, ставни — глухая стена, улицы широко и нелепо разметались по жидкому болоту, город тонул в грязь. Мышкин почему-то подумал, что, опоздай он на неделю, увидел бы только торчащие крыши.

С Туры спустился последний груженный пароход с баржей. Мышкин договорился с капитаном, посе-

лился в пустой трехместной каюте. Пароход пошел вниз по Тоболу, потом по Иртышу, дойдя до Оби, повернул на восток и стал медленно выгребать против течения.

В Томске Мышкина «накрыли» первые морозы, и только через месяц по зимнему санному пути он добрался до широкой, мощной реки, бурные волны которой так и не сковали сибирские холода. Над крутящейся зеленой водой стелился пар, а на другом берегу виднелся монастырь, деревянные постройки и большой белый дом иркутского генерал-губернатора.

#### ЗАПОМНИЛОСЬ:

колесо шлепает, разбивая тусклое зеркало воды, за кормой остается вспаханная бугристая дорога, разрезающая реку надвое; низкие берега Оби, заросшие, как щетиной, серыми, чахлыми деревьями; пароход плутает меж пустынных островов, пароход ходит по кругу, время остановилось, жизнь остановилась; впрочем, была ли когда-нибудь жизнь на этих диких берегах? Полудремота, полузабытье; открываешь глаза — и тот же низкий берег, чахлые серые деревья. Прошел час, прошел день, пароход кружит меж пустынных островов, буруны идут за кормой, а была ли вообще когда-нибудь другая жизнь? Желтые листья на Тверском бульваре, запах типографской краски в доме Орлова, встревоженное лицо Фрузи Супинской, иронические разговоры в кафе Грессо — не приснилось ли все это? А может, все давно кончилось и Мышкин затерялся где-то по дороге в рай

или ад, по дороге на небо, благо, оно так низко, что кажется — пароход сейчас захлопает колесами по серым полотняным облакам, которые там, вдалеке, вот-вот сольются с тусклой водой Оби. И потом, как пробуждение, как возвращение к жизни, бешеная гонка в крытой кошеве, когда лежишь, вцепившись в стенки саней, тебя швыряет, подбрасывает, встряхивает душу, а кони стелются, мчатся, как по воздуху, и только снег из-под копыт, и яростный вой ветра, и разбойничий свист ямщика — и опять непонятно куда, зачем тебя уносит, а впрочем, это уже неважно, главное — чтоб тройка не останавливалась.

«На Каре говорили, — стучал Попов, — что тебе поляки помогли. То ли ты с ними на пароходе познакомился, когда по Иртышу плыл, то ли еще в Тюмени встретил какого-то Яна Казимировича в доме торговца, у которого жил несколько дней».

«Значит, моя история известна, зачем же я рассказываю?»

Рассердился Мышкин, встал со стула, заходил по камере, и опять заговорила стена:

«О твоём путешествии легенды слагались. Не смущайся, продолжай. Я с удовольствием слушаю. А спросил потому, что люблю точность». Мышкин снова сел к столику и, наблюдая за глазком, застучал:

«Насчет торговцев враки. И на пароходе я был единственным пассажиром. Но поляк мне помог, это верно».

В Тугульминской, ожидая лошадей в доме стационарного смотрителя, Мышкин случайно оказался свидетелем допроса, который местный исправник учинил «подозрительному» приезжему. Приезжий говорил с польским акцентом, что всегда вызывало недоверие властей. Поляк, естественно, был ссыльным, и, хоть документы имел исправные, нервничал, отвечал дерзко. Ретивый блюститель закона мог упрятать поляка в «кутузку» недели на две просто так. За фанерной перегородкой накалялись страсти: исправник басил и стучал кулаком по столу, на высоком фальцете срывался обиженный голос поляка. Затянувшаяся перебранка вывела Мышкина из равновесия. Его охватило непреодолимое желание еще раз испытать судьбу, он вошел в азарт (а может, решил отрететировать свою будущую роль жандармского офицера — ведь Чернышевского он должен увести «под конвоем»), — словом, Мышкин потребовал смотрителя и приказал оробевшему чиновнику «немедленно пригласить сюда господина исправника».

За перегородкой разом смолкли голоса. После некоторой паузы (в течение которой — Мышкин готов был поклясться — смотритель шептал что-то исправнику) загрохотали тяжелые сапоги. Когда грузная фигура исправника выросла в дверях, Мышкин почувствовал легкий озноб. Рискованная игра. Исправник «ощупывал» его настороженным взглядом хояина. Отступать было поздно.

— Прошу проходить, — сказал Мышкин негромким, «лающим» голосом. — И дверь закройте, стены слышат, — он указал на фанерную перегородку.

Исправник понял и несколько смутился; прикрыв дверь, он сел на скамью, продолжая буравить Мышкина глазами. Исправник воинственно сопел, но Мышкин опередил:

— К счастью, я оказался единственным свидетелем. А ежели кто другой, да сообщник, а? Полномочия превышаете.

— Политически неблагопадежны...— заревел было исправник, но Мышкин жестом прервал его:

— Гораздо опаснее. А вы, милостивый государь, спугнуть решили? Или больше нет доверия к нашему департаменту?

И сразу сник исправник, захлебнулся.

— Бдение ваше похвально,— выговаривал Мышкин.— Отметим. Но усердие излишнее. В Тюмень направляется полячишка?

Мышкин бил наверняка. Неплохо подчеркнуть свою осведомленность, тем более что поляк кричал о Тюмени достаточно громко.

Исправник поспешно кивнул головой.

— Так ведь я за ним следую. Нетрудно догадаться. Распорядитесь, чтоб нас определили в один вок. Буду весьма благодарен.

Потом, когда они вместе с господином Вишневским (так звали поляка) тряслись по тюменскому тракту, Мышкин повторил новому товарищу всю сцену «в лицах». Вишневский долго смеялся и на одной из станций снабдил Мышкина рекомендательными письмами к своим приятелям в Томске и Иркутске.

Мышкину повезло, в его руках оказалась «тонкая ниточка»: в Сибири ссыльные поляки крепко держались друг за друга и теперь он мог рассчитывать на их помощь. Эта «ниточка» привела Мышкина в дом Вацлава Рехневского, фортепьянного мастера, единственного на весь Иркутск настройщика.



Шорох поднимаемой щеколды. Смотритель делает полночный обход.

Мышкин поворачивается на бок. До следующего «осмотра» он успеет заснуть (дежурные унтера заглядывали в камеру примерно через равные промежутки времени. Сознание того, что вот-вот должна подняться щеколда, угнетало. Настороженно ждешь привычного шороха. И сразу после него — вздох облегчения. Засыпаешь словно свободный человек).

...Расплывчатые, лоскутные воспоминания... Огромное блюдо с пельменями на столе. Пан Рехневский макает пельмени в сметану. Младшая дочка тянется ручонкой к его бороде. Жена пана Вацлава, бойкая, краснощекая сибирячка, приносит запотевший графинчик...

*Дверь камеры бесшумно, как смазанная маслом, отворяется, и появляется якутский губернатор, молочавый высокий человек, из тех чиновников, что всегда себе на уме, скрыто презирающий службу, своих подчиненных и собеседников.*

— Причиняю беспокойство? Извините. Мой визит неофициален. Пришел, движимый чувством сострадания к вашей дальнейшей судьбе. А впрочем, и любопытство тоже имеет место...

*(Именно так говорил губернатор, когда явился к Мышкину в камеру якутской тюрьмы. Та же ироническая улыбочка, пристальный, изучающий взгляд.)*

— Рад, что вы без этих... железок.

— Да, ваших кандалов мне не забыть, — сказал Мышкин, садясь на койку и набрасывая на плечи бушлат.

— Прохладно тут, — заметил губернатор, — у нас, кажется, было теплее. Однако к делу. Хотя, повто-

ряю, мой визит неофициален. Можете быть со мной откровенны. Понимаю, трудно поверить, но я не доносчик. В нашем медвежьем углу трудно встретить умного человека. Раз вы к нам пожаловали, то будьте благодетелем, доставьте удовольствие приятным разговором. Ведь вы умный человек?

— Чем могу быть полезен?

— О деле ни полслова. Пускай майор Сабе разбирается. За это ему казна жалованье положила. Конечно, вы видите во мне только чиновника, но я еще человек, облеченный властью и доверием государя. В моих силах что-то сделать практически, понимаете? Не для вас — вам я помочь бессилён, — а для народа. Или, по-вашему, судьбы народные нас не волнуют? Возможно, я чего-то не знаю. Так подскажите. У нас одна общая цель — счастье России. Цель высокая, пути разные. Вы избрали путь бунтовщика, смутьяна. Уверены ли вы в своей правоте?

— Господин губернатор, если б вы, власть имущие, хоть краем глаза заглянули в мужицкую избу...

— Не продолжайте. Я тоже располагаю достаточным количеством фактов. Я расскажу вам такое, что у вас волосы встанут дыбом. Якуты мрут от трахомы и сифилиса. Чиновничество погрязло во взяточках. В стране опять неурожай. В южных губерниях холера. Но что делать правительству? Государь отменил крепостное право. У мужика появилась прекрасная возможность: жить-поживать да добра наживать. Но вам известно, что по сравнению с Америкой и Европой в России самый низкий урожай? А почему? Не хочет мужик работать. Прикажете бить его палкой? Увы, прав не имеем. Мы даем льготы местному населению, но, как только у инородца заводятся лишние деньги, он спешит в кабак. И по-

лучается парадокс: благосостояние оборачивается ядом. Доложу вам, что в якутской тюрьме содержится много казнокрадов и взяточников. Я сам чинил суд. Назначаешь нового человека, аттестат вроде бы приличный, но он попадает в условия, когда воровать так вольготно — край дикий, якуты неграмотные, — и ворует, сукин сын! А где взять добросовестных чиновников? Нет, Россия не обеднела честными людьми, но мода нынче такая: честный, образованный человек служить не желает. Он предпочитает критиковать, мужика на бунт подстрекать. Задумайтесь, *Ипполит Никитич*: критиковать и витийствовать — много охотников, а вот работать, помогать правительству Россию из грязи и нищеты тащить — тут честный интеллигент умывает свои белые ручки.

— Значит, интеллигенция во всем виновата? Я вас правильно понял?

— Нет, виноваты мы все. Но власти пытаются хоть что-то делать...

— Что же именно? Мужик веками привык работать на барина, то есть у него в крови привычка к подневольному труду. Ему дали волю, но обманули с землей. Да если он с утра до ночи будет горбиться на своей делянке, то продаст хлеба на полтинник больше! Какой смысл ему за полтинник мучиться? У мужика должна быть своя выгода. Дайте сначала мужику землю, всю землю, ваши имения и поместья. Дадите? История нас учит, что власть никогда не делала без борьбы и без нужды ни малейших уступок обществу, что беспрекословное повиновение и отсутствие всякого протеста ведет только к усилению деспотизма. А что касается «постепенщины»... Когда мы видим, что крестьяне теперь так же безграмотны и бедны, как при возникновении Московского царства, что они так же мрут с голода, как и во времена

лихой татарщины, что они так же суеверны и это суеверие эксплуатируют в свою пользу различные мнимые их благодетели, то позволительно думать, что развитие народа совершается чересчур уж «постепенно», и нельзя не желать уничтожения причин, обуславливавших подобную «постепенность».

Царское правительство заботится об инородцах? Жалкие подачки кидаете! А вы якута за свой стол пригласите? Небось побрезгуете, ваше превосходительство! В представлении отдельных сибирских инородцев со словом «Россия» соединяется понятие о царстве, населенном какими-то бесчеловечными, ненасытными существами, всюду приносящими с собой зло, бедность, разрушение, смерть. Интеллигенцию в помощники просите? Верно, да только на самые низкие должности, под вашим мудрым руководством. А если я на ваше губернаторское кресло сяду и мне все привилегии перейдут: власть, жалованье, парадный выезд? Куда денетесь? Скромным писарем в присутствии определитесь? Никогда. Сначала горло мне перегрызете.

— С такими взглядами, господин Мышкин, вы не жилец на этом свете. Опомнитесь, на кого руку подымаете? Ужель нельзя договориться по-умному? Ведь вы умный человек... Нам тоже свойственны нравственные страдания...

— После сытного обеда вольготно рассуждать о нравственных проблемах, вздыхать о мягущейся противоречивой душе русского интеллигента... А ведь все ясно: со времен Ивана Грозного Россией правила опричнина. Попадают, правда, и либеральные опричники, но мечтают они только о том, чтобы на их азиатский порядок приличный европейский глянец навести, чтоб властвовать было сподручнее. От власти еще никто не отказывался и не откажется. С ва-

*ми договариваться — значит в вашу банду вступать, по законам опричнины жить, от сладкого пирога куски урывать.*

...Мышкин проснулся, чувствуя лихорадочный озноб. Голова кружилась, во рту пересохло, как будто действительно долго спорил с якутским губернатором. Встал. Выпил воды. Лег. Накрылся бушлатом. Некоторое время смотрел, как на потолке вздрагивает желтый круг от керосиновой лампы. Понимался шорох задвижки. Мышкин выждал еще минуту и повернулся на бок. «Шляется всякая нечисть,— подумал он, засыпая.— Хоть бы Фрузя появилась или Николай Гаврилович!»

## 9

**Е**сли бы в Женеве цыганка или гадалка, раскинув карты, предсказала Мышкину дорогу дальнюю и казенный дом, все равно выбрал бы дорогу дальнюю — в Россию.

А дорога действительно выпала дальняя. Он проехал тысячи верст. Он полгода в пути. Мышкин-Титов, скачущий путешественник, командированный в Иркутскую управу, лжечинovníк по особым поручениям, самозванный ревизор.

В Иркутске он снимает комнату у родителей жёны пана Вацлава. Часто устраивает веселые пирушки со старшим писарем жандармского управления Непейцыным.

Легкая, привольная жизнь!

И никто не подозревает, как трудно рядиться в благополучную личину господина Титова. Ежеминутно ждешь разоблачения, ареста, провала. Не с кем

посоветоваться, неоткуда ждать помощи, все время один...

Приходится проделывать странные вещи. Например, поступить в Иркутскую телеграфную школу и проучиться... всего пять дней. Зато похищены бланки официальных телеграмм.

В сундуке у господина Титова хранится мундир жандармского поручика со шпорами и аксельбантами.

Господин Михаил Петрович Титов досконально изучил делопроизводство жандармской канцелярии, может сам составить бумаги для обыска заключенного и перевозки его в другое место. Теперь он за просто подделывает подписи генерал-губернатора Восточной Сибири барона Фредерикса, начальника управления подполковника Янковского. Спасибо писарю Непейцыну! Бог дал такую фамилию горькому пьянице.

В сундуке у господина Титова под жандармским мундиром спрятаны документы:

1. Удостоверение личности поручика корпуса жандармов Мещеринова А. И.

2. Телеграмма из Благовещенска: «Иркутское жандармское управление, вилюйскому исправнику. Предписываю оказать необходимое содействие поручику корпуса жандармов Мещеринову, командированному сопровождать Чернышевского в Благовещенск».

За подписью барона Фредерикса.

3. Сопроводительная бумага: «Препровождая при сем телеграмму, полученную в управлении на ваше имя от генерал-губернатора Восточной Сибири, управление со своей стороны покорнейше просит вас не отказать в содействии поручику Мещеринову по исполнению возложенного на него поручения».

За подписью исполняющего дела начальника управления капитана Соколова и адъютанта управления поручика Бурлея.

4. Предписание унтер-офицеру Аггею Фомиину: «Предписываю исполнить в точности и без малейшего замедления все приказы поручика корпуса жандармов Мещеринова, относящиеся до перевода посаженного в г. Вилюйске Николая Чернышевского во вновь назначенное местожительство».

Подписи соответствующие.

Даты проставит Мышкин, он же Титов, он же поручик Мещеринов, когда отправится в путь.

Вацлав Рехневский и Феликс Ржешотарский подробно рассказали о трудностях маршрута. До Витима Мышкина довезет барка Думбровского (и письмо к поляку заготовлено), а потом... как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Как добраться до Олекминска? Таежная река, на сотни верст кругом ни одного человеческого жилища. От Олекминска до Сунтара — темный лес. В буквальном смысле этого слова. Глухие тропы, которые знают лишь местные проводники. И в Вилюйске чем встретят поручика Мещеринова? Праздничным салютом в его честь или ружейным залпом по самозванцу?

Полгода ушло на подготовку. Впереди самый ответственный, решающий этап. Но в любой момент может случиться осечка, и тогда пиши пропало.

Итак, ждет Мышкина дорога дальняя.

...Или?

Вспоминая позднее свое иркутское житье-бытье, он удивляется одному обстоятельству: ведь, кажется, весь город облазил, присутствия навещал, в жап-

дармскую управу к Непейцыну наведывался, трактиры с писарем обходил, и в купеческий клуб, и в публичную библиотеку заглядывал, а вот единственным зданием не поинтересовался — хотя бы так, из чистого любопытства, — иркутским казенным домом.

Но вскоре пришлось и в нем побывать. Три раза водили по этапу через иркутскую тюрьму.

А зачем заранее острогом «любоваться»? Неужто бы передумал? Да нет, тут суть в психологии: потом сквозь решетку смотрел бы на площадь, где когда-то вольным, свободным человеком стоял, и веселее было бы в камере.

Резвая тройка довезла его до Качуги, а потом барка понеслась вниз по Лене, мимо красных скал и высоких лесистых берегов. Легко и стремительно началось его путешествие, но уже от Жигалова, когда река разлилась вширь и течение как бы притормозило, пошли пустые, бездеятельные дни.

Паузок был доверху набит товарами и людьми. К Мышкину приставали с назойливыми расспросами, приходилось отвечать, выдумывать, он все более замыкался в себе. Разнообразие природы перестало волновать. Раз за разом он повторял варианты своего появления в Вилюйске. Он жил предстоящей схваткой, и это изматывало нервы.

Когда еще придется наблюдать такую красоту? Но мимо, мимо. Промелькнул Киренск, деревянный город на острове, а там Мышкин и не заметил, как показалось Витимское.

— Сколько от Киренска до Витима?

— Да говорят, четыреста двадцать верст.

Витимское — обособленная республика в центре Российской империи. Здесь не подчинялись ни царю,



ни исправнику, ни богу, ни черту. Здесь не сеяли и не пахали, не промышляли охотой.

...Худой мужик в рваной, истлевшей рубахе, всклокоченный, с лихорадочным блеском в глазах, ввалился в кабак.

— Хозяин, я нынче «барин». Гуляю. Гони шантрапу в шею! — и бросил на стойку тугой тяжелый мешочек.

Хозяин бойко кликнул Ваньку и Ваську. «Шантрапа» (темные личности за столиками) поспешила к выходу, почтительно кланяясь худому мужику. Ему повезло, он сегодня «король», гуляет.

«Демократия, — усмехнулся про себя Мышкин. — Капитализм в миниатюре. Неужели такое будущее ждет Россию?»

...В Витимском люди часто исчезали при весьма загадочных обстоятельствах. Что с ними случилось — это никого не интересовало. Интересовало только золото.

Мышкин купил лодку, запасся провиантом, благополучно отбыл вниз по реке. И ни одна живая душа не спросила его куда, зачем.

Пристальное внимание к своей особе он заметил, прибыв в Олекминск. Далее, всю дорогу до Вилюйска, он жил с ощущением, что его рассматривают. Чьи-то глаза неотступно следили за ним.

Солнце часа на два скрывалось за высокий берег, а потом медленно плыло по кругу. И так изо дня в день — почти семьсот верст от Витимского до Олекминска. Расплавленный свет, льющий с неба, дурманил голову. Мерцающие блики реки ослепляли, резали глаза. Задыхаясь, Мышкин стягивал холщовый мешок, и тогда звенящее облако комарья и гнуса устраивало свое кровавое пиршество. Комары ели поедом, гнус забивался в рот, нос, уши. Не выдерживая

этой пытки, Мышкин снова надевал холщовый мешок на голову (в холстину квадратом была врезана частая сетка из конского волоса — решетка. «Карманная камера» на одного человека!). Его охватывал приступ ярости, он налегал на весла, иступленно греб, пока не выбивался из сил... Он ложился на дно лодки, закрывал глаза. Странное забытье. Впрочем, ненадолго: он боялся потерять сознание и заставлял себя подниматься. И опять на несколько верст вокруг блестящая гладь реки, и не поймешь: сдвинулась ли лодка, или ее тихо кружит на месте?

Черная туча, глухо грохоча, закрывала полнеба. Крупные волны раскачивали лодку, хлестал косой ливень, а солнце откуда-то сбоку зажигало водяные брызги, расцветчивало горизонт радугой.

Однажды он видел, как горела тайга. Дым застилал правый берег, вспыхивали далекие блеклые языки огня — и все это в колдовском безмолвии реки.

Когда солнце пряталось за ершистые сопки, он причаливал к отмели, разводил большой костер. Мышкина лихорадило. Стоило задремать, как ему чудилось, что со всех сторон подкрадываются звери... Какие-то люди, косоглазые, с коричневыми лицами, усаживались у костра, цокали языком, качали головами. Он явственно слышал пение якутских шаманов (их заунывный обряд он наблюдал в Усть-Куте), с трудом разлеплял веки — в дрожащем пламени костра плясали раскрашенные маски... Снова он куда-то проваливался — и выползали косоглазые люди, они громко кричали и направляли на Мышкина стволы коротких ружей...

Он понимал, что болен, и молил (убежденный атеист), откровенно молил — бога, черта, шаманов — дать ему ясность мысли.

Эта ясность пришла, когда, растирая затекшие 169

ноги, он ступил на дощатый причал Олекминска. Правда, бессонница его не оставляла, но до девятого стана якутского тракта он находился в состоянии страшного нервного возбуждения.

Верхом с проводниками-татарами он прибыл в Сунтарский улус. В инородную управу он явился одетым по всей форме и потребовал немедленно лошадей.

Начальник управы собственноручно поднес вещи Мышкина к коляске.

Поручик Мещеринов мчался по вилюйскому тракту, меняя тройки на станциях. Его появление в местных управах вызывало панику среди чиновников. Подгоняемые грозными криками, они метались, как тараканы в банке.

Когда он подъехал к вилюйскому острогу (высокий бревенчатый забор, за которым торчала треугольная тесовая крыша), из караулки выскочил казак, молодецкато отдал честь и крикнул ямщику, чтоб тот отвез их благородие в дом к господину исправнику.

Тройка остановилась около большой пятистенной избы с резными наличниками на окнах. Мышкин вошел в горницу, стукнувшись головой о притолоку. Толстый мужик, усатый, бородатый и абсолютно лысый, в одних подштанниках и нательной рубахе, сидел за столом и чистил ножичком грибы.

— Господина исправника! — сквозь зубы процедил Мышкин.

— Щас,— сказал мужик и босиком прошлепал в другую комнату за занавеской.

Мышкин присел на высокую скамейку, снял фуражку и, отодвинув грибы, освободил место для бумаг.

Мужик вылез из-за занавески. Теперь на нем был мундир сотника. На ходу застегивая верхние пуговицы, он представился:

— Исполняющий должность помощника виллюйского окружного исправника Жирков.

— Поручик Мещеринов из иркутского жандармского управления.

Мышкин выложил бумаги на стол.

Жирков засуетился, вытер лысину полотенцем, потом этим же полотенцем смахнул крошки со стола, прочно устроился на табурете и заговорил вольно, даже развязно:

— Слава богу, явились! Вот уж не думал, не гадал, что рапорт мой действие окажет... Его благородие капитан резолюцию наложил или сам его превосходительство?

— Какой рапорт? — удивился Мышкин.

— Как «какой»? — удивился в свою очередь Жирков. — Мой рапорт. Крышу менять надо, арестант изволил жаловаться. Наша команда — раз-два и обчелся, а косоглазые черти деньги на водку требуют. Откуда деньги? Вычесть из своего жалованья? Потом строчи отношения, доказывай. Арестант хоть тихий, но понимает: пойдут дожди — затопит острог. И потом ружья, когда нарезные ружья доставят? Из наших карабинов с трех шагов в медведя не попадешь, а ежели сицилист нагрянет, чем его шуганем?

— Какой социалист? — насторожился Мышкин.

— Батюшка, — развел руками Жирков, — зачем со старым служакай в прятки играть? Мне по должности знать положено, что сицилист от немцев едет — нашего арестанта высвободят. Или секретное письмо вам не ведано? Может, и рапорт мой не читали?

Жирков хитро прищурился. «Значит, агенты Третьего отделения имеются и в Женеве, — поду-

мал Мышкин.— Хорошо, что исправник предупредил».

— Ваш рапорт рассматривает поручик Бурлей,— с важностью ответил Мышкин.— У меня же секретнейшее, срочное поручение.

— Больно долго он рассматривает,— проворчал Жирков.— А крыша развалится — так голову снесут исправнику.

— Господин сотник, вы, кажется, забываетесь,— возвысил голос Мышкин.

— Нет, это нас забывают! — неожиданно вспылил Жирков.— В штабе сидят, не чешутся, ворон считают, а случись что — Жиркова потянут к ответу. Да, да! — продолжал Жирков, переходя на крик.— Меня не испугаешь. Двадцать лет, живота не щадя, на государственной службе! Пять лет исполняю обязанности помощника. А где исправник, где помощник? Сыскать не могут. Видать, кормить комарье в Вилюйске их благородия не рвутся. А ежели у сицилиста бомба? Сиди, дрожи, пока в штабе рапорт изучают?

— Господин сотник,— прервал его Мышкин.— У меня поручение: перевезти преступника в более безопасное место. Вот предписание.

Мышкин протянул бумаги Жиркову. Старый служака повеселел.

— Это — дело,— бормотал исправник, поднося предписание к самому носу и близоруко щурясь.— Давно бы так. А то сицилист на корабле пристанет, пушки наведет.

— Какой корабль, какие пушки? — удивился Мышкин.

— Немец за золото канонерку вышлет,— продолжал бормотать Жирков.— Как пальнет — дров не соберешь. Э, батенька,— он недоуменно уставился на Мышкина,— да что же они в штабе — совсем ополоу-

мели? Знать, на балах с губернскими барышнями разом потеряли. А где распоряжение якутского губернатора?

— У меня приказ генерал-губернатора всей Восточной Сибири.

— По инструкции я без подписи якутского губернатора на выстрел никого не подпущу к острогу. Ополоумели штабные! Вы уж простите старика за крепкое словцо, но, истинный крест, ополоумели! Вашему благородию в Якутск трястись, да по такой жаре...

— Я требую выдачи государственного преступника! — отчеканил Мышкин, делая ударение на каждом слове.

Жирков посмотрел на него с видимым сочувствием.

— Понимаю, батюшка, с дороги устали, голову напекло. А мы сейчас грибки зажарим, водочкой распорядимся. Да успокойтесь, ваше благородие, рассудите сами: ежели не будет бумаги из Якутска, позавтра меня в острог вместо арестанта посадят. Видно, писарь в штабе забыл запрос сделать. Вы его потом, сукиного кота, на гауптвахту отправьте, а меня уважьте. Ваше благородие, где конвой разместили?

— Я прибыл один, дабы сохранить секретность, — ответил Мышкин, скрывая смущение.

— Ну и штабные, — рассмеялся Жирков. — Так вас на обратном пути обязательно прирежут. Или сицилист бомбу швырнет. Хоть бы арестанта пожалели. Он, конечно, преступник, да человек смирный, совестливый. За что ему, сердешному, в тайге погибать? А ежели вы на моих казаков надеялись, то зря. В команде недокомплект. Вы отдохните, батюшка, грибочки и водочка еще никому не вредили. А потом

вернетесь с бумагой и конвоем. И мне, старику, гора с плеч.

...Он отправился в Якутск в сопровождении двух вилуйских казаков — Бубякина и Моршинцова. «Компанию» навязал ему исправник, заявив, что не имеет права отправлять офицера по тракту без охраны. Однако в Якутске Мышкину нельзя было показываться. Исправник, наверное, уже связался с тамошним управлением. Не доезжая девятой станции, Мышкин попытался бежать. Выстрелом он ранил Бубякина. Моршинцов отстал.

Мышкин потерял коня. Четверо суток, страдая от жажды и холода, плутал по тайге, изредка впадая в беспамятство. Ему чудилось, что он плывет по Лене и огромное солнце во все небо отражается в речном зеркале и слепит глаза... Солнце действительно висело над тайгой, но Мышкин не плыл, он ползком продирался сквозь чахлый кустарник. Он не разводил костра, но ему казалось, что он греется около потрескивающих головешек и вдруг косоглазые люди выскакивают из-за деревьев и, громко крича, направляют на него стволы коротких ружей.

Очнувшись, он понял, что это не сон. Из-за спящих якутских охотников выглядывали мрачные физиономии казаков.

...Под охраной троих казаков Мышкина везли в Якутск на одной подводе с раненым Бубякиным. Лежа на сене, Бубякин стонал, плакал и поминутно спрашивал:

— За что стрелял? Что я тебе сделал? Ногу искалечил, из войска теперь меня спишут.

Мышкин оправдывался, повторял, что попал в него случайно, хотел просто испугать.

...Ныли в запястье связанные руки, казаки бросали на него враждебные взгляды, Моршинцов злоб-

но матерился, бормоча, что в Бадазанкове исправник пропишет его благородию плетей. Так же пекло солнце, наседали комары...

На Бадазанковской станции подводу встретили окружной исправник и писарь. Руки Мышкину развязали немедленно.

Потом последовал долгий и нелепый допрос, когда исправник не знал, собственно, о чем спрашивать, а Мышкин «помогал» ему, отработывая версию, которой он решил придерживаться еще в Иркутске. Версия была такова: он не Мещеринов, а Михаил Петрович Титов, сын священника Вологодской губернии. Прибыл в Иркутск из России. В Иркутске изучил законы жандармской канцелярии благодаря знакомству со старшим писарем Непейцыным. Мунир купил у прислуги начальника жандармского управления. Служебные предписания составил сам, без участия других и без чьей-либо помощи. С Чернышевским незнаком, а лишь знал его биографию. Чернышевскому он не намеревался объявлять, кто он есть на самом деле, опасаясь, что Чернышевский мог бы отказаться от побега. Выстрел в пути сделан им без злого умысла, в состоянии болезни и беспамяতства.

Такая версия не давала возможности полиции пронохать о существовании «польской организации» и не впутывала в дело самого Чернышевского. За все содеянное отвечал только Титов.

Исправник и писарь удалились, к великому разочарованию Моршинцова, не «прописав плетей его благородию». Но мстительный казак отыгрался: на ночь он запер Мышкина в избу, где содержалось четверо уловников, ведомых из Якутска по этапу.

Лавки в избе были заняты, и Мышкин лег на пол. Надсадно пищали комары, хотелось пить. Мышкин



постучал в дверь и попросил воды, а также чтоб ему вернули защитную сетку. Моршинцов, стороживший в сенях, проворчал: «Не положено», а уголовники разразились злорадным хохотом:

— Барина комарики кусают! Подайте благородию пуховую перину! Кваском из погреба потешьте барчука!

Объясняться с ними Мышкин счел унизительным, но только вытянулся на полу, как мимо его головы просвистел деревянный башмак. Мышкин вскочил на ноги. С соседней лавки поднялся крепко сбитый малый. В его наглых, пронзительно голубых глазах читалась издевка.

— А ну, гнида, ползи сюда, сымай второй! — проговорил, осклабясь, уголовник.

Мышкин схватил тяжелый деревянный табурет.

— Кто подойдет, проломлю башку!

— Ну и гнида,— ласково улыбнулся уголовник.— Люблю из таких юшку пускать. Ложись, барин, поспи. Как заснешь, мы тебя причешем.

Мышкин застучал в дверь.

— Моршинцов, приведи господина исправника!

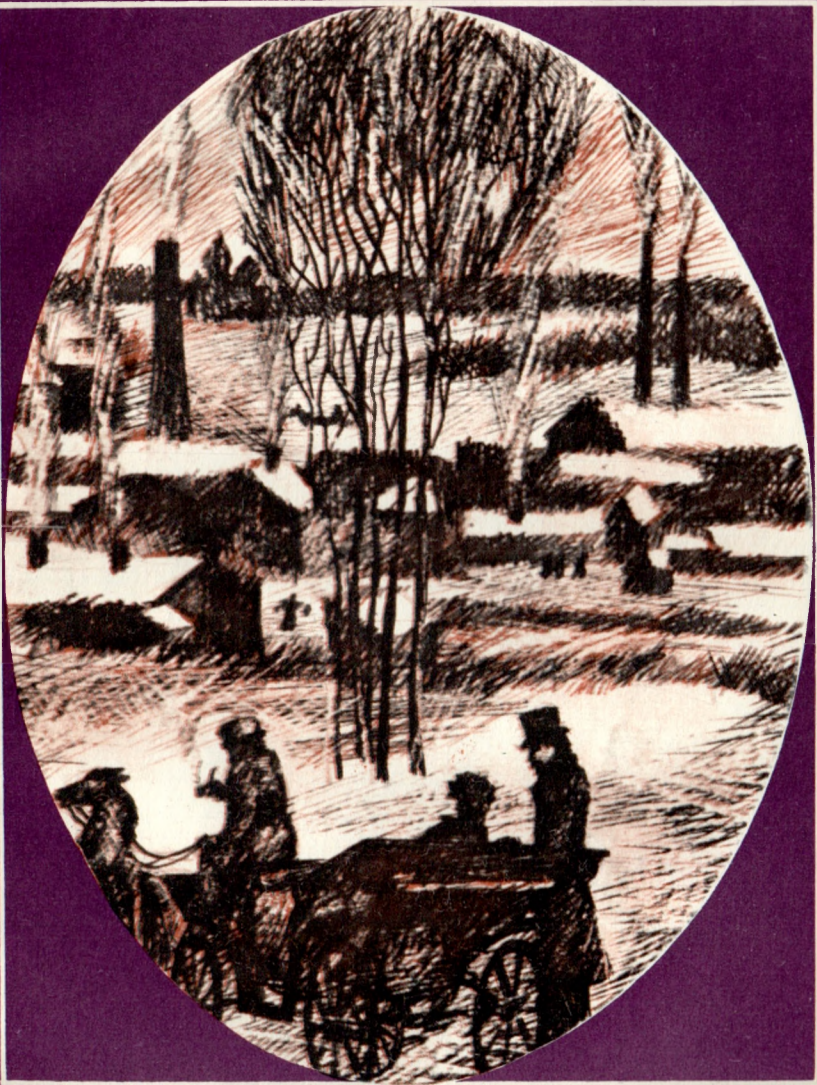
— Хватит командовать, откомандовались,— ворчал за дверью Моршинцов, видимо все слышавший и довольный таким оборотом дела.

— Я намерен заявить важное признание,— пошел на хитрость Мышкин.— Не позовешь, так утром скажу исправнику, что ты покрывал мои преступные действия.

Моршинцов выругался и выбежал из сеней.

Уголовники сидели на лавках, поджав ноги, и посмеивались над Мышкиным, который продолжал стоять у стены, держась за табурет.

— Валяй, барин, кличь начальство. Оно тебе лы-





сину залижет! Тут тюрьма, барчук, привыкай поворачиваться, ежели ребра дороги!

А «заводила» с голубыми глазами сладко зевнул и предложил:

— Гнида, идем на мировую. Сымай ботинок по хорошему, я тебе в благородную вывеску плюну, утрешься — и спать!

В сенях раздался топот, в комнату вошел исправник с Моршинцовым. Мышкин сел на табурет и, стараясь выглядеть спокойным, заговорил снисходительным тоном:

— Господин исправник, считаю своим долгом заметить, что вы нарушаете циркуляр о раздельном содержании политических и уголовных. А вдруг я передам через них, — он показал на примолкших арестантов, — секретные сведения на волю? Начнут у меня допытывать в Якутске: как, мол, удалось? Я признаюсь: власти в Бадазанкове промашку допустили.

Исправник побагровел и заорал на казака:

— Куда смотрел, сволочь? Титова вывести и запереть в управе!

— И прикажите принести сетку и воды, — добавил Мышкин. Выходя из комнаты, он обернулся. Его провожали ненавидящими взглядами.

Память в тюрьме обостряется. Все, что удалось вспомнить из вольной жизни, не забывается благодаря многократному повторению. Сцены, разговоры, происшедшие во время заключения, тем более свежи в памяти. Ведь каждое слово взвешиваешь, каждый эпизод анализируешь, «прокручиваешь» снова и снова. Даже во сне, споря, рассуждая, отвечая на вопросы своих «гостей», Мышкин говорил заученными,

отработанными фразами, и во сне он иногда как будто слушал себя со стороны и комментировал: «А сейчас Мышкин скажет именно так».

...26 июля 1875 года он был помещен в «одиночку» якутской тюрьмы. Дубовая дверь захлопнулась, звякнул тяжелый засов, и Мышкин обрадовался этому, как желанной передышке. Наконец после стольких мытарств он сможет собраться с мыслями, определить линию поведения.

Вернувшись к своему разговору с Жирковым, он припомнил каждое слово. Непонятно: разыграл его старый казак, догадавшись о «маскараде», или просто добросовестный служака искренне пытался помочь незадачливому поручику? Так или иначе, Мышкину дьявольски не повезло. Бюрократическая тупая машина дала неожиданный сбой. Относительно Чернышевского были применены меры предосторожности, беспрецедентные в практике жандармской капцеларии.

Досадная случайность! Но она повлекла за собой необратимые последствия...

Итак, попробуем подвести итоги. Все предыдущие годы ты надеялся, что наступит момент, когда удастся развернуться в полную мощь, применить свои силы и способности в революционной практике. Пользуясь своим положением правительственного чиновника, ты скрупулезно изучал работу полицейского аппарата, практику судебных палат, деятельность секретных агентов. Все это должно было пригодиться в дальнейшем... И на Супинской ты не женился из опасения, что семейная жизнь может помешать тебе лично принять участие в грядущей революции.

Основав собственную типографию, ты действовал осторожно: установил добрые отношения с цензурой, тщательно маскировал свои планы. Однако легальная пропаганда не удалась, цензура была начеку. И только ты успел наладить выпуск подпольной пропагандистской литературы, как последовал провал.

Тогда ты решил вступить в открытый бой с самодержавием и организовать побег Чернышевского. Увы, снова неудача!

Неутешительный итог: начав борьбу, ты сразу потерпел поражение. Ты просто неудачник, Ипполит Никитич. Ты не смог совершить ничего значительного, полезного для народа. Думаешь, теперь тебе удастся выскользнуть из когтей полиции? Как бы не так! Они до всего докопаются. Твоя жизнь кончилась, прежде чем ты успел что-нибудь сделать. В пору хоть вешаться от отчаяния.

...Мышкин упрямо тряхнул головой, встал и заходил по камере якутского острога. Самоубийство — это проявление малодушия. Нет уж, такой радости своим тюремщикам я не доставлю!

ОТ АВТОРА:

Вокруг каждого исторического лица складываются легенды. Как правило, их рождает отсутствие достаточной информации. Так, например, долгое время считалось, будто Мышкину не удалось освободить Чернышевского из-под стражи потому, что он неправильно надел аксельбант и сотник Жирков заподозрил неладное. Автор честно признается, что, пока он не приступил к исследованию материалов по Мышкину, сам верил в эту версию.

Разумеется, Мышкин, профессиональный военный, не мог допустить даже малейшей небрежности, и форму жандармского поручика он носил как положено. Другое дело — Мышкину могло казаться, что он пал жертвой досадной случайности... Последние работы советских историков позволяют установить истинное положение вещей. Увы, «досадной случайности» не было. Находясь в Женеве, Мышкин не знал, что параллельно с ним готовит освобождение Чернышевского и Герман Лопатин. В отличие от Мышкина, Лопатин не скрывал своих планов. В окружение Лопатина проник правительственный агент, который послал в Петербург предупреждение, что «заграничная партия составила подробный план освобождения государственного преступника Чернышевского». Третье отделение сразу приняло соответствующие меры, а якутский губернатор категорически воспретил допускать к Чернышевскому любое лицо без специального предписания. То есть «социалистов» ждали.

Несмотря на это, Мышкину удалось преодолеть все кордоны и добраться до Вилюйска. А вот Германа Лопатина арестовали уже в Красноярске...

Отчаяние, охватившее Мышкина в якутской тюрьме, вполне естественно. Но в тот момент он и не предполагал, что его «звездный час» впереди. Он получил в конце концов «высокую трибуну», о которой мечтал еще на пароходе. Недалеко время, когда Мышкина услышит вся мыслящая Россия.

## ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА

*присяжного поверенного  
КУМАНЬКОВА Ивана Харитоновича,  
комментирующего заседание особого присутствия  
правительствующего Сената  
по делу о революционной пропаганде в России*

14. II. 1877 г.

Все-таки удивительно, как за границей не понимают условий нашей российской действительности! Вчера у меня обедал господин Чиверс, корреспондент английской «Таймс». За десертом мы беседовали о процессе, ради которого г. Чиверс приезжал в Москву. «Я думал, у вас действительно заговор,— заявил мне между прочим г. Чиверс,— а целый месяц мне пришлось слушать, что студент Н. привез из Швейцарии книгу, а студент М. давал ее читать своим приятелям. Разве за это судят?» И это он говорит после стольких дней, проведенных в суде! Положительно, чужое государство — потемки для иностранцев. Да, именно за это у нас и судят. А за действия и настоящие заговоры расправляются без суда и следствия. Мы привыкли, что «высочайшим распоряжением» людей посылают на виселицу или пожизненно замуровывают в Петропавловской крепости. Нынешний процесс — огромное достижение отечественной юстиции: ведь в зале присутствуют стенографы, а сенатор Петерс клянется, что материалы суда опубликуют в «Правительственном вестнике». Но господин англичанин возвращается в Лондон, ему скучно...

Впрочем, его можно понять. После того, как почти все обвиняемые решительно отказались отвечать на вопросы первоприсутствующего и бойкотируют заседания, процесс для публики потерял всю свою первоначальную привлекательность. Допрос свидетелей сведен к пустой формальности. Свидетели, как пра-



вило, отрекаться от заявлений, полученных от них ранее, утверждая, что их «заставляли» писать.

С одной стороны, такая обструкция подрывает авторитет суда, но с другой стороны, позволяет обвинению довести процесс без скандалов и эксцессов до «благополучного» завершения. Между тем, еще на первых заседаниях один из главных подсудимых, Мышкин, заявил: «Вы позорно составили обвинительный акт, в котором нет ни смысла, ни правды, в котором вы хотите перед лицом населения выставить нас мальчишками, недоучками, людьми без принципов, без совести, без мысли». Именно так! Потом обнародуют приговор, и публика-дура поверит. Наше простодушное общественное мнение настолько обрадовано фактом проявления гласности, что пока еще доверяет любому печатному слову. На это и рассчитывает обвинение.

Догадываются ли об этой игре гг. Мышкин, Войнаральский, Ковалик, Муравский, Волховский — то есть те, которые в какой-то степени отвечают за судьбу своих товарищей и исход самого процесса? Как нам, защите, искать оправдательные доводы, когда подсудимые своим поведением раздражают и злят особое присутствие?

Поэтому сегодня, когда в зале должна была появиться двенадцатая (московская) группа, я с большим волнением ждал допроса Мышкина. Захочет ли он давать показания? Это очень важно для хода процесса.

15.II.77 г.

...Очевидно, сенатор Петерс полагал, что Мышкин, как и остальные, не соизволит отвечать и потребует своего удаления из зала суда. То, что Мышкин заговорил, застало первоприсутствующего врасплох. Он

попросту развесил уши и пропустил такие высказывания обвиняемого, за допущение которых сенатору наверняка объявят высочайшее неудовольствие.

Я привожу свои записи, сделанные во время суда. Стенографирую я плохо, многое не успел уловить. К тому же я не мог отказать себе в удовольствии прокомментировать некоторые подробности этого беспрецедентного заседания. Итак, Петерс начал с того, что обвинил Мышкина в участии в противозаконном обществе и спросил, признает ли он себя виновным. (Далее по моим записям.)

Мышкин. Я признаю себя членом не общества, а социально-революционной партии и прошу позволения объяснить, в чем именно заключается преступление, которое я, по собственному моему сознанию, совершил против русских государственных законов.

Первоприсутствующий. Объясните.

М. Я не могу признать себя членом тайного общества, потому что я и мои товарищи, товарищи не только по заключению, но и по убеждениям, не представляем нечто обособленное целое, связанное единством внешней, общей цели для всех организаций. Мы составляем лишь частицу многочисленной в настоящее время на Руси социально-революционной партии, понимая под этим словом всю массу лиц одинаковых с нами убеждений — одинаковых, конечно, только вообще, а не в частности, — лиц, между которыми существует хотя преимущественно только внутренняя связь, однако связь достаточно реальная, обуславливаемая единством цели и большим или меньшим однообразием средств практической деятельности. Основная задача социально-революционной партии — установить на развалинах теперешнего государственного буржуазного порядка такой общест-

венный строй, который удовлетворял бы народным требованиям в том виде, как эти требования могли бы выразиться в мелких и крупных движениях народных...

(Не успеваю, в дальнейшем буду ставить много-точие.)

...Осуществлен он может быть только путем социальной революции, потому что государственная власть преграждает все мирные пути для достижения этой цели и добровольно никогда не откажется от насильственно присвоенных ей прав. За это нам ручается весь ход истории. Возможно ли мечтать о мирном пути, когда власть не только не подчиняется голосу народа, но и не хочет даже выслушать этого голоса и за всякое стремление, не согласное с видами ее, награждает тюрьмой и каторгой?..

П. Вы признали себя членом известной партии. Препятствия, о которых вы говорите, не входят в круг обсуждения суда...

(Поздно, ваше превосходительство. Мышкин не только успел объявить программу, но и официально зафиксировал ее, то есть предал гласности. Значит, речь была заготовлена заранее. Пока сенатор при таком неожиданном обороте дела в растерянности чесал себе... господин Мышкин обнародовал политические задачи с.-р. партии. Но Петерс — хитрая лиса и делает вид, что ничего не произошло.)

М. Весьма важно выяснить, почему мы смотрим на революцию как на единственно возможный исход из настоящего положения.

П. То, что относится к вопросу о вашей виновности, вы уже достаточно выяснили. Остальное вы можете сказать впоследствии.

М. Я полагаю, что для суда весьма важно знать, как мы относимся к революции, то есть предполагаем

ли мы, что наша партия должна во что бы то ни стало немедленно вызвать, создать революцию или только позаботиться об успешном исходе ее.

П. Об этом вы можете говорить.

(Что, ваше превосходительство, обскакали вас по бровке? При чем при полном соблюдении юриспруденции. Нет, он положительно дипломат. Такого бы молодчика, да в наше «тележно-дегтярное» министерство иностранных дел! Тогда, может, и не понадобилась бы война с турками... Богата талантами матушка-Русь, только мы их «бережем», под замком держим.

М. Я полагаю, что ближайшая наша задача заключается не в том, чтобы вызвать, создать революцию, а в том, чтобы только гарантировать успешный исход ее, потому что не нужно быть пророком, чтоб при нынешнем отчаянно бедственном положении народа предвидеть как неизбежный результат этого положения всеобщее народное восстание. Ввиду неизбежности этого восстания нужно только позаботиться, чтобы оно было возможно более продуктивным для народа...

При всем различии взглядов по другим вопросам приверженцы социальной революции сходятся в одном: что революция может быть совершена не иначе, как самим народом при сознании им, во имя чего она совершается; другими словами, настоящей государственной строй должен быть ниспровергнут только тогда, когда пожелает этого сам народ...

...Мы не имеем никаких средств насиловать народную волю в пользу излюбленных нами идей. Мы можем действовать только убеждением. Все средства насилия находятся в распоряжении и действительно практикуются нашими противниками. Если же, несмотря на крайне неблагоприятные для нас условия, правительство все-таки имеет серьезные основания

опасаться, что наша деятельность увенчается успехом, то, значит, мы не ошибаемся, рассчитывая на сочувствие народа нашим идеям, но в таком случае мы не преступники, не злоумышленники, а лишь выразители потребностей, осознанных народом.

(Превосходная мысль! Надо бы в завуалированной форме использовать ее в моей речи на воскресном банкете по случаю открытия попечительского общества; придется сгладить острые углы, но зато добавим элегантности.)

М. Объяснив в кратких словах цель и средства социально-революционной партии, я перехожу к следующему, не менее важному вопросу — о причинах возникновения и развития этой партии вообще и движения 1874 года в частности. В обвинительном акте все это дело представлено таким образом, что были-де на Руси обломки прежних политических сообществ, была еще русская эмиграция в Швейцарии, явилось несколько энергичных личностей и по слову: «Да будет революционное движение на Руси!» — создано таковое по всему лицу земли русской. А так как обломки преступных сообществ и эмиграция давно существовали и всегда будут существовать до окончания нынешнего государственного строя, то оказывается, что движение, подобное нынешнему, было вызвано и всегда может быть вызвано по произволу тремя-четырьмя лицами. Конечно, ни один мыслящий человек, сколько-нибудь понимающий причины социальных явлений, не удовлетворится подобным прокурорским объяснением. Для крупного социального явления должны быть крупные социальные причины. Нужно особенное недомыслие или особенная недобросовестность, чтобы называть искусственно созданными революционные движения в среде интеллигенции...

П. Прошу не употреблять подобных выражений.

(Да что с Петерсом? Он болен? Проворонил, ей-богу, проворонил! А теперь попробуй останови, ведь сам разрешил. Но, господин Мышкин, опомнитесь, вы же собственноручно вешаете себе на шею как минимум еще пять лет каторги! Зачем, о господи!)

М. Я говорю только, что движения эти не созданы искусственно. Изучая их, мы прежде всего замечаем тот знаменательный факт, что все движения в интеллигенции соответствуют параллельным движениям в народе и даже являются простыми отголосками последних... Движения народа и интеллигенции представляют как бы два параллельных потока, стремящихся слиться в общее русло, уничтожив разделяющую их вековую плотину; плотина эта — рознь между интеллигенцией и народом, которая сложилась вследствие их вековой отчужденности друг от друга.

(Далее г. Мышкин указывает причины этого движения: реформы, платежи, поборы — и хочет подробно рассказать о крестьянских бунтах, совершая тем самым непростительную ошибку. Конкретные факты на суде приводить никому не дозволено, и Петерс сразу цепляется. Начинается перепалка. Именно перепалка между обвиняемым и Петерсом. Удивительно! Г. Мышкин проявляет завидную выдержку, но старого законника Петерса ему не переспорить. Кстати, а чего это сенатор либеральничает? Может, тоже ищет популярности среди студентов? Или его сына освистали в университете?)

П. Вы опять приводите примеры, в которых, как я уже сказал, не нуждается особое присутствие: да они и не могут быть подтверждены на следствии.

М. Иначе мои заявления будут голословны.

П. Вы входили в вашей речи в очень подробный разбор. Я вам сделал вопрос о том, признаете ли вы себя виновным в принадлежности к противозаконному обществу, указанному в обвинительном акте; вы себя признали принадлежащим к другому незаконному обществу, к какому — вы сказали. Затем я не вижу, что может еще остаться для выслушивания суду по этому вопросу.

М. Я думаю, что имею право доказывать правильность своих выводов. Разумеется, суд может относиться к моим мнениям как угодно, но для чего же не дать мне высказать причины, побуждавшие меня, для чего зажимать мне рот?..

П. Вам никто не зажимает рот. На основании закона я обязан допускать прения и доказательства только против того, что предъявлено в обвинении, поэтому я не могу дозволить вам говорить о том, что не подлежит нашему обсуждению. Я вам не препятствую продолжать речь, но прошу ограничиться только выводами, которые вы признаете нужным сказать суду.

(Господа, сенатор Петерс не так прост. Он быстро сориентировался, какую выгоду для себя может извлечь из выступления г. Мышкина. Ведь большой процесс затеян с определенным умыслом: доказать российским «патриотам», что злодеи покушались на их благополучие. Но так как сами «злодеи» участвовать в суде не желают, а свидетели, подобранные Третьим отделением, лыка не вяжут, то обвинение завязло. Конечно, опытные сенаторы и так сумели бы свести концы с концами, но тут, на их счастье, заговорил главный злоумышленник. Находка! Петерс предоставляет подсудимому некоторую свободу специально, чтоб тот, увлекшись, выложил суду новые улики и компрометирующие факты. Таким образом,

приговор будет опираться не на домыслы прокурора, а на признания самого подсудимого. А это уже победа обвинения! Кто же этот Георгий-победоносец, так храбро сражавшийся с гидрой революции? Сенатор Петерс! И его превосходительство примут в Зимнем как триумфатора. Держитесь, г. Мышкин!)

М. Г. первоприсутствующий! Я хотел привести эти примеры только для того, чтоб выяснить следующее: мы видим теперь, что в числе моих товарищей — девушка, намеревающаяся читать крестьянам лекции по социальным вопросам; юноша, давший книгу крестьянскому мальчику; несколько человек, рассуждавших о причинах народных страданий и высказавших такое мнение, что не худо бы, пожалуй, народное восстание, — все они привлечены к суду как тяжкие преступники. А лица, открыто возмущившиеся против государственной власти и усмиренные только при помощи штыков и розг, ссылаются в административном порядке. Как будто у нас говорить о бунте гораздо преступнее, чем участвовать в самом бунте! Этот абсурд очень понятен: представители другой, более страшной для правительства силы, силы народной, могли бы сказать на суде нечто более полновесное, более неприятное для государственной власти и более поучительное для общества, чем мы. Поэтому-то им и зажимают рот и не дают им возможности сказать свое слово перед обществом...

(Г. Мышкин опять хочет привести примеры, доказывающие усиление революционных стремлений в народе, но коварный «охотник» Петерс не дает «волку» уйти в сторону и уверенно гонит его к западне. Вот первый «капкан».)

II. Эти объяснения не относятся к вопросу о виновности, который я предложил вам. Я позволил вам говорить потому, что вы признали себя виновным в



принадлежности хотя и не к тому сообществу, в котором обвиняет прокуратура, но к другому или к партии...

М. Я не сказал, что признаю себя виновным, и не мог сказать этого, потому что, напротив, считал и считаю своей обязанностью, долгом чести стоять в рядах социально-революционной партии.

П. Ну да, вы признали себя членом партии и достаточно уже разъяснили свое преступление. Все остальное, что вы желаете сказать, вы можете изложить впоследствии.

М. Но для суда необходимо еще знать причины, вызвавшие данное политическое преступление. Об этих-то причинах я и желал бы сказать несколько слов. Возникновение социально-революционной партии относится к началу шестидесятых годов. Оно совершилось как отголосок на народные страдания и народные волнения, при участии известной фракции русской интеллигенции, благодаря главным образом двум причинам: во-первых, влиянию на интеллигенцию передовой западноевропейской социалистической мысли и крупнейшего практического применения этой мысли — образования Международного общества рабочих; во-вторых, уничтожению крепостного права... С каким восторгом, с каким ликованием приветствовало русское либеральное общество так называемые великие реформы нынешнего царствования! И что же мы видим в результате? Народ доведен до отчаянно бедственного положения, до небывалых хронических голодовок, и не нужно особенного политического радикализма, чтобы усомниться в благодетельности всех этих реформ для народной массы. Крестьянин, освобожденный от помещика, стал лицом к лицу с представителями губернской власти, увидел, что ему нечего надеяться на эту власть, нечего ждать

от нее, увидел, что он жестоко обманывался, веря в царскую правду, ища в ней опору против своих врагов...

П. Вы достаточно уже выяснили свою мысль...

(Ай-ай-ай, ваше превосходительство, как вас провели! Вы надеялись, что поймаете более крупную дичь, вы вовремя не «затянули петлю» и дали Мышкину возможность продолжать далее, и он при всем честном народе, под стенограмму, обосновал неизбежность революции в России. Поздравляю! Но отступить поздно. Без «жирной добычи» вам, ваше превосходительство, уже нельзя возвращаться, приходится начинать «гон» сначала.)

М. Я хочу только сказать, что крестьянам нетрудно было убедиться, что перевозимая, прославленная крестьянская реформа сводится к одному: к переводу более двадцати миллионов крестьянского населения из разряда помещичьих холопов в разряд государственных или, вернее сказать, чиновничьих рабов... Рядом с этим крестьяне, превратившиеся в орудие капиталистического производства, поняли всю прелесть так называемого свободного договора между голодным тружеником и сытым капиталистом, поняли также, что капиталист угнетает рабочего не только вследствие экономической несостоятельности последнего, но еще и благодаря тому, что в спорах между капиталистом и рабочим правительство всегда становится на сторону первого, — поняли это и не могли не отнестись с еще большей ненавистью к угнетающей их государственной власти...

П. Я не могу позволить вам порицать правительство!

М. Человек, совершающий политическое преступление, самым этим фактом уже порицает правительство. Я не могу вовсе разяснить моего преступления

и в особенности причины его, не касаясь таких сторон государственной жизни, которые, с моей точки зрения, заслуживают порицания. Если мое мнение ошибочно, оно повредит только мне. А если в нем есть правда, тем менее оснований зажимать мне рот.

П. Я не зажимаю вам рот, я говорю только, что не могу допустить порицать правительство.

М. Мне необходимо указать те элементы, из которых социально-революционная партия черпает свои силы...

(То есть кто кого «гонит», господа? Кто за кем «охотится»? Кто, спрашивается, ведет заседание суда? По-моему, «гонят» его превосходительство г. Петерса, да так стремительно, что, боюсь, не вылетит ли он в отставку после такого конфуза... «Будьте добры, г. первоприсутствующий, помолчите, я еще не кончил!» И сенатор это «проглатывает», а Мышкин спокойно продолжает крамольные речи. Только теперь, кажется, сенатор понимает, что ему «не до жиру, быть бы живу». Он пытается остановить оратора, но куда там! Г. Мышкин ведет заседание! Он еще делает первоприсутствующему выговор!)

М. В таком случае я не могу окончить того, что хотел еще сказать по главному вопросу. Перехожу к другим, более частным. Из обвинительного акта видно, что, по уверению прокурора, сообщество, в принадлежности к которому я обвиняюсь, поставило своей целью борьбу против религии, собственности, семьи и науки, возводило леность и невежество в степень идеала и сулило в виде ближайшего осуществления блага житье за чужой счет. Если бы действительно подтвердилось, что другие подсудимые задавались подобными целями, то я руками и ногами откrestился бы от солидарности с ними, и, чтоб очи-





стить себя от подобных обвинений, я выскажу свой взгляд на задачу социально-революционной партии по отношению к только что перечисленным мною вопросам.

Начну с религии... По нашим законам я, под страхом уголовного наказания, не могу перейти из православия в другое вероисповедание, следовательно, закон принуждает меня лицемерить.

П. Вы не можете порицать законов, и вообще, каковы бы ни были законы, они не подлежат нашему обсуждению.

М. Я констатирую только известный факт. Я говорю, что в желанном нам строе не должно быть такой силы, которая заставила бы людей насильно, под конвоем жандармов, шествовать в христианский или другой рай.

П. (возвысив голос). Я не могу дозволить таких выражений!

(Г. первоприсутствующий истошно кричит, как заяц в когтях у гончей. Уважаемый г. Мышкин! Не терзайте его превосходительство, отпустите сенатора на покаяние! Но «злоумышленник» г. Мышкин цепко держит несчастного Петерса за шиворот и продолжает мучить. С лица сенатора спала вся вальяжность, и он отбивается как может. Куда девались мудрость и рассудительность государственного мужа? Сенатор верещит, как рыночная торговка, которую уличили в мелком жульничестве. Кажется, сейчас он крикнет сакраментальное: «Сам дурак!»)

П. Нам нет дела до ваших убеждений.

М. А за что же я сижу, как не за убеждения?

П. Не за убеждения, а за действия.

М. За действия, которые служат только выражением моих убеждений. (Сенатора отшлепали и, как провинившегося мальчика, поставили в угол.) Пере-

хожу к другому обвинению, возводимому на нас всех прокуратурой,— в том, что мы возводили невежество в степень идеала. Это очевидная клевета, и мне не стоит ни малейшего труда опровергнуть ее. Приведу хоть одно соображение. Кого скорее можно считать ревнителем невежества: тех ли, кто с риском для себя печатает и распространяет хотя бы такие книги, как сочинения Лассалья, или тех, кто преследует, истребляет подобные книги?

П. Вы произносите защитительную речь, для которой теперь не время.

(Ошибаетесь, ваше превосходительство! Г. Мышкин выступает как прокурор, а господин первоприсутствующий чувствует себя на скамье подсудимых; там ему неудобно, он ерзает, а посему в глупой форме ставит вопрос, признает ли Мышкин себя виновным в распространении нелегальной литературы... Где уж тут мечтать о «жирной добыче»? Хоть шерсти клочок — утереться!)

М. Я признаю, что в качестве содержателя типографии я считал своей обязанностью по мере своих сил содействовать печатанию книг, запрещенных правительством, и прошу позволения теперь уже объяснить причины, побудившие меня к этому.

(Но г. первоприсутствующий ничего слушать не желают. Признайтесь хоть в чем-нибудь! — молит председатель суда, но г. Мышкин непреклонен: «Я не буду отвечать ни на какие ваши вопросы, прежде чем успею дать необходимые разъяснения по первым двум обвинениям»,— и садится. Первоприсутствующий достает кремовый платок и кладет его себе на лысину. Уф, отпустил супостат!

Вызывают свидетеля Гольдмана. Его превосходительство постепенно вспоминает, что он все-таки председатель суда. Голос сенатора обретает уверен-

ность и солидность государственного мужа. Г. Петерс даже пытается иронизировать. Но тут с «голгофы» (так прозвали возвышение, окруженное перилами, где сидят особо важные преступники) раздается грозный рык Мышкина. Охотник решил добить зверя! Г. Мышкин бесцеремонно вмешивается в ход судебного заседания. Первоприсутствующий затравленно озирается и втягивает голову в плечи. Итак, подсудимый изволит говорить, когда ему вздумается, а председатель суда лишь испуганно вздрагивает. Беспрецедентный случай в истории отечественного правосудия!

М. Хотя я на основании 729 ст. Уст. угол. суд. имею право требовать, чтобы мне было сообщено обо всем, бывшем на суде по первым одиннадцати группам, но так как я уверен, что подобное требование, несмотря на всю его законность, не будет уважено, то я считаю лишним обращаться с ним к суду. Но я прошу по крайней мере сообщить о тех наиболее важных частях судебного следствия, которые имеют непосредственное отношение ко мне как к одному из членов предполагаемого сообщества. Например, все подсудимые, следовательно в том числе и я, обвиняются в готовности к свершению всяких преступлений ради приобретения денег. Я желаю знать, подтвердило ли судебное следствие эти факты, на основании которых прокурор создал это обвинение.

(Надули, решительно надули г. первоприсутствующего. Он полагал, что будет иметь дело с человеком, измученным двумя годами одиночного заключения в крепости. Но, очевидно, Третье отделение, строя козни против ничего не подозревающего Петерса или сводя с ним личные счеты, тайно содержало Мышкина на курортах Карлсбада и Ниццы. Иначе откуда столько энергии у подсудимого?)



М. ...Я настаиваю потому, что, как известно, частным образом уже доказана судебным следствием лживость их, а следовательно, и лживость прокурорских выводов.

П. (возвысив голос). Прошу не употреблять подобных оскорбительных выражений.

М. О выяснении вопроса о праве моем на получение требуемых мною сведений — я желаю, чтобы прокурор объяснил, относится ли обвинение к готовности на всякое преступление в числе прочих подсудимых и ко мне?

(Далее Мышкин говорит, что в обвинительном акте не указаны даже улики, изобличающие его в этих преступлениях. Мышкин напоминает о правах подсудимого, предусмотренных законом. Во время этой длительной перепалки первоприсутствующий оживает и берет инициативу в свои руки.

Подсудимый совершил ошибку, заявляя о каких-то своих правах. На моей памяти у нас, в России, еще не случалось государственного политического процесса, исход которого не был бы predetermined заранее. Требование равных прав с обвинением — наивный лепет. Многоопытный Петерс сразу почувствовал себя в своей тарелке.)

П. Еще раз говорю, что, находя следствие по предыдущим группам не относящимся до вас, я не считаю нужным сообщить вам о нем.

М. В таком случае я теперь вынужден возразить на некоторые из прокурорских обвинений. Так, между прочим, в обвинительном акте сказано, что мы смотрим на науку как на средство эксплуатировать народ и склоняем учащуюся молодежь покидать школы. Я открыто признаюсь, что принадлежу к числу тех, которые не видят для революционера необходимости оканчивать курс в государственных школах.

Так как этот взгляд навлек на нас уже немало нареканий со стороны известной части общества, то я считаю необходимым объяснить, путем каких соображений я пришел к этому взгляду. Я предположил, что, если бы Россия в настоящее время находилась под татарским игом и во всех больших городах на деньги, собранные в виде дани с русского народа, существовали бы школы под ведением татарских баскаков, в этих школах читались бы лекции о великих добродетелях татарских ханов, об их блестящих военных подвигах, об историческом праве татар господствовать над русским народом и собирать с него дань...

П. Этот пример не идет к делу.

М. Г. первоприсутствующий! Я обладаю таким складом ума, что могу усваивать известное положение и доказывать справедливость его преимущественно только путем аналогий, сравнений. Поэтому прошу позволить мне окончить начатое сравнение, как вполне уясняющее мою мысль...

(Кто кому расставляет капканы? Кто кого ловит? Во всяком случае, пространное заявление г. Мышкина, мотивирующее отказ от всеобщего образования,— вещь рискованная. Г. Петерс надеется, что подсудимый запутается, и разрешает ему продолжать.)

М. Итак, если бы в этих школах история излагалась таким образом, чтобы доказать неспособность русского народа к самостоятельной жизни, и все обучение было бы направлено лишь к тому, чтобы создать из русских юношей верных, покорных слуг татарских ханов, то спрашивается: была бы необходимость оканчивать курс в подобных школах для той части русской молодежи, которая желала бы посвящать все свои силы делу воодушевления русского на-

рода в дружной, единодушной борьбе против отъявленных врагов ее? Конечно, нет...

Затем в обвинительном акте говорится, что сущность революционного учения заключается в том, что «лишение ближнего его собственности и уничтожение власти, которая сему препятствует, есть формула осуществления если не всеобщего, то нашего личного (пропагандистов) блага на земле». Я, признаюсь, не знаком с этим революционным учением. Учение, которого я придерживаюсь, гласит, напротив, что обеспечение трудящемуся человеку права полного пользования продуктом его труда и уничтожение власти, которая сему препятствует, безусловно необходимы для осуществления на земле блага трудящихся классов. Можно ли серьезно называть охранительницею собственности ту самую государственную власть, которая насильственно присваивает себе право налагать на народ какую угодно контрибуцию, взysкивать эту произвольно наложенную дань при помощи военных команд, отнимать последний кусок хлеба у крестьянина?

(Все! Его превосходительство больше ничего не желают слушать. В полнейшей истерике сенатор кричит, что не может допустить порицания правительства. Поздно, господа, поздно! Первоприсутствующий жестоко оскандалился: он допустил не только порицание правительства, а дал возможность подсудимому произнести заранее подготовленную речь. Мысленно г. Петерс молит бога, чтоб подсудимый замолчал, ибо сам остановить г. Мышкина не в силах. Чур меня, чур меня, изыди, сатана! Но Мышкин наседает, он заявляет о незаконных, насильственных мерах, которые были против него приняты после предварительного ареста. В якутской тюрьме подсудимого заковывали в кандалы, не давали воды. Первоприсутствующий

щему нечего возразить, и он лишь отрещивается: этого не может быть, это — голословное заявление. Мышкин возвышает голос: «Меня подвергали пыткам!» А вконец растерявшийся председатель суда бормочет, что, дескать, эти меры были приняты против вас на дознании: «Особому присутствию не подлежит рассмотрение действий лиц, принимавших эти меры». Ну и ну! При таком конфузе председателя суда даже у жандармских офицеров, привыкших ничему не удивляться, покраснели уши.)

М. Итак, нас могут пытать, мучить, а мы не только не можем искать правды, — конечно, я не настолько наивен, чтобы ожидать правды от суда и различных властей, но нас лишают даже возможности довести до сведения общества, что на Руси обращаются с политическими преступниками хуже, чем турки с христианами.

П. (имитируя глухоту). О каких таких пытках вы говорите?

М. Да, я смело могу сказать, что нас подвергали пыткам. Я указал на кандалы, но это пустяки в сравнении с другими мерами, которые принимались для вымучивания от нас показаний. Например, я в течение нескольких месяцев лишен был права чтения каких бы то ни было книг, даже духовного содержания, даже евангелия, и жандармский офицер откровенно говорил мне: как только я дам требуемые показания относительно предполагававшихся моих соучастников, то мне немедленно позволят иметь книги, газеты, журналы.

П. Ваше заявление опять-таки голословное. (Чур меня, чур меня, изыди, сатана!)

М. Я подавал несколько жалоб на это беззаконие, но они почему-то не приложены к делу, а спрятаны под зеленое сукно. Сидеть в одиночном заключении

без всяких книг — это очень тяжелая, очень сильная пытка. Можно ли удивляться, что в нашей среде оказался такой громадный процент смертности и сумасшествия? Да, многие, очень многие из наших товарищей сошли уже в могилу, не дождавшись суда.

П. Теперь не время и незачем заявлять об этом.

(А когда и где? Когда и где заявлять об этом, если не на суде? И такое лепечет Петерс, самый многоопытный и хитроумный из сенаторов! Г. Мышкин доконал старика.)

М. Неужели мы ценой продолжительной каторги, которая ждет нас, не купили себе даже права заявить на суде о тех насилиях, физических и нравственных, которым подвергали нас? На каждом слове об этом нам зажимают рот.

П. Тем не менее вы высказали все, что хотели.

М. Нет, это еще не все. И если позволите, я кончу.

П. Нет, теперь этого не могу позволить.

М. В таком случае, после многочисленных прерывов, которых я удостоился со стороны первоприсутствующего, мне остается сделать одно, вероятно последнее, заявление. Теперь я окончательно убедился в справедливости мнения моих товарищей, заранее отказавшихся от всяких объяснений на суде, того мнения, что, несмотря на отсутствие гласности, нам не дадут возможности выяснить истинный характер дела. Теперь для всех очевидно, что здесь не может раздаваться правдивая речь, что здесь на каждом откровенном слове зажимают рот подсудимому. Теперь я могу, я имею полное право сказать, что это не суд, а простая комедия или нечто худшее, более отвратительное, более позорное, чем дом терпимости: там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов

и крупных окладов торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества!

В то время, как г. Мышкин произносил последние фразы, наше справедливое правосудие, не надеясь более на свое ораторское искусство, обратилось к самому надежному приему полемики. «Уведите его!» — закричал Петерс. Жандармы бросились на «голгофу», подсудимые Рабинович и Стопани пытались их остановить, задержать. Началась свалка. Жандармский офицер, добравшись до Мышкина, зажимал ему рот рукой — в буквальной смысле этого слова. Общими усилиями жандармов и приставов Мышкина выволокли из зала. Достославная победа российской юстиции!

Что происходило в зале! Публика вскочила с мест, несколько женщин упало в обморок, с одной случился истерический припадок. Со всех сторон неслись крики: «Это не суд!», «Мерзавцы!», «Боже мой, что они делают!», «Варвары!», «Бьют, колют подсудимых», «Палачи, живодеры проклятые!» Тотчас же появилось множество полицейских, и под их напором публика была вытеснена из зала. Во время этой расправы первоприсутствующий, присяжные, прокурор и секретарь встали и, совершенно обескураженные, тихо удалились в совещательную комнату, забыв объявить заседание закрытым.

Госпожа Н., жена известного профессора, лишилась чувств. Мы отнесли ее в комнату защиты, туда же сунулся жандармский офицер.

— Что вам нужно? — спросил я его.

— Может быть, понадобятся мои услуги?

— Уйдите, пожалуйста! — сказал я. — Один ваш вид приводит людей в бешенство.

Офицер махнул рукой и ушел. Потом нас пригласили к первоприсутствующему. Защита потребовала

составления протокола о кулачной расправе, но председатель суда набросился на нас, обвиняя адвокатов в подстрекательстве, а господин Желяховский воскликнул:

— Это чистая революция!

\* \*  
\*

Говорят, правительственный стенограф Лаврушкин тайком продает расшифрованную запись речи г. Мышкина по двадцать пять рублей за экземпляр, причем хвастается своим знакомством с подсудимым. Мышкин в зале суда больше не появляется. Ходят слухи, что его запрятали в Петропавловскую крепость.

\* \*  
\*

23 января 1878 года. Закончилось это позорное ристалище. Председательствовал сенатор Ренненкампф. При чтении приговора г. Петерса даже не было среди судей. Он якобы болен. Как и ожидалось, его превосходительство попал в немилость. Ему не простили речи Мышкина.

\* \*  
\*

15 ноября 1884 года. С грустью перевернул страницы дневника. Господи, как давно это было! Ровно семь лет прошло, день в день. Не верится, что такое могло происходить. Увы, господа, почему мы не ценили либеральной свободы того времени? Зачем, спрашивается, надо было лезть на рожон? Г. Мышкин трагически ошибался: не было на Руси социально-революционной партии, не было народного движения, были

лишь иллюзии честных господ интеллигентов вроде г. Мышкина. Но на смену «народникам» пришла горстка оголтелых террористов, на чьей совести кровь безвинно убиенного государя-императора. Именно террористы виноваты в провале радикальных реформ. Правительство озлоблено, реакция свирепствует. Вчера в Цензурном комитете г. Лаврушкин устроил мне разнос за статью, опубликованную в «Вестнике». Нынче даже о всеобщем народном образовании рассуждать не дозволено. Я с тоской всматриваюсь в мрачные горизонты русской общественной мысли. Все заволочено свинцовыми тучами, ни единого просвета. Приходится перебиваться уголовными делами да купеческими тяжбами. Председатель суда обрывает тебя на каждом слове: не дай бог проскользнет намек!

Несколько лет назад я защищал студента, обвиняемого в распространении брошюры, содержащей речь г. Мышкина. Студент называл эту речь своим евангелием. Подсудимому дали два года ссылки. Я искренне жалел беднягу, но чувство негодования переполняло мою душу: конечно, господ народники — люди по-своему честные, но зачем вовлекать незрелые умы в хаос безнадежной политической борьбы? Ведь перед нами стена, господа! Нет, милостивые государи, Россия еще не созрела до европейской демократии. Правительство Александра III энергичными мерами предотвратило народные бунты и гражданскую междоусобицу. Не будем предаваться розовым мечтаниям, скажем «спасибо» и за это. Худобедно, но пока у нас есть возможность какой-то деятельности, приличного заработка, пристойного существования. Страшно подумать о судьбах интеллигенции, страшно подумать о той бездне, в которую покатились бы Россия, если бы восторжествовали рево-



люционеры, подобные г. Мышкину! Надеюсь, урок семидесятых годов пойдет нам впрок. Правительство знает свой народ и пользуется его полной поддержкой. Торопить события, подражать Западу — преступно. Дальнейший путь страны я вижу в единении, просвещении и экономическом развитии. Только так мы постепенно придем к либеральному обществу.

Кстати, дневник надо припрятать куда-нибудь подалее. На дачу? В сундук к старым бумагам? Ежели случится обыск, то только на городской квартире. А найдут стенограмму — по головке не погладят.

Любопытно, где сейчас пребывает г. Мышкин? Скоро истекает срок определенного ему наказания. Надеюсь, он образумился...

#### ОТ АВТОРА:

Как замечает советский историк В. С. Антонов, «знаменитая речь Мышкина на суде оказала влияние на все последующие поколения революционных народников, и не случайно имя Мышкина на определенный период являлось знаком революционеров».

Возможно, нынешнему читателю трудно представить себе истинное значение речи Мышкина для того времени. Но вот как встретили выступление Мышкина его современники (не псевдолибералы типа Куманькова, а настоящие революционеры).

В эмигрантском журнале «Община» писатель-народник Сергей Кравчинский (Степняк-Кравчинский) опубликовал статью: «Желева. Февраль 1878 г.». Основное место в статье он отводит большому «процессу 193-х», указывая,

что последние события в России, включая выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника генерала Трепова,— следствие этого процесса. Главного героя процесса, Мышкина, Кравчинский рисует как «железного человека, исполненного громадной силы...».

«Вот подсудимый заговорил,— пишет Кравчинский,— лица бледнеют, глаза зажигаются. Во всей зале чувствуется та лихорадочная, электрическая атмосфера, которую создает в своей аудитории только великий оратор, вдохновленный великой идеей...

Но чем глубже интерес, возбуждаемый речью, тем большую тревогу вызывает в душе неотступная мысль о том, что вот-вот прекратится эта блистательная речь, потому что все чувствуют, что она вся — горсть драгоценных жемчужин, нанизанных на тонкую паутину. Один взмах грубой руки — и разорвется она, и осыплются, чтобы кануть в бездонную пропасть, эти драгоценные жемчужины»...

Кравчинский подсчитал, что председатель прерывал оратора двадцать семь раз.

Заключительные слова Мышкина: «...это по суд, а пустая комедия или нечто худшее, более отвратительное, более позорное, чем дом терпимости: там женщины из-за нужды торгуют своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества...» — Кравчинский определяет как приговор царскому суду.

«Да, вы победили, братья,— заканчивает статью Кравчинский.— Силой вашего убеждения, вашей преданности и самоотверженности

**вы восторжествовали над всемогущим врагом! Ликуйте, дорогие братья, ибо по всему миру разнеслась уже радостная весть о вашей победе, о светлой победе духа над деспотизмом и грубой силой!»**

**Но может, Кравчинский, человек экспансивный, слишком восторжен и оптимистичен в своих выводах?**

**В эти же дни Фридрих Энгельс пишет: «Мы имеем налицо все элементы русского 1789 года, за которым неизбежно последует 1793 год».**

## Часть вторая

### 1

**В** девяти годах его заключения была своя последовательность — стабильное, с некоторыми всплесками вольности, ухудшение условий содержания плюс усиление строгости режима. Этот постепенный переход даже представлялся зрительно — от белых ночей якутской тюрьмы до мрака Шлиссельбургской крепости. Причем если рассматривать различные этапы в отдельности, то каждый период на первый взгляд заканчивался победой Мышкина — голодовками, протестами, непрерывными стычками с администрацией он завоевывал для заключенных какие-то свободы, — но в конечном итоге выяснилось, что лично для него все шло от плохого к худшему. Графически (если начертить таблицу) это бы выглядело непрерывным движением вниз...

Якутский острог с разбойничьими правами администрации сменился «респектабельным» Трубецким бастионом Петропавловской крепости. Просторная камера, электрический звонок для вызова смотрителя. Лучше? Бесспорно. Но из якутской тюрьмы он мог выйти через год и на поселение, а из Трубецкого бастиона дорога вела прямо на каторгу.

Скитания по центральным, предварительным тюрьмам, карийская каторга... С Кары он бежал, был пойман и в конце концов снова очутился в Петропавловской крепости. Гнилой воздух Алексеевского равелина, ревматизм, цинга, простуды. Отчаянная борьба за жизнь.

Теперь его перевели в «комфортабельную могилу» Шлиссельбурга. Отсюда еще никто не выходил живым.

В течение девяти лет он мечтал об освобождении. И если эти мечты временами казались нереальными, то он ставил перед собой конкретные ближайшие задачи. В Якутске он жаждал перевода в столицу, потому что хотел увидиться с товарищами и принять участие в общей борьбе. В Трубецком бастионе он готовился к суду, на котором решил дать открытый бой правительству. В Новобелгородском центре он копал подземный ход. На Каре удалось организовать побег. В Алексеевском равелине были возможны «переговоры» с товарищами, все, как могли, поддерживали друг друга.

Шлиссельбургские стены отгородили его от всего живого (в четвертый раз он берет сочинения Кукольника, судорожно листает страницы и нигде не находит ни одной надписи — молчит тюрьма). Осталась слабая ниточка, связывающая его с жизнью, — приглушенный, робкий ночной перестук с Поповым.

Так чего ждать? На что надеяться?

...Он подходит к стене и перечитывает параграф инструкции:

«За преступления заключенные судятся военным судом, применяющим к ним постановления Устава о ссыльных, за тяжкие же преступления, указанные в 279 ст. XXII кн. св. воен. пост., а также за оскорб-

ление действием начальствующих лиц суд применяет к ним высшую меру наказания, этой статьей определенной, — смертную казнь».

Может, это единственный достойный выход? Умереть, так с музыкой: разбить рожу жандармам, плюнуть в морду палачам! Все-таки человеческий, действительный поступок... Иль «колодой гнить, упавшей в ил»?

Лязгает засов, дверь отворяется.

— Деятнадцатый, в баню!

Мышкина ведут на первый этаж. Рядом с кордегардией — ванная комната. В печи потрескивают дрова, в комнате не очень тепло, но, во всяком случае, нет такого промозглого холода.

Банный день — развлечение, праздник для арестантов. Но даже тут администрация не упускает случая поиздеваться над человеком. В то время как Мышкин плещется в воде, мылит шею, голову, напротив на табурете сидит унтер — чурбан в полной форме — и тупо рассматривает голого Мышкина. Почему? Какая в этом надобность?

Почему дежурный прилипает к глазку, когда ты справляешь свою естественную нужду? Почему при переводе из одной тюрьмы в другую тебя раздевают догола, ощупывают, рассматривают, и при сем присутствуют еще человек пять, у которых, кажется, нет иных дел? Почему в камере не разрешают носить брюки? Или в подштанниках сложнее перемахнуть через крепостные стены? Стоп. Остановись. Мучиться над этими вопросами, искать логику в поступках администрации — значит заранее примеривать на себя смирительную рубашку. Во всех этих глупостях, бессмысленных унижениях кроется продуманная система: превратить его в вещь, безгласный, казенный предмет, послушный начальству.

«Прелести» этой системы он ощутил в якутской тюрьме. Его заковали в кандалы не из опасения, что он может убежать, — мстили за строптивый характер, за требование обращаться к нему на «вы». Когда на ногах образовались ссадины, нагноения, ему отказали в просьбе надевать чулки, и это было в отместку за «не желаю отвечать».

«Титова-Мещерянова» допрашивали ежедневно. Следствие хотело выяснить имена сообщников, явки, подпольные квартиры революционных кружков в центральной России и Сибири. Но не только. Несговорчивого арестанта приучали к сознанию того, что отныне у него не должно быть чувства человеческого достоинства. Иначе — иначе сотрем в порошок, придушим втихомолку.

Смотритель якутского острога то грозно шипел, то мягко ворковал и все уговаривал, уговаривал «Титова» признаться, не противиться, не гневить прокурора. Смотритель нервно теребил бороду, глаза его прыгали, избегая прямого взгляда Мышкина, а Мышкину казалось, что сейчас в этом чиновничьем лице неожиданно проглянут черты того наглого уголовника с Бадазанковской станции и, сбросив служебную маску, смотритель, посмеиваясь, скажет:

«Тут тюрьма, барчук, привыкай поворачиваться, ежели ребра дороги. А то заснешь — мы тебя причешем».

Ночью Мышкин настороженно прислушивался к тюремным шорохам, боялся, что, когда он заснет, они ворвутся в камеру и избьют его до смерти. Он был в их власти. Некому жаловаться. Ночные кошмары усиливались. Опять началась бессонница. Смотритель, наверно, догадывался о муках заключенного и выжидал, когда «плод созреет» и арестант сам упадет на колени.

Однажды утром Мышкин потребовал бумаги и чернил. Тотчас прибежал смотритель. Он довольно урчал.

«Его высокородию Г. Исправляющему должность прокурора Якутской области,— писал Мышкин (нетрудно вспомнить тексты своих заявлений и писем, ведь они мысленно составлялись не один день и не одну ночь).— В отмену прежних моих объяснений о моем звании, имени, отчестве и фамилии, данных комиссии двадцать третьего прошлого июля, имею честь объяснить, что зовут меня Ипполит Никитич Мышкин, звание — домашний учитель; я состоял правительственным стенографом при Прокуроре Московской судебной палаты и постоянным репортером «Московских ведомостей», содержал типографию, помещавшуюся в Москве сначала на Тверском бульваре в д. Полякова, а затем на Арбатской улице в д. Орлова, где она и опечатана властями в первых числах июня 1874 г. за нарушение законов о печати. Мои фотографические карточки и образцы моего почерка имеются в Московском жандармском управлении...»

Смотритель выхватил исписанный лист, жадно впился в него, и вдруг лицо его скривилось. Он понял, что эта «добыча» ему не по зубам. Улетела птичка. Кислая, подобострастная улыбка проступила на пофрасневшем лице чиновника.

В тот же день с Мышкина сняли кандалы. Следственная комиссия заговорила с ним почтительно и осторожно. Сам губернатор соизволил посетить его камеру с приватной, душевспасительной беседой. На всех этапах следования от Якутска до Петербурга сопровождающий Мышкина жандарм был вежлив и предупредителен. Более того, он проявил трогательную заботу о здоровье арестанта... Привыкли подли-



чать и холопствовать перед любой важной персоной, даже если это — преступник.

Он обманул якутских тюремщиков, он вырвался из их когтей, но какой ценой! Шеф московских жандармов мог удовлетворенно потирать руки.

В каждой очередной тюрьме, упорно конфликтуя с местной администрацией, Мышкин сохранял достоинство и... неуклонно поднимался по этой страшной иерархической лестнице: из злоумышленника, переодевшегося в жандармский мундир, он превратился в политического заговорщика, потом в главаря революционеров, потом в опаснейшего устроителя побега, потом в важнейшего государственного преступника. Уже не шеф всего жандармского корпуса, не министр внутренних дел — сам император российский распорядился его судьбой. Блистательная карьера!

...Мышкин вылез из ванной, отряхнулся (жандарм поморщился, — видно, капли попали на лицо), накинул на плечи узкое полотенце и, весело напевая, стал вытираться. Пусть унтер любитесь! Думает Мышкина вывести из равновесия, унижить? Не на такого напал! На все надо смотреть философски: может, ежедневно царю на стол вместе с нотой английского посла и меморандумом Бисмарка ложится донесение, что, мол, сегодня девятнадцатый номер соблаговолил помыться. Такое внимание почетно солдатскому сыну.

Из Якутска, в самом начале своих страствий по тюрьмам, он написал письмо брату Григорию. Помнится, там были такие строчки:

«...Содержусь в секретной одиночной камере, облачен в серый арестантский халат с бубновым тузом на спине и закован в кандалы. Судьба, как видишь, подшутила надо мной: я, враг всяких привилегий,

очутился в привилегированном положении,— кроме меня, нет в тюрьме никого в кандалах, один я кандалник».

Кандалы к этому времени сняли, но он еще не успел привыкнуть к «привилегиям», которые ему давала слава важного преступника, и опасался, что в любой момент его закуют снова. К тому же, сообщая о своих злоключениях, Мышкин рассчитывал оказать чисто психологическое давление на администрацию. Конечно, следственная комиссия прочтет письмо, так пусть знает, что о фактах произвола будет известно на воле. Наивная попытка бороться с властями законными средствами! Власти тут же преподали ему наглядный урок (правда, об этом он узнал много позже): письмо никуда не отправили, а просто подшили к делу.

Итак, все жалобы по инстанциям, законные требования, призывы к справедливости, к совести, к человечности равным счетом ни к чему не приводят, разве что дают повод администрации позубоскалить над трепыхающимся в бессильном гневе арестантом. В принципе администрация мечтает, чтобы все беспоконные заключенные скорее передохли: с ними одна морока, волнения, а подохнут, так жизнь у начальства полегчает. Потерять работу, остаться не у дел — этого не боится ни один смотритель. Российские тюрьмы никогда не пустовали! Администрация с удовольствием пошла бы навстречу желанию заключенных наложить на себя руки, помогли бы намылить веревку, указали бы крюк попрочнее, но при одном условии: если заключенный будет паинька и совершит все тихо, чтоб тюремщикам не попало от вышестоящих властей. Вот где уязвимое место администрации: ей наплевать на жизнь и здоровье заключенных, но совсем не безразлична своя собственная.

жизнь и служебное положение. Если голодовка или самоубийство получают огласку, то высокое начальство сочтет это за недосмотр. И поневоле тюремщики проявляют некоторую заботу о заключенных. Законные средства затем и придуманы, чтобы администрация сама собирала письменные жалобы арестантов и прятала их под зеленое сукно. Отсюда мораль: только громкий скандал, только обращение через голову тюремной администрации в высокие инстанции (и в этом тоже заложена вероятность огласки) — вот единственный путь для заключенных добиться положительных результатов.

...Высказался? Теперь походи и для успокоения «продолжи» неотправленное письмо.

«...Но ты не поддавайся тяжелому впечатлению, которое могут произвести только что написанные строки. Ведь я знал, на что иду, я давно уже примирился с мыслию о неизбежности того положения, в каком я нахожусь в настоящее время и какое еще ждет меня впереди. Поэтому я хладнокровно переняю свое тюремное заключение и, надеюсь, не менее хладнокровно отправлюсь в путь по той длинной-длинной, давно уже проторенной дорожке, по которой ежедневно шествуют тысячи бедного русского люда. Я желал бы также, чтоб ты и в особенности маменька не представляли себе моего положения в слишком мрачном свете. Стоит только сравнить мое настоящее не с моим прошлым, а с судьбой большинства российских граждан, чтоб убедиться, что я не имею никакого особенного права слишком хныкать, слишком жаловаться на свою долю. Не знаю, что будет дальше, а теперь у меня есть квартира, теплая одежда, кусок хлеба, порция горячих щей и несколько старых номеров журнала Министерства юстиции. А велико ли количество россиян, которые могут похвастаться

лучшею материальной обстановкой? И напротив, сколько есть людей, у которых не только щей, но и хлеба-то порядочного не всегда найдется!.. Постарайся подготовить маменьку, чтоб судебный приговор, который будет произнесен надо мною, не произвел на нее слишком тяжелое впечатление. О настоящем же моем положении лучше до поры до времени вовсе не говорить ей: пусть лучше думает, что я еще благодухествую в какой-нибудь неизвестной стране...»

...Отца он не мог помнить. Писарь 85-го Выборгского полка Никита Мышкин погиб в Венгрии в 1848 году, за месяц до его рождения. Мать была доброй, хозяйственной, вечно озабоченной тем, чтобы досыта накормить своих двух мальчиков, которые появлялись дома только во время каникул в кантонистской школе. Мать подрабатывала стиркой у соседей. Еще находясь на службе при генеральном штабе, Мышкин начал регулярно посылать домой часть своего скромного жалования. Из Москвы он стал переводить значительные суммы и был очень доволен, что освободил маменьку от поденщины, дал возможность купить свой дом в Новгороде. В Новгороде маменька жила вместе с Григорием. Мышкин приезжал туда дважды, радовался, находя маменьку в полном здравии, интересовался, достаточно ли денег, не нужно ли чего еще, дня три проявлял к ней чрезвычайное внимание, а потом замыкался в себе, откровенно скучал: его звали московские дела и заботы.

Когда в кордегардии мценской пересыльной тюрьмы он увидел сгорбленную старушку, которая, всхлипывая, бросилась ему навстречу, он понял, что маменьке ничего от него не нужно — ни денег, ни посылок, ни дома, — лишь бы он был жив и здоров.

«Пусть лучше думает, что я еще благодухествую

в какой-нибудь неизвестной стране». В мценской пересылке он очутился случайно: за пощечину зрителю Копнину ему грозила смертная казнь. Спасло чудо: неожиданно над Россией повеяли либеральные ветры.

Обнимая, успокаивая плачущую старушку, он впервые почувствовал, на какие страдания он обрекал мать.

Изверги, нельзя даже послать ей весточку! Он бы сочинил веселое письмо, с юмором бы расписал свое беззаботное существование. Знает ли маменька, куда его запрятали? Вряд ли. Но зато ей известно, что о смерти сына сообщат, а пока молчит канцелярия — сын жив.

...От двери к окну, от окна к двери, след в след. В Трубецком бастионе было просторнее. Хочешь — меняй маршрут, пересекай камеру наискосок.

...В Петропавловке узники имели возможность следить за временем. Каждые четверть часа на колокольне крепостного собора куранты играли «Господи, помилуй!». Часы отбивал большой колокол, а куранты вторили «Коль славен». В полночь с колокольни неслось «Боже, царя храни». При сильном ветре куранты расстраивались, и какая получалась какофония! Музыкальная тюрьма!

После Якутска его три дня допрашивали в петербургской предварилке, но с 14 февраля семьдесят шестого года, поместив в Петропавловку, больше не трогали. Следствие как будто забыло про Мышкина. Бездействие и неопределенность сначала угнетали и давили, а потом превратились в сущую пытку.

Он ждал вызова в канцелярию, он готовился к встрече со следователем, он прикидывал, какие ему

расставят ловушки в ходе допроса и как он хитро их обойдет. Он придумывал саркастические ответы, гневные обличения. Мысленно он уже загонял в угол неповоротливого чиновника, и тот, обливаясь потом, молил о пощаде... Логика его рассуждений была непроверяема. Каждый свой тезис он иллюстрировал десятками фактов: да, да, господа, революция неизбежна, спасти страну от кровопролития могут только радикальнейшие реформы, и в первую очередь освобождение всех политических заключенных. Следовательно — это враг, но столкновения, споры с врагом есть борьба, действия, жизнь!

Угасало окно. Дежурный входил в камеру и зажигал керосиновую лампу. В полночь стреляла пушка и куранты; фальшивя, вызванивали «Боже, царя храни», и это означало, что прошел еще один день и он, Мышкин, никому не нужен, много пройдет таких дней, а вдруг так будет вечно? Господи, с ума можно сойти! И, словно угадав его мысли, куранты играли «Господи, помилуй!».

Но Чернышевский написал в крепости «Что делать?»...

Мышкин торопливо нажимал на звонок, прибегал смотритель. «Бумаги, чернил!» — «Запрещено». — «Газеты, книги!» — «Не положено». — «Хоть что-нибудь читать!» И Мышкину приносили старые военноморские журналы.

Целые дни он проводил на койке, почти не ел, чувствовал безразличие и апатию ко всему на свете.

Как потом он узнал, через эту болезнь проходили все узники «одиночек». К весне кризис кончился. Теперь ежедневно он отсчитывал по камере десять тысяч шагов, делал зарядку, обливался холодной водой.

Однажды он услышал легкое постукивание через стену — и быстро освоил тюремную азбуку.

В крепость привезли большую партию заключенных. К июлю все камеры Трубецкого бастиона разговаривали между собой.

Год прошел в ожесточенной борьбе с администрацией. Мышкин часто попадал в карцер, но, выйдя оттуда, продолжал разрабатывать новую методику действий, засыпал канцелярию письменными жалобами, в которых высмеивал тюремные порядки. Составление жалоб развлекало, одновременно он оттачивал сатирический слог.

Утром тринадцатого апреля 1877 года в его камеру вошел смотритель, держа в руке свернутое трубочкой очередное сочинение Мышкина (в этой жалобе Мышкин «погулял» вволю: разбирая вполне серьезно характер и деловые качества смотрителя, он рекомендовал управлению использовать старого служаку для работы в крысином питомнике. Мышкин отмечал некоторую способность смотрителя к дрессировке животных, но для общения с людьми смотритель, по мнению Мышкина, решительно не годился). Сейчас смотритель выглядел человеком, оскорбленным в лучших своих чувствах, и Мышкин приготовился выслушивать «жалкие слова» и упреки.

— Издеваетесь, милостивый государь,— сказал смотритель скорбным голосом.— Нашли себе забаву— травить старика. Известно ли вам, что наши войска перешли турецкую границу? На Балканах льется русская кровь! Не с теми воюете, господин хороший!

Не дождавшись ответа, смотритель захлопнул за собой дверь.

Известие о войне внесло бурное оживление в тюремную жизнь. Откровенный перестук не прекращался даже ночью, причем начальство смотрело на это сквозь пальцы. (Впоследствии, сопоставив факты, Мышкин вывел одну закономерность в поведении тюремного персонала: даже жандармские унтеры, у которых никогда нельзя было узнать, какое сегодня число, охотно передавали вести из армии, — очевидно, они имели специальное разрешение.) Война разбила заключенных Петропавловки на два лагеря. Одни приветствовали этот шаг правительства, другие считали, что правительство решилось на войну, чтобы сбить революционные настроения в стране. Несколько человек, которые имели свидания с родственниками, передавали по тюремному телеграфу сенсационные новости: Россия охвачена энтузиазмом, молодежь поголовно записывается в волонтеры.

У Мышкина отношение к войне было двойственным. С одной стороны, события на Балканах отвлекут внимание народа от внутренних проблем (и известия с воли это подтверждают), но с другой стороны, война-то справедливая! Русские солдаты освобождают братьев-славян от многовекового турецкого ига, от угрозы поголовного истребления. Ведь турецкие башибузуки устроили в Болгарии кровавую резню беззащитного населения.

Сложная дилемма. Получается, что мы восстаем против правительства, которое в данный момент выполняет благородную миссию. Конечно, когда в стране разгар «патриотических» страстей, властям легче расправиться с революционерами. Однако любой, самый радикальный кабинет министров-республиканцев не мог бы не одобрить политики русского императора на Балканах.



Не означает ли это конец революции в России? Главари движения, окажись они сейчас на воле, вряд ли найдут поддержку в народе.

Вот как все хитро переплетается, думал в те дни Мышкин. Будь правительство поумнее и предложи оно политическим заключенным амнистию, с тем чтобы те немедленно отправились на фронт, так пошли бы, многие пошли (вот сосед Мышкина, Сажин, который в казематах Петропавловки заболел чахоткой, и тот заявил, что хотел бы стать волонтером). На патриотизме и чувстве справедливости можно ловко сыграть. И доблестный солдат Мышкин будет воевать за независимость болгарского народа... и тем самым приумножать славу царя и его храбрых генералов, которые собственную страну превратили в полицейский застенок.

Много позже, когда поползли слухи о неудачах русских войск под Плевной, о чудовищных кражах в интендантстве, об огромных потерях в армии, Мышкин понял, что надо было осуждать войну. Самая справедливая война из-за неспособности правительства, бездарности администрации, развала экономики оборачивается для народа морем крови, десятками тысяч напрасно отданных жизней (вспомнили слова подполковника Артоболевского: «Нас побили англичане и французы — за кем теперь очередь?»). А главное, надо искать истинные причины, ради чего правительство отважилось на войну. Конечно, русскому царю лестно прослыть освободителем славян. Однако в военном отношении мы отстаем от Европы лет на двадцать, — значит, сколько солдат должно погибнуть понапрасну! Напрашивается вывод: первое — царю наплевать на свой народ, во-вторых, развязав войну, он хотел погасить революционный пожар в собственной стране, — значит, не ради справедливости и

братства, а по спекулятивному расчету он двинул армию на Балканы.

Но все это не так просто. Ведь Болгария получила свободу...

В мае того же года Мышкину объявили, что он официально предан суду, а через несколько дней его повели в канцелярию.

На длинном столе были аккуратно разложены толстые, объемистые папки. У дверей стояло двое часовых в медных касках и с ружьями. Смотритель объяснил, что Мышкин может ознакомиться с материалами следствия по своему делу, и любезно указал ему папку, на обложке которой было написано: «Ипполит Мышкин. Домашний учитель. Предварительное следствие». Мышкин придвинул стул и принялся за чтение.

Через некоторое время одного за другим ввели ещё четырех заключенных. Каждый здоровался с Мышкиным за руку, называл себя, но дальнейший разговор смотритель прерывал. Заключенных рассадили по разным концам стола, и в канцелярии воцарилась тишина, нарушаемая только шелестом перерачиваемых листов.

Полистав папку, Мышкин обнаружил свое неотправленное письмо к Григорию, протоколы допросов служащих его типографии, затем углубился в обвинительное заключение.

«Дворянка Елизавета Ермолаева и жена штаб-капитана Фетисова,— читал Мышкин,— признаются виновными в том, что, не принадлежа к противозаконному сообществу, но зная о деятельности оно́го и имея возможность довести о нем до сведения начальства, не исполнили сей обязанности».

«Вот как,— подумал Мышкин,— донос вменяется в обязанность российским подданным».

Приближающиеся быстрые шаги отвлекли его внимание. Он поднял голову: рядом с ним, бледная, улыбающаяся, стояла Фрузя Супинская...

...Каждый раз, когда гремит дверной замок, мелькает сумасшедшая мысль (это длится одно мгновение), надежда на чудо (а на что еще надеяться человеку, приговоренному к двадцати пяти годам каторги?): вдруг сейчас смотритель со скабресной улыбкой поведет его через кордегардию мимо прогулочных двориков к белому управленческому зданию? Он переступит порог канцелярии и увидит девушку с бледным лицом, с серыми лучистыми глазами... Вдруг известие о смерти Супинской было ошибкой? Увы, чудо того майского дня не повторится.

«Девятнадцатый, на прогулку!» — гнусавит смотритель простуженным голосом, и на поясе под растегнутой шинелью позвякивает связка ключей. Унтер бросает ватные штаны, и, пока Мышкин их натягивает, смотритель бубнит над ухом:

— Услышу стук — лишу прогулок. Карцера давно не пробовал, девятнадцатый? Не понимаешь хорошего отношения...

Ему тридцать седьмой год. Лучшая пора его жизни похоронена в тюрьме. В его возрасте люди обычно обретают спокойствие, семью, прочное служебное и материальное положение, их путь ясен и определен: впереди чины, награды,— ну, а если ты неудачник, тяни лямку до пенсии...

Шестнадцать лет ему сидеть в Шлиссельбургской крепости и ежедневно выслушивать гнусавые проповеди этой рыжебородой собаки.

**Т**елега гроыхает по булыжной мостовой, волоча за собой связанного человека. Ноги его закреплены наверху, на уровне оси колес. Тело, нелено выгибаясь, подпрыгивает в такт движению, голова бьется о камни. Сейчас телега развернется — и Мышкин увидит окровавленное, сбитое в лепешку лицо. Кто этот человек? Если Мышкин не успеет назвать его, то человек окажется Михаилом Поповым. Нет, только не он! Но тогда еще страшнее: вот-вот ему представится запекшееся в бурой пыли лицо Фрузи Супинской. «Нет! — кричит в ужасе Мышкин. — Нет! Пусть кто-то другой...» В стремительном калейдоскопе мелькают лица товарищей. Может, за телегой поволокут кого-нибудь из них, того, кто менее дорог Мышкину? Нет, сто раз нет! Пусть лучше этим человеком будет смотритель Соколов, или начальник карийской каторги, или еще... Но, как нагло, не вырисовывается ни одной жандармской рожи — белые пятна, — а это значит, что через мгновение лицо несчастного обретет черты кого-то из близких, выхода нет. «Тогда пускай волокут меня», — решает Мышкин. Чтобы спасти друзей, надо вспомнить свое лицо. Успеть. Иначе... Но свое лицо он вспомнить не может.

Он просыпается в холодном поту. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Этот кошмар его преследует каждое утро. В смутные минуты пробуждения, когда картины сна еще переплетаются с реальностью, он первым делом спрашивает себя: успел или... Нет! Он рывком подымает голову, сон моментально уходит.

Снизу доносится скрежет открываемых дверей. Утренний обход. Смотритель и дежурные унтера стогают узников с постелей, запирают койки на весь

день. Под эти привычные звуки мысли принимают будничное, практическое направление: полежать, притвориться спящим, выгадав несколько минут отдыха, заявить зрителю, что болен, пусть приведет врача — вдруг врач пропишет больничную, более разнообразную пищу (фокус, который, к сожалению, никогда не удается, ибо Заркевич — трус), — и только хочется раздобыть где-нибудь зеркало (эхо ночных видений) и взглянуть на свое лицо.

В этом интересе к собственной особе нет ничего страшного. Конечно, помнишь, какого цвета твои глаза; нос, естественно, остался прямым; борода разрослась, а на голове волос поубавилось, но все это не складывается в общий портрет. Столько лет не держал в руках зеркало! Кажется, что лицо твое разительным образом изменилось... И как должны измениться лица твоих давно не виденных друзей...

И неудивительно, что перед началом процесса, очутившись в петербургской предварилке, все товарищи, не таясь, жадно вглядывались друг в друга. Каждый успокаивался, видя вокруг себя знакомые лица.

Из Трубецкого бастиона Мышкина перевели в предварилку самым последним. К этому времени участники процесса раскололись на две партии — «католиков» и «протестантов». (Злой рок нашего движения: стоило собраться хотя бы четверым революционерам, как начиналась полемика и «размежевание».) «Католики» (меньшинство) призывали выступить в суде, чтобы довести до общественного мнения факты произвола и подлости Третьего отделения. «Протестанты», не признавая за правительством права судить, предлагали сорвать процесс. «Протестантами» верховодили Ковалик и Войнаральский.

Мышкина вывели на прогулку во двор тюрьмы (поблажка, «пряник» со стороны администрации), и он сразу же попал в объятия друзей. Когда стихли восторги и восклицания, с места в карьер пошла «деловая часть», то есть опять возник спор между «протестантами» и «католиками». Мышкин заметил, что Ковалик и Войнаральский встретили его несколько настороженно. Причину этого он уяснил довольно быстро: и Ковалик и Войнаральский по-прежнему считали себя главарями революционного движения. Тот же Ковалик видел в Мышкине лишь типографа, то есть подручного. Однако «сибирская эпопея» и место, отводимое Мышкину обвинением, выдвигали Ипполита Никитича на первые роли. Естественно, к его голосу должны были прислушаться участники процесса, а вопрос об отношении к суду оставался открытым.

Мышкин попросил разрешения выступить с речью на процессе.

Поздно вечером Временный комитет, состоявший из представителей «католиков» и «протестантов», проголосовал в пользу Мышкина.

(Не запомнилось, а вспоминается — с каждым днем все острее и явственнее:

Друзя Супинская стояла рядом, прислонившись к твоему плечу, легонько гладила твои волосы, ловила твой взгляд, робко улыбалась и все ждала, ждала, что вот сейчас ты обнимешь, поцелуешь ее, что она, твоя жена, наконец-то завладеет твоим вниманием — ведь смотритель разрешил тебе прогулку не для политических споров, старый тюремщик дал возможность увидеться с любимым человеком, он понимал, что скоро наступит разлука на годы, на долгие годы, и Фрузя это понимала, — но ты, позабыв все на свете, ораторствовал, витийствовал, доказывал — опять же интересы дела были важнее, — ты думал, что у вас в запасе

вечность... Девочка моя, она знала, что больше у нас ничего не будет. Простит ли она? Вернее, успела ли простить?)

Огромная процессия — 193 арестанта в сопровождении вдвое большего количества казаков — двинулась подземными переходами из предварительной тюрьмы в здание окружного суда.

Вооруженная охрана придавала шествию особую внушительность. Казалось, штурмовая колонна ворвалась в зал суда, захватила места амфитеатра, предназначенные для публики, загнала сенаторов за длинный стол, покрытый красным сукном, — и судьи выглядели жалкими и ошеломленными таким напором.

Сенатор Петерс звонил в колокольчик, пытаясь установить тишину, но его срывающийся голос тонул в глухом рокоте зала. Внизу по узкому проходу металась растерянная пристава. Адвокаты и секретари то и дело оглядывались на грозный амфитеатр, где переговаривались, передавали записки, отпускали язвительные замечания по ходу заседания. На вопросы первоприсутствующего подсудимые отвечали неохотно и пренебрежительно.

Первый день суда завершился совсем неожиданно: подсудимых пригласили в столовую и накормили обильным обедом.

Этот день наложил отпечаток на весь процесс: подсудимые чувствовали себя триумфаторами, каждая ироническая реплика в адрес прокурора вызывала одобрение зала — обвиняемые шумно демонстрировали свое явное превосходство над растерявшимися сенаторами. Мышкин видел, что товарищи пребывают в возбужденном, радостном состоянии, да и его самого не покидало ощущение несерьезности всего происхо-

дящего. Суд представлялся нелепым фарсом. Опьяненные первыми победами, революционеры как будто забыли, что «праздничные», «торжественные» дни должны смениться долгими годами «одинок», болезней, смертей...

(И правильно сделали, что забыли: нельзя жить в постоянной тоске и унынии. Пусть в окружении жандармов с пашками наголо, пусть в суде, но все-таки праздник.)

Мышкин особенно усердствовал в обструкции заседаний.

Его ответы первоприсутствующему звучали наиболее дерзко:

— Ваше звание?

— Лишенный всех прав арестант.

— Ваше занятие?

— Занимался печатанием запрещенных правительством книг.

— Где было ваше последнее местожительство?

— Арестован в сибирской тайге.

Ковалик пытался громогласно выразить протест против суда, но первоприсутствующий не дал ему слова. Мышкин и тут нашел возможность высказать неудовольствие по поводу отсутствия публичности и гласности:

— За судейскими креслами есть несколько мест, вероятно для лиц судебного ведомства, и здесь, за двойным рядом жандармов, примостились три-четыре субъекта. Неужели это та самая хваленая публичность, которая дарована новому суду на основании судебных уставов? Называть это публичностью — значит иронизировать, насмехаться над одним из основных принципов нового судопроизводства.

Первоприсутствующий прервал его, но Мышкин сделал вид, будто не услышал:



— Мы глубоко убеждены в справедливости азбучной истины, что света гласности боятся только люди с нечистой совестью, старающиеся прикрыть свои грязные, подлые делишки, совершаемые келейным образом; зная это и искренне веря в чистоту и правоту нашего дела, за которое мы уже немало пострадали и еще долго будем страдать, мы требуем полной публичности и гласности!

Мышкин опустил на свое место под одобрительный гул зала. Фрузе Супинской можно было гордиться своим мужем.

Так состоялось его первое выступление. Мышкин понял, что говорить в суде будет непросто. Надо искать юридически обоснованные, официально разрешенные формы для своего выступления. И вечерами Мышкин опять переписывал речь.

После чтения обвинительного заключения, которое заняло два дня, особое присутствие постановило разделить всех подсудимых на семнадцать групп и каждую группу приглашать на заседание отдельно. Это решение амфитеатр встретил свистом и громкими криками. Только с помощью отряда казаков первоприсутствующему удалось «очистить помещение».

Теперь почти все участники процесса приняли «протестантство». По утрам жандармы буквально силой тащили арестантов в окружную палату. Но, являясь в зале заседаний, революционеры в оскорбительных для первоприсутствующего выражениях отказывались отвечать на какие-либо вопросы и вообще участвовать в суде. Их поспешно уводили обратно, а предварилка встречала овациями. Из раскрытых окон внутреннего двора раздавались крики:

— Bravo, молодцы!

Мышкин чувствовал своевременность и необходимость своей речи. Ведь получалось, что буря протеста

бушевала только в стенах тюрьмы, а в газетах появлялись скудные, цензурованные сообщения. Официальная пресса передергивала факты, называла революционеров мальчишками, недоучками, беспринципными людьми. Нужно было довести до сведения народа программу и задачи революционной партии.

...Теперь, оглядываясь назад и вспоминая прошедшие годы, можно смело утверждать, что эта речь была самым важным этапом в его революционной деятельности. Вопреки усилиям председателя суда, Мышкин сумел сказать все, что надо было сказать. И товарищи это поняли. Вечером того же дня он повторил свою речь через выбитое окно камеры перед всеми заключенными петербургской предварилки. Тюрьма ответила ему бурными аплодисментами. Товарищи единодушно избрали его своим «президентом». Ему передавали десятки записок с благодарностями и поздравлениями. Несколько дней пролетело как в тумане. Мышкин чувствовал себя счастливым, как человек, успешно исполнивший свое дело.

Впрочем, другие «восторженные слушатели» из корпуса жандармов поспешили перевести его в Трубецкой бастион. «Аплодисменты» со стороны особого присутствия последовали еще позднее: через два месяца в камеру неожиданно ворвались солдаты и смотритель, Мышкина раздели донага, обыскали, а потом принесли арестантскую одежду: онучи, перевязанные веревками, халат с бубновым тузом — каторжное обмундирование. Потом ему прочли «Приговор по делу о революционной пропаганде в Империи». Мышкину определили лишение всех прав состояния и ссылку «в каторжные работы в крепости на десять лет».

Кончилась «эпоха послаблений».

Сырой, мрачный каземат нижнего этажа. Маленькое окно упиралось в крепостную стену. Ни книг, ни

личных вещей, ни чаю, сахару, табаку, мыла — все запрещено.

Каторга.

Перед отправкой в новобелгородскую тюрьму его заковали в кандалы и обрили полголовы.

Это, барин, дом казенный, Александровский централ, За какое преступление бог на каторгу послал?

Когда и где услышал он эту старую «кандальную» песню? Заунывный мотив. Бесхитростные слова. За какое преступление бог на каторгу послал? Вопрос по существу. Убил кого или ограбил?

Это, барин, дом казенный...

Когда удаленные из зала суда ожидали приговора в Трубечком бастионе, все они включились в дискуссию о будущем России. Перестук был почти легальным, а во время прогулок умудрялись передавать записки, прикрепляя их хлебным мякишем к водосточной трубе. Характерно, что в те дни заключенных меньше всего волновала собственная судьба. Войпаральский, Ковалик, Рогачев, Муравский, Рабинович отчаянно спорили о той форме правления, которую должен избрать народ после победы революции (в том, что революция произойдет скоро, что она неизбежна, Мышкин не сомневался), — спорили с таким ожесточением, как будто сидели не в казематах, а за столиком женевского кафе...

Воспоминания о Трубечком бастионе оживили здесь, в Шлиссельбурге, давно замолкнувшие споры, и он чувствовал, что опять втянут в полемику, хочется говорить, доказывать, опровергать... Но кому нужны слова, которые замерли в стенах Петропавловки? Кому нужен оратор, витийствующий в одиночной камере Шлиссельбурга? Эти мысли должны вырваться

на волю. Тысячи молодых революционеров найдут в них опору для себя. И в этом твоя реальная помощь движению... Должны прорваться! Когда, каким образом? Замурован. На годы. На долгие годы. Шестнадцать лет тебе сидеть, Ипполит Никитич. Так говори же, сотрясай попусту воздух — все лучше, чем биться головой об стену...

— Вследствие царствующей у нас неразберихи народники глупо и бестолково тратят силы и энергию, ибо их поступками движет лишь неосмысленная любовь к народу. Несколько лет в России уже ведется пропаганда каких-то идей, а сами пропагандисты не только не знают ближайшей практической своей цели, но даже с теорией не совсем совладали.

— Революционеры обязаны теперь же выработать форму правления! Я не верю, чтобы весь народ, как единый человек, был проникнут одним, ясно осознанным идеалом. Я не верю, чтобы масса русского народа в настоящую минуту обладала несравненно большим политическим чутьем и умением противостоять влиянию мнимых друзей, чем французы 1789, 1830, 1848 и 1871 годов. Я знаю, что из среды одного и того же народа могут выходить и вандейцы, и жирондисты, и поклонники Марата, и национальная гвардия Коммуны, и версальские войска. Предположим, что совершается революция. Польша отделяется и организует республику. Финляндия провозглашает свою независимость. Остзейские бароны умоляют Бисмарка принять их под свое покровительство (я специально сгущаю краски, но надо предвидеть худшие варианты). В Петербурге либералы созывают Земский собор и толкуют, кому вручить конституционную корону. Жандармы и попы и словом и оружием пропагандируют безусловную покорность «предержавшим властям». Ну, а мы что будем делать?

— Мы должны заняться политической борьбой. Мы знаем, что хотя парижский отдел Интернационала и исключал сначала из своей программы всякое участие в политической борьбе, но, лишь только разразилась революция, члены его волей-неволей должны были примкнуть к одной из политических партий. Мне кажется, что первоначальное игнорирование политических вопросов и было причиной того, что у французских членов Интернационала, разошедшихся в этом отношении с Марксом, не оказалось определенной программы деятельности при начале последнего переворота во Франции...

Это, барин, дом казенный. За преступленья сюда сажают. А ты, солдатский сын Мышкин, решил быть умнее самого царя... Александровский централ, та-ра-ра-ра. Наверно, в честь его императорского величества. А потому ты и есть злодей. И за эти преступленья та-ра-ра-ра...

С грохотом падает форточка. Долгожданная, такая родная и приветливая рожа зрителя всовывается в камеру. Ах ты мой красавчик! Аполлончик рыжебороденький. Чем теперь порадуешь, та-ра-ра-ра?..

— Девятнадцатый, петь запрещено. Нешто забыл инструкцию? Плетей захотелось? Чаво язык проглотил?

За что люблю Соколова, так за интеллигентное обращение. Тонкий знаток лингвистики. А ведь прав, скотина. Ну почему я должен «язык проглатывать»? Чего жду, на что надеюсь? Когда же мы повеселимся с господином ротмистром? Когда я его, шлиссельбургского «праведника», поволоку за бороду по решеткам галереи? Когда я в его распрекраснейшее мурло запущу чем-нибудь тяжелым? Чем? Ядром бы пушечным, меньшим не пробьешь. А где достать? Вот за-

дача, серьезный повод для размышлений. И он, крыса тюремная, почувствовал, словно прочел мои мысли, ишь как ощерился. Приготовился. Взмахни я рукой — он сразу за дверь. Прибегут унтера, свяжут, потащат в карцер... Вон как глаза заблестели, ждет, что сейчас я сорвусь. Нет, господип ротмистр, не доставим мы вам такого удовольствия. Момент подыщем, когда вам не увернуться, за спину унтеров не спрятаться. Чего смотришь, рыжая харя? Ну смотри, давай поиграем в «гляделки».

— Инструкцию читай, девятнадцатый. Ведь грамотей, разобрать должен, что петь запрещено. Если б разрешили — ори во все горло, я не против. Я на то и приставлен, чтоб инструкцию блюсти. Служба. Понимать надо.

Пошел на попятную, скотина. Понял, что сегодня номер не пройдет. Захлопнул форточку... О господи, иногда кажется, полжизни бы отдал, лишь бы иметь под рукой что-нибудь тяжелое.

А на Каре у нас было оружие. Смешно вспомнить: каторжане, а наган за пазухой прятали. Недаром после вечерней поверки к нам в тюрьму никто из охраны не заглядывал... Этот боров ничего не боится, отъелся на казенных харчах. Его за бороду не оттаскаешь. Куда мне против него? Походил, поговорил, понервничал, и уже ноги не держат, голова кругом. Сядь, отдохни, вояка... Потому смотритель и паглеет. Знает, что у нас еле-еле душа в теле. И то, когда бил Минакова, унтеров на помощь звал.

В Новобелгородском центреале меня втроем обрабатывали. Вот бы вошли эти трое, с Соколовым-Иродом, бить меня безнаказанно, а я «бульдога» из-за пазухи вынимаю — и в упор: бац-бац. Шесть патронов у «бульдога», хватит... В голове звон, свет лампы расплывается. Плохи твои дела, Исполит Никитич.

...Дверь без скрипа открывается, и в комнату входит дежурный унтер, один, без смотрителя. Дверь за собой притворяет и палец к губам прикладывает.

— Тссс, стрелять не будешь?

— Господь с тобой, унтер, откуда у меня оружие? Садись, коли пришел, в ногах правды нет.

Унтер опускает кровать, садится на краешек, вздыхает:

— А в Бубякина стрелял... Ваш брат такой: в его превосходительство генерала Трепова стреляли, полковника Гейкинга убили... С вашим братом держи ухо востро.

Знакомое лицо у этого унтера. Как зовут его: Жандарм Иваныч или Жандарм Африканыч?

— А кличут меня Африканом Иванычем, девятнадцатый. Караулил я тебя в рavelине и в Шлиссельбург за их благородием ротмистром перешел. Такая, брат, жисть...

— И не надоело караулить, Африкан Иваныч? Или злобу на кого из арестантов затаил?

— Нет, политические — народ вежливый. Вот уголовный — тот ножом пырнуть норовит. А караулить приказано, жалованье за дарма никому не платят.

— За жалованье служишь?

— Обижает, девятнадцатый, я царю присягу давал. Ты, девятнадцатый, немца читал, а немец за всегда супротив России. Которые образованные, те на начальство руку поднимают.

— Так начальство твоего отца до смерти запароло!

— Нынче начальство милостиво, шпицрутены отменили. А без царя и начальства никак нельзя. Ежеми в обществе нехороший человек окажется, то кто ж его будет судить и сокращать?

— То есть усмирять? А мы новый порядок замыслили, без царя и начальства, чтоб мужик сам себе был хозяином.

— Без царя нельзя. У нас народ пугливый. И рассуди, какой мне толк от нового порядка? Со службы уволят и пенсии не выпишут.

— Тебя не переспоришь, пенсия — аргумент веский.

— Не обижайся, девятнадцатый. Пенсия мне нужна. Я теперь ночной сторож. Склад Фокина караюлю. Хозяин-жулик платит копейки, а все же я при деле — привычка. И веришь ли, сидим мы с моей старухой, чай пьем и шлиссельбургское старое доброе время вспоминаем, и тебя, девятнадцатый. Моя старуха за упокой твоей души свечку в церкви ставит. Все думаю: не обидел ли чем тебя? Ну, то что по службе, то положено. Но ежели сверх того позволял... Вроде бы нет. Ты образованный, арифметику осилил, мог бы к Фокину счетоводом наняться. По воскресеньям чай с тобой бы гоняли да о зиме шлиссельбургской разговаривали. Ведь нынче и поговорить не с кем.

— Африкан Иваныч, чепуху городишь; какая пенсия, какой склад? Про меня вспоминаешь, будто я давно умер.

— Нешто нет, девятнадцатый? Могилка твоя давно травой поросла, над ней куст рябиновый. А с живым нумером разговор не положен. Чу, господин ротмистр идет.

Скрежещет замок. В форточку ставят ужин. Надо постучать Попову, но придется ждать до полуночи. Унтера совсем озверели: легкий перестук улавливают. Но ночью и их дремота одолевает.



Какой сегодня день? На тарелке тушеная капуста со следами мяса. Значит, пятница. Число по нашему разнообразному меню не определишь. Впрочем, можно подсчитать: прошлая пятница... Ура, кусочек мяса... тьфу, таракан! Еще один. Совершенно расхотелось есть. Может, тараканье мясо входит в рацион? Надо есть. Немного воображения. Представим себе, что перед нами отварная говядина. Полезно, питательно, укрепляет здоровье. Приятного аппетита! Будем есть всем назло капусту с тараканьим соусом. Иначе не хватит сил швырнуть в зрителя чем-нибудь тяжелым... Эврика! Тарелка! Медная, увесистая... Учтем.

Если бы в двадцать девятой или восемнадцатой камере сидел секретный агент с заданием расшифровать «переговоры» Мышкина с Поповым, то, просматривая свою стенограмму последних суток, этот агент пришел бы к выводу, что нумера сошли с ума. Пользуясь каждой удобной минутой (в интервалах между обходами дежурного унтера) они передавали друг другу странный текст.

— Телятину надо разрезать на маленькие куски,— стучал Мышкин,— и жарить на медленном огне, добавляя нарезанный лук и немного жира. В мясо положить красный перец, а также чеснок.

— Нарезанную кусками свинину,— отвечал Попов,— тушат вместе с луком, солью, сладким перцем и тмином. Отдельно тушат капусту, которую затем добавляют к мясу, но можно тушить ее и вместе с мясом.

— Рекомендую строганину из говядины,— не упимался Мышкин.— Мясо режут в виде лапши толщиной один сантиметр, отбивают, солят, заправляют пряностями и посыпают мукой тонкого помола...

— Строганину поджаривают с обеих сторон на сильном огне,— корректировал Попов,— и добавляют в нее тушеный лук.

Следовал вынужденный перерыв (унтер заглядывал в глазок).

— Дежурный подслушивает,— вставлял свое слово Мышкин,— наверно, напрашивается к столу.

— Хрен ему с маслом,— невозмутимо отвечал Попов.

— Нахожу меню однообразным,— впадая в гастрономический ажиотаж, барабанил Мышкин,— слышал, что в Южной Америке очень популярны мясные соусы. Рекомендую соус «а-ля Рио-Гранде»: берется молоденький бычок средней упитанности, варится в собственном соку...

— Рекомендую соус «по-шлиссельбургски»,— прерывал его Попов,— берется смотритель Соколов (один) и два самых жирных унтера, отбиваются шпицрутенами, кладутся в бочку, заливаются холодным маринадом — уксус, перец, лавровый лист...

— Очищенные тушки черных тараканов добавляются по вкусу,— вставлял Мышкин.

— Не порть мне аппетит,— обижался Попов и замолкал (один из компонентов соуса «по-шлиссельбургски» заглядывал в его камеру).

— Гурман несчастный,— возмущался Мышкин.— Таких, как ты, надо изолировать от общества. Одобряю действия Третьего отделения.

— Третье отделение упразднили четыре года назад,— уточнял Попов.— Нас не маринуют, а засаливают. Ты удовлетворен?

— Берется Попов (один), тщательно очищается от всех крамольных мыслей, стерилизуется под давлением в пересыльных тюрьмах и хранится при низкой температуре в шлиссельбургском каземате.

— Слишком остро,— выражала недовольство семнадцатая камера.— После ужина полагается сладкое. Рекомендую десерт из абрикосов...

«Гастрономическое пиршество» прекратилось на утро второго дня: Попов перестал отвечать. После обеда Мышкин услышал тихое постукивание.

— Я обожрался,— сообщил Попов.— Мой желудок не выдержал такого обилия еды.

Перед полуночным обходом смотрителя Попов опять вышел на связь:

— Кажется, за завтраком меня пытались отравить. Убежден, что в пищу подсыпали яд. Сейчас полече, но утром чувствовал себя прескверно.

Может, Попов ошибся? Элементарная мнительность? Или?..

Шлиссельбург не давал им забыться.

### 3

**Н**овобелгородский централ запомнился жарой, духотой, резкой вонью параши (ее можно было выносить и промывать только по утрам), сонными зелеными мухами, лениво ползающими по окну, сонными, разомлевшими от солнца солдатами, которые, укрывшись в тени, сквозь дрему наблюдали за заключенным, бесцельно слоняющимся по солнцепеку во время получасовой прогулки. За каменной крепостной стеной, на усадьбе тюремного попа, хрипло, нехотя (словно это вменяли ему в обязанность) кричал петух, спросонья кудахтали куры; часовой надвигал фуражку на лоб, хмурясь под козырьком от яркого солнца; солдат, посланный по какой-то казенной надобности, спотыкаясь, брел

через двор, присаживался к часовому, прикуривал, затихал с дымящейся сигаркой во рту — сельская идиллия, сонное царство! Мышкину иногда казалось, что, если бы он вдруг отважился подбежать к стене и взобраться на нее, никто б не всполошился. Всем было лень двигаться.

Строгостей было поменьше, чем в бастионе. Но вот это бесцельное существование, безысходность разрушительно действовали на психику его товарищей. Раньше они жили предстоящим судом (на миру и смерть красна), готовились к переменам (плохим или хорошим, но все-таки к чему-то новому) — теперь их ожидали однообразные, тоскливые годы.

На собственном опыте Мышкин убедился, что в тюрьме нельзя просто отсиживать срок. Это неминуемо вызывает апатию, хандру, упадок сил, духовную смерть. Возвращение к нормальной жизни представляется таким далеким, что человек поневоле опускается: перестает следить за собой, умываться, делать гимнастику, не хочется выходить на прогулку, голова тупеет, мысли сбиваются. Постепенно теряешь контроль над собой, а когда решаешь взять себя в руки — уже поздно, ты физически разбит, полутруп.

Однако на что надеяться узнику, ради чего заставлять себя жить?

Товарищи один за другим погружались в черную меланхолию. Донецкий, знакомый Мышкину по Женеве, ударился в религию, говорил только о боге, о загробной жизни, о спасении души, исправно посещал церковь и исповедовался у попа. По ночам слышалось пение псалмов — это чайковец Соколовский сошел с ума.

Многие камеры не отвечали на перестук. Записки, оставленные в уборной, не находили адресата и попадали к дежурным.

Как помочь товарищам?

Однажды вечером он начал стучать в дверь, громко крича на всю тюрьму:

— Я требую физического труда! Я требую ремесленной работы!

Его поддержали соседи. Коридор наполнился криками и грохотом. Прибежала охрана. Мышкина связали, уволокли в карцер.

В карцере он простудился и заболел, но, когда вернулся в камеру, узнал добрую весть: для заключенных открыли мастерскую. Мышкин написал прошение, что он топограф по специальности и хочет изготовлять географические карты и наклеивать их на холст. Смотритель Копнин был человеком практичным и быстро сообразил, какую выгоду можно извлечь из этого дела. Губернское начальство дало согласие. Пошли заказы из школ и земских учреждений. В чей карман поступали деньги, вырученные за карты и чертежи, Мышкина не интересовало. Он добился главного — работы.

Теперь его стол был завален тушью, красками, разноцветными чернилами, на полу сохли карты и кальки. Надзиратели входили осторожно, боясь невзначай наступить на какой-нибудь листок, а к Мышкину обращались уважительно. Даже каши ему накладывали побольше, а в супе иногда плавали кусочки мяса.

Блаженная жизнь!

...Капризна человеческая психика. Со временем забываются ужасы и лишения. Сейчас кажется, что в Новобелгородском центре было совсем не плохо, но ведь перед тем, как они добились разрешения на физический труд, прошел целый год. Вслед за Бочаро-

вым и Соколовским сошел с ума Плотников. Тяжело заболели Виташевский и Лев Дмоховский. После заключения в карцере он сам получил хронический ревматизм. Теперь стоит чуть простудиться, начинают ныть ноги. (По сравнению с новобелгородским карцером изоляторы Петропавловки и Шлиссельбурга — комфортабельные гостиницы. В том сыром склепе было холоднее, чем на улице, — а на дворе таял снег. Абсолютная темень. Нельзя ходить, ибо головой задеваешь о низкие своды. Заснуть на каменном полу и не мечтай: трясешься в ознобе, ползаешь на карачках. Сколько прошло часов, сколько дней — неведомо. Чувствуешь, что в тебе самом не осталось ничего человеческого — вот-вот завоюешь, как дикий зверь. Такой ценой мы платили за «блаженную жизнь».)

Тема для философских размышлений: что лучше — жить с верой в чудесное избавление или реально оценивать будущее, ни на что не надеясь? Конечно, вера придает силу, смысл твоему каторжному существованию. Но каково потом, когда в один прекрасный день рушатся все иллюзии!

«Давно замыслил я побег...»

Пол камеры был застлан картами, и надзиратели, принося еду, топтались у двери. Как-то Мышкин обратил внимание, что доски в правом углу прогибаются под сапогами смотрящего. Дождавшись вечера, он просунул в щель железную линейку — она не доставала до земли. Значит, под полом было пустое пространство.

На следующий день Мышкин заново произвел рекогносцировку тюремного двора. Его камера крайняя. Недалеко находились мастерские. Мастерские примыкали к тюремной ограде, за которой была поповская усадьба.

Намечался план: проникнуть во двор, незаметно приблизиться к мастерским, под их прикрытием взобраться на стену и перемахнуть в поповский двор. Оставалось только обмануть дежурных внутри тюремного двора. По ночам Мышкин слышал, как скучающие солдаты собирались у большого фонаря, около главного здания тюрьмы, и вели там беседы «за жисть». Итак, если выбраться во двор и под покровом темноты доползти до мастерских — считай, ты на свободе.

Как попасть во двор?

Несколько ночей он при помощи железной линейки расшатывал плитус и наконец вытащил из него гвозди. Приподняв широкую доску, он спустился в подпол. Подпол небольшой, высотой в пол-аршина, но лежа можно было копать.

План бегства обретал реальность.

По инструкции коридорные должны были ночью заглядывать в дверные глазки. Но с полуночи до пяти утра солдаты не опасались внезапного визита начальства и, как правило, дремали на сундучке в конце коридора.

Ночью он сворачивал бушлат, клал его под одеяло, накрывал подушку картой. Замаскировав таким образом свое отсутствие, Мышкин «уходил в подполье» и копал землю линейкой и руками. Окончив работу, он прятал вырытый грунт в глубокие карманы халата, опускал доску и ставил на место плитус. Утром (раз в сутки разрешали вынести парашу) он вытряхивал землю из карманов в уборную.

Он привык недосыпать ночью, но днем, когда он ползал по разложенной на полу кальке, умудрялся урывать полчаса на сон (надзиратели видели, что сам смотритель покровительствует Мышкину, и не очень ему докучали).

Как ни странно, ночная работа не изнуряла его. С каждым днем он чувствовал себя все бодрее и энергичнее. Ведь приближался час свободы!

Осенью подкоп пришлось остановить: в яму затекла вода. Зимой мерзлый грунт совсем не поддавался. Мышкин занялся изготовлением «цивильного» платья. Костюм он сшивал из отрезков холстины, а днем прятал в подпол.

Получив у смотрителя разрешение постричься у тюремного цирюльника (голову политическим больше не брили), Мышкин с удовольствием полюбовался в зеркале своим аккуратным бобриком.

Весной восьмидесятого года «подпольная» деятельность возобновилась. «Тоннель имени Мышкина, чудо инженерной техники, — посмеивался Ипполит Никитич. — Вот будет шум, если кто-нибудь во дворе провалится в мою дыру!» Однажды он нащупал рукой булыжник и понял, что достиг цели. Оставалось расширить выход.

«Им овладело беспокойство, охота к перемене мест», — подтрунивал он над собой. Охота к перемене мест была законной и обоснованной, но для беспокойства тоже имелись веские причины. Вдруг, думал Мышкин, в ту ночь, когда я разворочу булыжник и вылезу, часовые перессорятся между собой и разбредутся по темным углам? Вдруг они затеют игру «в горелки»? Вдруг, когда я спрыгну в усадьбу попа, петух проснется с перепугу, а хозяин выглянет в окно? Вдруг в темноте я наступлю коту на хвост и тот заорет? Господи, когда не везет, то не углядишь, где споткнешься».

Но «споткнулся» он на ровном месте, глупо и обидно. В день, назначенный для побега, он дрожал от нетерпения и почему-то решил до завтрака залезть в подпол и еще раз примерить костюм. Зачем? Загад-



ка, прямо наваждение. Правда, он выбрал момент, когда коридорный вышел из здания (Мышкин наблюдал за ним из окошка), и в подполье он провел очень мало времени. Приподняв доску, он высунул голову, привычно глянул на дверь... и обомлел: к смотровому стеклышку прилип глаз надзирателя. Так они смотрели друг на друга несколько секунд (и любопытно, что Мышкин еще не успел испугаться, он даже чуть не рассмеялся, представив себе, как у солдата от ужаса отвалилась челюсть), потом раздался истошный вопль, по коридору загрохотали сапоги...

Его бросили в карцер, и вот тогда сказались бессонные ночи, усталость полугодовой «кротовой» работы. Он впал в отчаяние. Он не мог простить себе роковой оплошности. Если б ему помешал часовой, или петух, или кот, или черт, или дьявол, а то ведь сам, сам! Не дотерпел, не дождался. Иметь такой шанс, затратить столько сил и потерять свободу в один момент — это даже не глупость, это — преступление.

Он вершил суровый суд над собой и приговорил Ипполита Мышкина — бездарного неудачника — любой ценой добиться смягчения режима для товарщиц.

Выйдя из карцера, он начал играть роль раскаявшегося грешника, молился, призывал священника. Ему легко поверили: подобная неудача может сломать любого человека. Он стал посещать церковь и на литургии стоял в первом ряду. Тридцатого августа, когда праздновался «день тезоименитства его императорского величества», в разгар службы Мышкин дал пощечину смотрителю Копнину.

Его избили до полусмерти, но это уже не имело никакого значения. Он чувствовал себя мертвецом, он ждал военного трибунала и казни.

События, происходившие на воле (о которых он не подозревал и подробности коих узнал впоследствии), вмешались в его судьбу и даровали ему жизнь.

Когда в Петербурге среди бела дня Сергей Кравчинский заколол кинжалом шефа жандармов, флигель-адъютанта генерала Мезенцева, это была месть товарищей за «процесс 193-х». На репрессии властей революционная партия ответила террором. Высокопоставленные палачи падали, сраженные выстрелами террористов. В Зимнем дворце произошел взрыв, покалечивший десятки гвардейцев-преображенцев — личную охрану царя. Сам император спасся лишь чудом. Могущественный тайный Исполнительный комитет «Народной воли» объявил открытую войну правительству.

...Человеку, очнувшемуся после тяжелой болезни, первое время все происходящее вокруг него кажется зыбким и нереальным. Поэтому Мышкин с недоверием выслушивал «расейские новости», которые рассказывал Сергей Ковалик. А не видения ли это горячего бреда? Или иезуитская выдумка жандармов, решивших подразнить смертника? Но нет, Сергей Ковалик вот он, рядом, поблескивает пенсне, как всегда, корректен, ироничен, замкнут в себе; неожиданно столкнулись на прогулке, и обошлось без объятий, поцелуев, — словом, это Сергей Ковалик, не кто иной. И на жандармскую интригу что-то непохоже. Слишком уж либеральничали с Мышкиным. После карцера и госпиталя его не трогали. Перевели в другую тюрьму. Утром подали свежезаваренный чай. Пришел смотритель, говорил вежливо, предупредительно, предложил пользоваться тюремной библиотекой.

После обеда (довольно сытного) надзиратель пригласил на прогулку. Во дворе Мышкин и увидел Ковалика (невероятное нарушение тюремной инструкции, недосмотр администрации!). Мышкин сразу же бросился к товарищу. Он ожидал, что надзиратель заорет, вызовет охрану, но унтер деликатно отошел в сторону и минут двадцать со скучающим видом бросал крошки голубям.

Заметив недоумение Мышкина, Ковалик усмехнулся:

— Следствие новой политики. Сейчас в столице погоду делает герой минувшей войны, бывший харьковский губернатор генерал Лорис-Меликов. У турок он штурмом взял неприступный Карс, а в России изменил тактику и к революционной партии посылает парламентаров. Нынче у нас «диктатура сердца». Не поняли? Это означает, что нас содержат в тюрьме не для острастки, а по милосердию. Компот к обеду дали? Дали. Вот вам первые плоды.

— Он обещает амнистию?

— Он обещает все на свете, вплоть до конституции, только не сразу, а постепенно.

— Значит, чего-то мы добились? — радостно воскликнул Мышкин. — Значит, жертвы не напрасны?

Ковалик поджал губы. В его взгляде проскользнула снисходительность.

— Ипполит Никитич! Мне известна история с подкопом, и я отдаю должное вашему героизму, но к данному вопросу это отношения не имеет. Лично мы с вами тут ни при чем. Пока мы занимались социологией, экономикой и просветительством, пока апеллировали к «великому крестьянскому разуму», правительство пощипало нас, как лиса кур. Мне сообщили забавный стишок, явно сочинил кто-то из наших:

В народе мы сидим,  
Дела великие творим,  
Пьем, спим, едим  
И о крестьянах говорим,  
Что не мешает их посечь,  
Чтоб в революцию вовлечь.

Недурственно. Так вот, товарищи из «Народной воли» поняли, что бессмысленно произносить перед правительством пылкие речи — с правительством надо обращаться, как с бандитом: держать все время под дулом пистолета. Только тогда «беседа» как-то налаживается. Только тогда Лорис-Меликов выступает с концертными номерами и поет сладким тенором опереточные арии о радикальных реформах.

— Очевидно, правительство опять обманывает? — разочарованно спросил Мышкин.

— Дорогой Пудик (забытая им московская кличка сейчас неприятно кольнула; вероятно, Ковалик сделал это намеренно, чтобы Мышкин не впадал в сентиментальность), назовите мне хоть один день или час, когда бы царское правительство нас не обманывало! Это, если хотите, выработанный веками стиль управления. Мы старые каторжане, нам ли тешиться иллюзиями? Мне передавали подробности казни Осинского. Слышали о таком? Руководитель одесской группы. Так вот, сначала на его глазах повесили троих товарищей. Он взшел на помост совершенно седым. Ему накинули петлю, а оркестр по приказанию жандармского офицера заиграл «Камаринскую». Славная иллюстрация образцово-показательных действий властей! Именно так с нами привыкли обращаться.

— Значит, ставка на террор?

— Значит, ставка на разум.

Эта беседа послужила прологом к бурным дискуссиям, повторявшимся почти каждый вечер в Мценской пересыльной тюрьме, куда Мышкина перевели осенью 1880 года. Сам Мышкин одобрял народовольцев, говоря, что они делают два очень больших, одинаково нужных и одинаково полезных дела: во-первых, они наносят правительству такие тяжелые, звонкие удары, что эхо разносится по всему земному шару; во-вторых, сами ложатся костью за дело народного освобождения.

Однако двойственное впечатление, которое произвел на него разговор с Коваликом, не оставляло Мышкина...

Конечно, очень здорово, что Исполнительный комитет признал политическую борьбу неотложной задачей революционеров. Ясна программа партии: свержение самодержавия, созыв Учредительного собрания, социальные преобразования, правление народа... Правда, не совсем понятно, в какой форме: республика? конституционная монархия? Надежда на Учредительное собрание, что оно само решит будущее страны? Но опыт буржуазных парламентов показывает: неимущие классы не получают большинства мандатов. Даже во времена французской революции в конвенте заседали отнюдь не крестьяне. Неужто России так повезет, что в Учредительное собрание изберут только революционеров? И в этом случае нужна предварительная и продолжительная агитация среди крестьянства, на манер той, которую народники так неудачно начали в семьдесят четвертом году. Но Исполнительный комитет все больше уповает на весьма страные методы революционного протеста — на террористические акции. Наверно, это не от «хорошей жизни», видимо, силы «Народной воли» крайне малочисленны.

Как бы там ни было, благодаря деятельности «Народной воли» правительство пошло на значительные уступки. Ощущаются реальные результаты. А чего добились мы здесь, в заключении?..

«Раскололи» власти на тюремный харч (так сказать, нанесли экономический ущерб казне)? Дали по рожке нескольким жандармам? Протестовали в тюремных стенах, устраивали голодовки, за что платили дорогой ценой — жизнью товарищей?

Между тем страх правительства перед Исполнительным комитетом и политика «диктатуры сердца» сказались на режиме мценской пересылки самым благоприятным образом.

С мценской пересылкой как-то не вязалось слово «тюрьма». Одиночек не было и в помине, камеры вообще не запирались. Заключенные почевали в светлых общих спальнях, а остальное время проводили в просторной столовой. Книги, свежие газеты? Пожалуйста. Переписка с родственниками? Ради бога. Беспрепятственно приходили посылки «с воли». Иногда заключенные обнаруживали, что домашние пироги были завернуты в страницы нелегальных брошюр.

И уж самое невероятное: смотритель Побылевский охотно вступал в беседы на политические темы (правда, с глазу на глаз, без свидетелей), высказывая порой рискованные мысли.

— Вам не противна роль тюремщика? — спросил его как-то Мышкин.

Смотритель оскорбился:

— Вы бы предпочли, чтобы на моем месте сидел какой-нибудь бурбон или солдафон? Вы соскучились по карцерам и одиночкам? Я ставлю под удар свое служебное положение, пытаюсь облегчить вашу участь. Долг честного человека — делать то, что в его силах. Или мне уйти в отставку и, развалившись

на мягкой софе, критиковать министерство? Не скрою, занятие приятное, но малополезное.

Зимой в Мценск понаехали родственники заключенных. Жизнь в пересылке забила ключом. С утра посетители, нагруженные всевозможными съестными припасами и даже вином, собирались в конторе и ждали «торжественного» выхода арестантов. Заключенные входили строем, встречаемые радостными возгласами родственников, тюремный староста Войнаральский почтительно докладывал смотрителю: просят разрешения на свидание столько-то человек. Побылевский кисло оглядывал публику и противным голосом тянул:

— Свидан-ие разрешается на четверть часа,— после чего исчезал до вечера.

Строй распадался, заключенных растаскивали по углам, и семейные группы оккупировали контору на целый день. Дежурному унтеру подносили «презент», и он с удовольствием выпивал за здоровье «уважаемых господ».

После ужина заключенные сообщали друг другу свежние новости «с воли», тут же завязывались диспуты по наиболее актуальным проблемам, потом молодежь пела хором, а Лев Дмоховский, накинув на плечи платочек сестры, приглашал желающих на танцы.

«Пир во время чумы»,— думал Мышкин, наблюдая за веселящимися товарищами. Мрачные предчувствия не оставляли его. Казалось, что вот-вот распахнутся двери, ворвутся жандармы и всех скрутят, закуют в кандалы, отведут в изоляторы. Однако большинство верило в скорую амнистию. С большим жаром обсуждались сведения, дошедшие из Петербурга: правительство деморализовано, столица в панике, в барских особняках боятся даже трубочистов;

упорно муссируются слухи, будто динамит переправляют в винных бутылках, а за границей снаряжается пятьсот воздушных шаров для атаки Петербурга.

Однажды к Мышкину подсел Рогачев. Только что этот добродушный богатырь шутил и балагурил. Теперь он вытирал платком лоб и, сохраняя на лице радушную улыбку, делился своими тревожными мыслями:

— Пусть ребята порезвятся. Кто знает, что ждет нас в Сибири. А в Сибирь отправят, это точно. У меня такое чувство, что мы в западне. Захлопнется дверца — и дальше никакой надежды.

«Он понял меня», — с грустью подумал Мышкин.

Как ни странно, именно в мценской тюрьме он по-настоящему ощутил свое одиночество. Если бы вдруг потребовались объединенные действия для отпора администрации, Мышкин тут же нашел бы общий язык с товарищами, но о лучшем режиме трудно было мечтать. Молодежь, недавно вступившая в революцию, видела в Мышкине прославленного вождя, автора известной всей России речи на «процессе 193-х», а потому то ли робела перед ним, то ли сохраняла почтительную дистанцию. Старые товарищи избегали общения, вероятно, потому, что не хотели вспоминать об ошибках «хождения в народ», инициаторами которого они были. Ведь Мышкин — живой свидетель того, как Ковалик, Войнаральский, Кравчинский — тогдашние кумиры молодежи — прочили крестьянскую революцию еще в семьдесят четвертом году. Ковалик при первой же встрече заявил Мышкину, что «наши взгляды на революцию устарели». Похвальная откровенность. Но обидно сознавать себя людьми, списанными в тираж. Лучше не берeditь прошлое.

Пользуясь тем, что в тюрьму свободно проникали 251



нужные книги, Мышкин стал перечитывать «Капитал» Маркса. Размышляя об основах социализма, Мышкин чувствовал, что попал в положение теоретика, который не может отыскать исходную точку. Он с радостью бы принял теорию Маркса как руководство к действию, но где в России целый класс — пролетариат? Немногочисленные русские фабричные могут оказаться под влиянием своих «либеральных» хозяев, если те сумеют сыскать их расположение некоторыми филантропическими мерами...

Шли дни, и Мышкин постепенно начал проявлять активность. По его предложению вместо сумбурных ежевечерних дискуссий решили проводить регулярные занятия, нечто вроде общеобразовательных семинаров. Его поддержал Ковалик — сказывалась старая пропагандистская школа.

Мышкин делал обзор внутренней жизни России, а Ковалик занимался иностранной политикой и международным революционным движением.

Острая полемика развернулась на тему «Деятельность революционера в эпоху либерализации». Мышкин утверждал, что нельзя брезговать легальными возможностями, надо идти на государственную службу, занимать видные вакансии (разговор со зрителем Побывлевским возымел неожиданный результат) и использовать все практические средства для революционной пропаганды.

— Представьте, — говорил Мышкин, — что за антиправительственную агитацию арестовывают не какого-нибудь бедного студента, а, допустим, начальника департамента? Совсем другой резонанс в обществе.

Рогачев выступил в том же духе, но остальные ставили в пример строгую конспирацию «Народной воли».

— Исполнительный комитет действует в отрыве от народа,— возражал Мышкин.— Получается, что горстка террористов хочет совершить государственный переворот. А если полиция зашлет провокатора или случайно нападет на след? Комитет арестуют, и нет революции?

На Мышкина набросились со всех сторон:

— Наоборот, деятельность Исполнительного комитета убыстряет революцию в России.

— Террористические акты производят огромное впечатление. Они демонстрируют бессилие властей.

— Смерть царя вызовет народное восстание!

— Все остальные способы борьбы нереальны. Путь постепенного «распропагандирования» населения привел нас в тюрьму. Нужно приветствовать, а не критиковать отчаянную смелость Исполнительного комитета.

Что на это ответить? Действительно, как мог Мышкин критиковать энергичный Исполнительный комитет, когда самому ему так и не удалось совершить ничего значительного? Отбиваясь от заседавших оппонентов, он позволил себе ироническое замечание:

— Не понимаю, что надо приветствовать: отчаянную смелость или смелость отчаяния?

Забавнейшие спектакли разыгрывались в мещанской «гостинице». В последнюю субботу января Войнаральский объявил в столовой, что его вызывал капитан Побылевский и предупредил: в понедельник приезжает инспекция из губернского жандармского управления. Смотритель просил господ революционеров «соответствовать».

В понедельник в пересылке было тихо и уныло. 253

В канцелярии ни одного посетителя. Заключенные, заросшие щетиной (специально два дня не брились), сидели взаперти в своих камерах и с постными лицами штудировали книги духовного содержания.

Жандармский полковник со свитой обследовал помещения...

Распахнулась дверь большой спальни, и ворвавшийся первым Побывлевский закричал: «Встать, канальи!», хотя заключенные сразу вытянулись по струнке. Свита входила, будто икону вносила, и «икона» (господин полковник в позолоте пуговиц, орден и аксельбантов) бархатным голосом заговорила:

— Господин капитан, вы уж того, слишком...

— Нельзя-с никак иначе, ваше превосходительство,— молодцевато отрапортовал Побывлевский,— строгости, только строгости! Тут сидят главные преступники.

Полковник поморщился и осведомился:

— Жалобы имеются?

Жалобы не заставили себя ждать:

— Газет не дают,— роптали заключенные.— Свиданий с родными не разрешают. В камере гноят.

— Господин полковник, я письмо министру написал,— заявил Дмоховский.— За ничтожную провинность меня лишили прогулки.

Весьма довольный услышанным, полковник все же пробурчал:

— Господин капитан, излишне усердствуете.

И поспешил ретироваться.

На следующий день, когда инспекция уехала, Рогачев, нацепив бумажные эполеты, устроил в столовой «разнос» смотрителю:

— Господин капитан,— выговаривал Рогачев Побывлевскому под одобрительный хохот присутствующих,— я безмерно огорчен увиденным: преступники

все еще живы, а некоторые даже шевелятся. А по-сему приговариваю вас к штрафному бокалу вина.

«Приговор» был тут же приведен в исполнение.

Второго марта наконец-то состоялось свидание с маменькой. Долго она добиралась до Мценска!

Маменька засыпала его вопросами, рассказывала о Григории, о себе и случайно проговорила, что пришлось продать дом. Теперь она со старшим сыном снимает флигелек.

— Почему же ты мне не писала? — упрекнул ее Мышкин. — Я бы запретил тебе приезжать.

Он рассердился. Впрочем, как он сам раньше не догадался, что такое путешествие ей не по средствам?

— Ипполит, когда еще бог даст увидеться, — сказала маменька, и Мышкин отвернулся, чтоб не видеть ее слез.

Переведя разговор на другую тему, он спросил, есть ли для него письма. Маменька порылась в кошельке и протянула конверт. Мышкин чуть не подпрыгнул: Фрузя объявилась! Ведь еще в петербургской предварилке он сообщил ей адрес матери.

...Дрожащими руками он вскрыл письмо... Почерк знакомый, но это не Фрузя.

«Прошу тебя, Ипполит, по старой дружбе рассказать твоим товарищам, что я человек мирный, ала на них не держу, и помогал тебе в трудный момент, и горю желанием принести пользу обществу. Пускай они динамит в меня не кидают, а также выстрелы не производят. Пусть лучше застрелят начальника нашей канцелярии надворного советника г. Толмачева — прохиндей порядочный, ретроград, не подписал мое повышение по службе. А я при случае всегда рад оказать услугу. Почитающий тебя В. Л.».

«Ай да Лаврушкин, ай да шельма!» — рассмеялся Мышкин.

— Маменька, а других писем не было?

Других не было. Мышкин поймал себя на том, что до последнего момента твердо верил: маменька должна была привезти письмо от Фрузи.

Свидание окончилось. С маменькой договорились, что она придет на следующее утро.

Размышляя о странном молчании Супинской, Мышкин медленно брел по коридору и на лестничной клетке столкнулся с Войнаральским.

— Послушай, Порфирий Иванович, — спросил Мышкин, беря Войнаральского за пуговицу халата, — как ты думаешь, почему нет известий от Фрузи? Ссылных же не лишают права переписки?

Войнаральский промывчал нечто невнятное и отвел глаза.

— Постой, ты что-то знаешь? Она заболела? Ее отправили на каторгу?

— Месяц назад я получил письмо от Зарудневой, — тихо ответил Войнаральский, по-прежнему избегая взгляда Мышкина. — Боялся тебе говорить... Но раз уж спросил... Фрузя умерла. В ссылке... Подробностей Заруднева не сообщает.

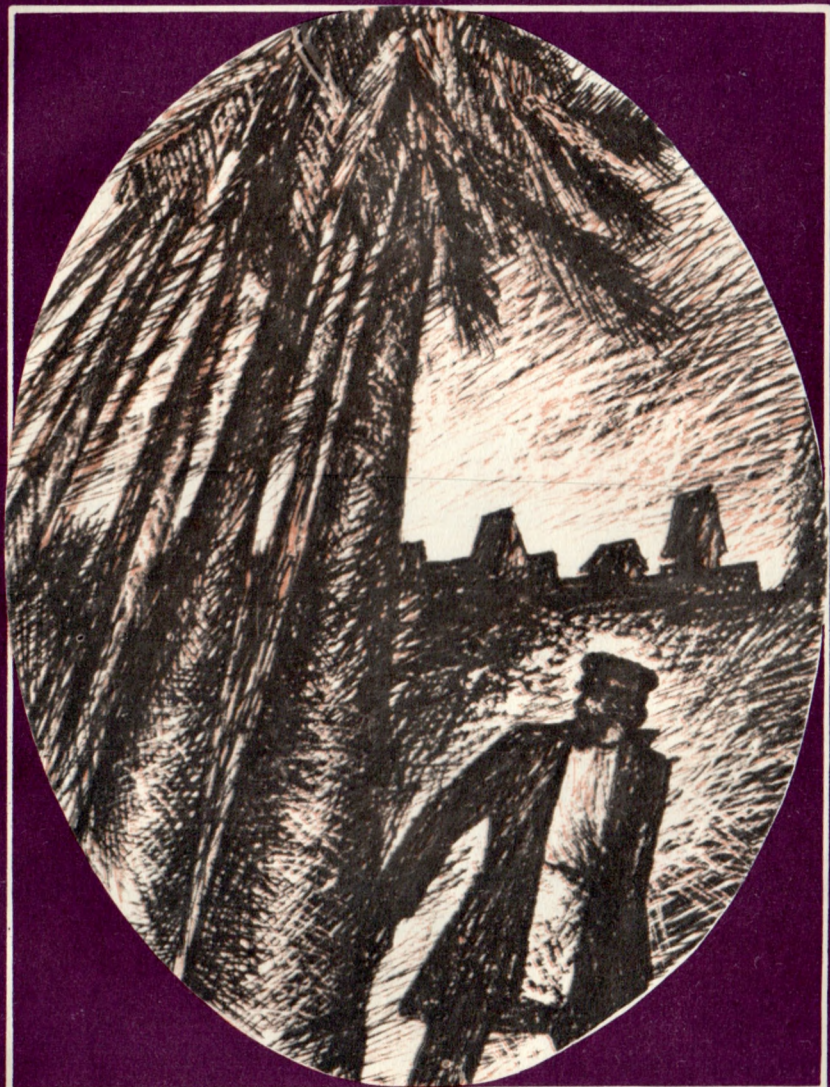
Пуговица от халата осталась у Мышкина в руках.

...Он лежал один в пустой спальне, уткнувшись головой в подушку, когда в комнату вбежал Петр Алексеев.

— Мышкин, поздравляю! Царя бомбой разорвало!

Мышкин сел, потер ладонями виски. Алексеев с удивлением смотрел на товарища.

— Так ему и надо! — процедил сквозь зубы Мышкин. — Казнили главного палача.





Смотритель Побывлевский нервно мял папиросу:  
— Вы, конечно, рады? — допытывался он у Мышкина.

Мышкин не отвечал. Капитан нащупал коробок, закурил, пустил синеватую струю дыма.

— Господа, господа, опомнитесь, — сказал Побывлевский. — Подумайте, что вы натворили! Народ скорбит... Надеетесь на милосердие молодого императора? Одно я знаю — а сужу по своему личному опыту: на службе у меня менялось много начальников, и каждый следующий был еще круче. От новой метлы добра не жди.

#### 4

**П**овторялось его путешествие в Сибирь. Тот же маршрут: знакомые камские берега, чугунка до Екатеринбурга, почтовые тройки до Тюмени. Правда, на этот раз Мышкин путешествовал в сплоченном сообществе кандальников, к которым по дороге подключались новые партии ссыльных и политкаторжан. После Тюмени заключенных расковали. Они шли колонной под конвоем конных жандармов. Можно было ехать на подводах, на которых везли вещи, но большинство предпочитало двигаться пешком. «Хватит, насиделись», — шутили ветераны централок, ну, а молодому пополнению, естественно, было веселее в общем строю.

Этап напоминал кочующий съезд, участники которого представляли все разновидности российских революционных кружков.

Теоретическая дискуссия уступила место простому обмену информацией о деятельности групп.



В этих сообщениях Мышкин находил много любопытного для себя. Оказывается, скромная девушка Соня Перовская, которая тоже была в числе «193-х», стала одним из руководителей Исполнительного комитета. Она же пыталась устроить побег Мышкину по дороге в новобелгородскую тюрьму, но жандармы, приняв меры предосторожности, обманули боевиков: его посадили на поезд не с «арестантской платформы», а на товарной станции.

И Андрей Желябов проходил по «большому процессу». Конечно, Мышкин должен был его видеть (наверное, видел, но не запомнил). Эти молодые люди через два года после «процесса 193-х» заставили трепетать в страхе Российскую империю!

...Попов знал всех: Перовскую, Желябова, Кибальчича, Александра Михайлова, Фигнер...

«Где сейчас Вера Фигнер?» — спрашивает Мышкин.

«Она была в Петропавловке, — отвечает Попов. — Не думаю, чтоб ее привезли сюда. Женщину в Шлиссельбург — это слишком жестоко».

«Мне рассказывали, что члены Исполнительного комитета имели одинаковые права. Но кто из них главенствовал?»

«Все были равны. Однако если б не случайный арест Александра Михайлова, то, мне кажется, «Народная воля» существовала бы до сих пор».

Внизу хлопает форточка. По коридору гулким эхом разносится голос смотрителя:

— Опять стучишь, пятый! Предупреждаю: еще раз услышу — упеку на десять суток в карцер.

...Если бы раньше Мышкину предложили на выбор его нынешнюю судьбу или возможность выйти

вместе с Гриневицким и Рысаковым на набережную Екатерининского канала, то есть если бы было только два пути, он, не задумываясь, выбрал бы второй: лучше умереть с бомбой в руках, чем ежедневно слушать крики этой бешеной собаки.

Кандалная команда передвигалась этапами на восток. Предстояла зимовка в хорошо охраняемом остроге, и мечты о побеге (пусть призрачные и мало реальные) теперь откладывались до весны. Остановка в Иркутске совпала еще с одним печальным обстоятельством: умирал Лев Дмоховский. И раньше приходили тяжелые вести о гибели друзей, но тут на глазах заключенных смерть душила всеобщего любимца. Слушая сухой, надрывный кашель Дмоховского, каждый думал о своей судьбе: вот так и он свалится где-нибудь на этапе. Перспектива выжить, уцелеть весьма проблематична; кто знает, что ждет впереди? Гораздо больше шансов сгореть от чахотки, простудиться напрочь в карцере или подхватить какую-нибудь смертельную заразу в тайге.

В Сибирь Льва Дмоховского сопровождала сестра. Здоровая, энергичная девушка, она весь путь от Тюмени до Иркутска прошла за телегой, на которой везли ее брата. Самоотверженно ухаживая за больным, она, сама того не ведая, помогала и остальным заключенным. И вот трагический конец: прошагать пол-Сибири, чтобы похоронить брата.

...Льва Дмоховского отпевали в тюремной часовне. Священник бормотал молитвы и махал кадилом. Полукругом возле гроба стояли товарищи, держа в руках зажженные свечи. На их лица было страшно смотреть. Даже смотритель тюрьмы выглядел несколько смущенным и часто крестился.

Смолк голос священника. Тишину разорвали горькие рыдания Дмоховской. Надзиратели застыли в дверях, не решаясь поднести крышку гроба. Смотритель задергался, озираясь по сторонам.

Дмоховская припала к мертвому телу, затихла. Тогда Мышкин сделал шаг вперед и заговорил.

Он вспоминал, каким Дмоховский был отзывчивым и добрым, он искал слова, способные смягчить горе сестры.

...При первых звуках его голоса надзиратели встрепнулись, но смотритель дал знак, чтоб Мышкина не прерывали,— очевидно, он надеялся, что надгробная речь успокоит заключенных.

— В России не счесть бедных матерей, рано потерявших своих сыновей или насильственно с ними разлученных. Безмерно их горе, но пусть они гордятся своими детьми, которые добровольно вступили на путь народных защитников! Мы пришли в революцию не за поместьями или чинами и не искали легкой жизни. В награду мы получили каторгу и тюрьмы, но мы знали, на что идем. Мы обречены, смерть косит наши ряды, но у нас не было иного выхода. Мы не могли молчать, не могли равнодушно наблюдать те безобразия, которые творятся в нашей стране. Наших отцов забивали до смерти шпицрутенами, их обменивали на борзых щенков, да и мы сами, несмотря на «дарованные вольности», имеем прав не больше, чем дворовые собаки. От крепостной эпохи осталось презрение к человеческой личности. Вся жизнь построена по принципу беспрекословного подчинения начальству. Хозяин-барин до сих пор самодурствует и в семье, и в обществе. На нас смотрят как на безгласных, покорных рабов, которые должны слепо исполнять то, что приказывают сверху, и с благоговейным патриотическим востор-

гом принимать крохи милости, кои соблаговолит нам кинуть «заботливый» царь. Своей загубленной жизнью, непрекращающейся борьбой, смертью, в конце концов, нам надо доказывать, что мы не скоты, не быдло, а люди, способные сами определять свою судьбу. Мы не боимся правительственного кнута и презираем либеральную подачку, тюремный пряник. Нас не купить и не сломать. Да, русская интеллигенция приносит себя в жертву, но в этом состоит наша святая обязанность перед памятью замученных отцов и несчастных матерей. Жертвы не напрасны: мы верим, что из праха борцов, забитых палачами, вырастет дерево русской свободы!

...Первым опомнился поп, который истощно завопил:

— Нет, врешь! Не вырастет, не вырастет!

По знаку смотрителя на Мышкина набросились надзиратели и отвели его в карцер.

Однако настоящим «ценителем» ораторского искусства оказался Иркутский губернский суд: «импровизацию» в тюремной часовне он оценил по высшей шкале, на «пятерку» — на пятнадцать лет каторги.

В народе говорят: «от сумы и тюрьмы не уйдешь». Два варианта, выбирай любой. Нищета ему не грозила — он хорошо зарабатывал, — так угодил на каторгу. Впрочем, удивляться нечему, это сословная «привилегия»: мастеровых, непокорных хозяину, сажали в тюрьму; взбунтовавшихся крестьян пороли и отправляли в рудники... Он сын крестьянки. Его отец — солдат. А сколько «служивых» он встречал на каторге! Еще Петр Первый рубил головы стрелцам. Расправа над армией — в традициях царского

правления. Для низших классов были всегда широко распахнуты тюремные ворота. Добро пожаловать! Вот к духовенству относились «с почтением», просто ссылали в отдаленные монастыри... Так ли? Надо уточнить у Попова, он из духовных и большой знаток истории.

Попов ответил длинной тирадой:

— Духовенство преследовали жестоко и беспощадно. Раскольников в первую очередь держали в острогах. Со времен патриарха Никона борьба за место на алтаре не прекращается. Любое вероотступничество строжайше наказывалось. Пойми, церковь — это идеология, а потому правительство особенно усердствует.

— Кого же оно милует? Дворян? Но только на моем процессе две трети обвиняемых были из «столбовых». Значит, снисхождение проявляется лишь к представителям высшей знати.

— А декабристы? — напомнил Попов. — Князь Трубецкой, князь Волконский, князь Оболенский... Старожилы отечественной каторги! Нам можно гордиться такой преемственностью.

— Прелестную ты нарисовал картинку. Получается, что из ста миллионов православных от тюрьмы избавлены несколько человек: члены царской семьи и министры?

— Как бы не так! Здесь, в цитадели, сидела первая жена Петра Великого царица Евдокия Лопухина и его сестра Мария Алексеевна. Всесильный временщик Бирон тоже погиб в этих стенах.

Получив такой ответ, Мышкин даже развеселился и отстучал свое резюме:

— Нам повезло. Мы родились в стране, где никому не дано «уйти от тюрьмы», разве что только самому царю.

Но Попов развеял и эту иллюзию:

— В Шлиссельбург Екатериной Второй был заточен законный император российский Иоанн Антонович. Убит при попытке поручика Мировича освободить его.

...Знакомство с историей всегда обогащает. Может, теперь двадцать пять лет каторги солдатскому сыну Мышкину кажутся фактом, не достойным внимания?

*Над мрачными крепостными воротами, распластав крылья, повис двуглавый орел.*

*На воротах медью выведено: «Государева».*

*Левая половина ворот приоткрылась. Мышкин вступил в огромный полутемный коридор, освещенный мерцающим пламенем керосиновых ламп. Заскрежетав, захлопнулась створка, и неведь откуда взявшийся унтер просипел голосом уголовного с Бадазанковской станции:*

*— Тут, брат, свои законы, привыкай поворачиваться.— И, изгибо ткнув Мышкина в бок связкой ключей, добавил заговорщицким шепотом: — Отсюда, брат, не выходят. Отсюда — на вынос только.*

*Железные решетчатые галереи опоясывали этажи; чем дальше, тем коридор становился шире, сотни огоньков ровными рядами уходили вглубь (каждая лампа стояла на откинутой форточке) и там сливались в параллельные линии, — за видимой границей коридора угадывались еще более обширные помещения.*

*— Это, барин, дом казенный, — пропел, фальшивя, унтер и, подавив короткий смешок, четко отпортовал: — Для вас, ваше благородие, все дороги открыты, куда изволите?*

Мышкин указал на первую дверь слева, и унтер, опередив его, щелкнул запором.

Старик крестьянин испуганно вскочил с койки, прикрывая руками торчащий из-за пазухи хвост осетра. Взглядевшись в лицо Мышкина, он перекрестился и запричитал:

— *Благодетель! Православных обижают, грабют среди бела дня! Лошадь отобрали за недоимки.— Он посторонился, и Мышкин увидел в углу огородные грядки с торчащей на меже сохой.— На козе пахать приходится.*

Мышкин поискал глазами козу, а старик, угадав его мысли, пояснил:

— *Ее вывели на прогулку. Животине тоже надо продовольствоваться.*

— *Кто тебя здесь держит? — спросил Мышкин,*

— *Исправник, батюшка, исправник. Мы народ пугливый, а исправник нас судит и сокращает.*

— *Давай руку, — сказал Мышкин, — я выведу тебя на волю.*

Старик покосился на унтера и хитро прищурился:

— *А ежели потребуют письменный вид? А письменный вид — за царевой печатью. Откель печать возьмешь?*

— *Зачем тебе царь? Я же предлагаю тебе волю.*

Старик покачал головой:

— *Нельзя без царя и начальства. И потом, куда я денусь, горемычный? Мы здесь всем миром привыкли. Солдат с ружжом нас охраняет. Казенный харч подают. Грядка маленькая, но своя.— И, преданно уставившись на унтера, затараторил: — Не, барин, мы зла на начальство не имеем. Уйди, не смущай душу!*

Унтер захлопнул дверь, щелкнул замком и повел 264 Мышкина по коридору. Остановившись около одной

из камер, заглянул в глазок и поманил Мышкина рукой.

Мышкин вошел в просторную горницу, стукнувшись головой о притолоку. Исправник Жирков в подштанниках и нательной рубашке сидел за столом и чистил ножичком грибы. При виде Мышкина Жирков засуетился, полотенцем смахнул крошки, накинул на плечи форменный китель, отодвинул табурет, предлагая присесть:

— Слава богу, явились не запылились,— заговорил Жирков снисходительным, развязным тоном.— В управлении сидят не чешутся, ворон считают. А тут крыша прохудилась. Службу забыли, в команде недокомплект. Вот, ваше благородие, гляньте на это чучело,— Жирков показал на унтера, и унтер, потупив глаза, отвернулся,— как он, каналья, с карабином обращается? Дуло не чистит, затвор не маслит, придет «сицилист» с бомбой, он и пальнуть в него не сможет, с трех шагов не попадет.

— А зачем социалисту сюда являться? — осторожно осведомился Мышкин.— Или много политических заключенных?

— Да что вы, батенька, меня, старика, разыгрываете? — обиделся Жирков.— Я ж читал секретную инструкцию. Нынче вся Россия на политике помешалась. У меня есть способ, как супостатов распознавать. Как видишь человека — первым делом хватай за шиворот. Ежели он не ерепенится и ведет себя смирно, значит, благонадежный. Ежели начинает дергаться, истинный крест, революционер. Так что «сицилист» обязательно на выручку «товарищам» явится. Бомбу метнет — потом дров не соберешь. Эх, батенька, служба наша тяжелей каторги! А штабные совсем ополоумели, с губернскими барышнями запарились.



— Раз служба каторжная, почему не выйти в отставку? — спросил Мышкин. — Купите домик в деревне и собирайте грибы.

— Рад бы, батюшка, да не положено. Кто арестантов будет караулить? Арестанта упустишь — так назавтра он тебя самого в острог посадит. И потом — пенсия. С пенсией в кармане к жулику Фокину в сторожа можно наняться. А грибки собирать нам и сейчас никто не мешает. Располагайтесь, ваше благородие, грибочки и водочка еще никому не вредили.

...Унтер, пританцовывая, щелкая пальцами, гримасничая и кривляясь, вел его на верхние этажи по скрипучим железным галереям. Керосиновые лампы светили, как лампадки под образами, в раскрытые форточки выглядывали люди, которых Мышкин когда-то где-то видел. Пожилой екатеринбургский телеграфист (его худое, аскетичное лицо желтело над лампой, как икона в рамке) проводил Мышкина строгим взглядом и бросил вслед:

— Которые особняком держатся и водку не употребляют, известно, птица важная, на ревизию следуют.

Мерцали прерывистыми, ровными линиями нижние галереи, а сверху нависали новые этажи. Где же конец этим коридорам?

Унтер вдруг замер, прислушался, потом рывком распахнул дверь ближайшей камеры, а сам отскочил в сторону и залег, укрывши голову полами шинели.

— Осторожней, ваше благородие, — услышала Мышкин свистящий шепот, — он бомбами кидается.

В дальнем углу камеры стоял человек с круглым свертком в руках. Слабый отблеск лампы освещал лишь ближний угол, и лицо человека со свертком скрывал полумрак.

— Здравствуй, Мышкин! Я Гриневицкий! — сказал человек из темного угла.

— Здесь темно,— сказал Мышкин,— пойдём со мной. Может, мы вместе найдём выход из этого чертова лабиринта?

— Нет у меня выхода,— глухо ответил Гриневицкий.— Да и не было. Начались аресты, нас кто-то предал, мы торопились. После того, как ОН не поехал по Малой Садовой, оставался последний шанс... Бомба Рысакова покалечила лошадей. ОН вылез из кареты, я слышал, ему предлагали другой экипаж. ОН отказался и направился прямо ко мне. ОН увидел меня, я понял, что ОН сразу обо всем догадался. ОН не крикнул, продолжал идти. Его глаза застыли, потеряли всякое выражение. Я мог швырнуть бомбу ему в ноги... Бомба разорвалась посередине, на одинаковом расстоянии от нас обоих.

И снова Мышкин плутал по галерее. Откуда-то снизу доносилось тихое церковное пение. Унтер исчез.

Двери, двери, двери... Мерцают лампы-лампочки. В камерах какое-то движение, голоса, но в форточку никто не выглядывает. Не хотят или боятся?

Унтер вынырнул из-за поворота и сказал голосом смотрителя Побылевского:

— Господа, господа, опомнитесь! Подумайте, что вы натворили! От новой метлы добра не жди.

Теперь унтер вышагивал неторопливо, солидно. Постучал в одну из камер, выждал несколько секунд, распахнул дверь:

— Пожалуйте-с!

Якутский губернатор оторвался от чтения бумаг, повернулся к двери, поднял подсвечник (Мышкин ощутил на своем лице жар трех свечей) и, узнав вошедшего, иронически улыбнулся:

— Рад, что вы без этих... железок. Однако к делу. В нашем медвежьем углу редко встретишь умного человека. Можете быть со мной откровенны.

— Как вы сюда попали, ваше превосходительство? — спросил с удивлением Мышкин. — Ведь у вас есть поместье, деньги, свобода?

Криво усмехнулся губернатор и поставил подсвечник на стол.

— Опять вы видите во мне только бездушного бюрократа. По-вашему, получается, что судьбы народные нас совсем не волнуют? В стране неурожай, в южных губерниях холера, мужик отказывается работать. Назначишь нового чиновника — глядь, он уже успел провороваться. Где взять честных людей? Морока, а не служба.

— Бросьте службу, отдохните в Карлсбаде, на водах!

— И вы займете мое место? Критиковать и витийствовать много охотников, а вот помогать правительству страну из грязи и нищеты тащить — тут добропорядочный интеллигент умывает свои белые ручки. Знаю, мужику вы наобещаете с три короба, а что конкретно сможете дать?

— Он сам возьмет то, что ему принадлежит по праву.

— Мужики захватят усадьбы, порубят леса и сады, поделят землю на тысячи клочков, и каждый сцепится в этот клочок; удачливые будут богатеть, бедняки — разоряться... Где же выход? Может, общины организуете? Сами говорили: крестьянин привык спустя рукава работать на барина, не станет он работать и на чиновника. Что же вы предлагаете России? Республику? Анархию? Польша отделится, Финляндия провозгласит свою независимость, Германия приберет к рукам пограничные области. Лю-

бая волость захочет стать государством. Начнется либеральная вакханалия. Страна ослабеет — вот тогда вы вспомните о власти. Пошлете войска на усмирение бунтов, назначите своих губернаторов. Заставите мужика молиться «революционному царю»? И опять в России империя, опять проблемы. Может, в этом и заключаются ваши истинные намерения: сесть самим в правительственные кресла? Кресла мягкие, удобные. Пощупайте, какая обивка.

— Каждый меряет на свой аршин, ваше превосходительство. Возможно, нам многое неясно, но мы мучаемся над одной проблемой: как облегчить жизнь народу. Вы же обеспокоены только тем, чтобы сохранить власть. Пугаете хаосом, беспорядками — дешевая демагогия, рассчитанная на обывателей.

— А землю пашут революционеры? Башмаки и портки шьют студенты? Салом и хлебом торгуют профессора? В России всегда почитался хозяин, купец, работник, то есть люди, которых вы иронически называете «обыватели». Книжники и вольнодумцы приносили лишь смуту.

— Прошу заметить, ваше превосходительство, одну характерную деталь в ваших рассуждениях: вы усиленно ищете виновных. Действительно, кто виноват, что Россия отстала от Европы лет на пятьдесят, что экономика страны на допотопном уровне? Все благие реформы с треском проваливаются или приводят совсем к противоположному результату. Что тормозит прогресс — ограниченность царя, бездарность министров, прогнивший режим правления? Нет, утверждаете вы, виноваты инакомыслящие! Всяма удобная позиция.

— С такими взглядами, господин Мышкин, вы не жилец на этом свете. Сожалею, но ничего не могу для вас сделать.

Все выше подымался Мышкин по железным галереям, и внизу, в бездонном полумраке этажей, мерцали тысячи огоньков. Церковная музыка смолкла. Из форточек некоторых камер несло запахом ресторанной кухни и слышались отголоски разухабистого пения цыган. И, уже ничему не удивляясь, Мышкин прошел в дверь, предусмотрительно распахнутую унтером, и оказался в большой светлой зале, пол которой был застлан пушистым белым ковром. Молодцеватый высокий генерал в гвардейской форме, с голубой широкой лентой через плечо, резко повернул голову и сделал несколько шагов навстречу.

— Поручик Минович? — властно и холодно спросил генерал. Он пристально всматривался в Мышкина, словно что-то вспоминая. — Унтер-офицер, стенограф... — на знакомом по портретам бакенбардном лице проступила улыбка. — Ну, нашел свою правду? И не лень тебе по галереям шататься?

— Успели доложить? — изумился Мышкин.

— Да мне, унтер, все про тебя известно, — усталым, чуть ли не извиняющимся тоном протянул генерал. — Водку не пьешь, с полячкой незаконно сожительствовал, Жиркова обмануть пытался, побегу устраивал... В крепости инструкцию нарушаешь — с пятым номером перестукиваешься, — генерал зевнул. — Мне все докладывают.

— И как народ бедствует, вам тоже известно?

— Пустых речей не терплю, — прервал генерал. — Да пойми, унтер, я самый честный человек во всей России! Другие хлопочут о собственной выгоде, а мне, помазаннику божьему, которому с самого начала предназначен царский престол, какую корысть искать? О народе моем с юных лет печалюсь. Наше государство требует коренной реформы, снизу до-

верху. Я Манифест подписал, а мне мои министры советовали: «Лучше ничего не делать. Многого — нельзя, малое — не удовлетворяет». Со всех сторон нападали: одни ругали меня за сделанное, другие требовали немедленно следующий реформ. Общество раскололось на враждующие партии. Я пытался все улагодить — не получилось. Партий много, я один, хоть разорвись... И разорвали. Ни в чью благодарность я не верю, на всех не угодишь. Или бомбу кинут, или табакеркой голову проломают. Устал я. Поручика Мировича не встречал?

— А кто он?

— Да есть такой верноподданный. На выручку мне спешит. — Генерал почесал левую бакенбарду. — Как придет, так охрана тут же меня прикончит. Сижку жду.

— Александр Николаевич, — посоветовал Мышкин, — отрекитесь, пока не поздно.

— Странный ты человек, — возмутился император. — Всем предлагаешь отставку или отречение. Революционер называется... Сам говорил, что от власти никто добровольно не отказывается. И потом, я за Россию перед богом в ответе. Малодушие императору не к лицу... — и, вздохнув, добавил: — Ладно, лично тебе могу выдать двадцать пять рублей.

...А в темной галерее Мышкина поджидал Ирод. Он вцепился в плечо и поволок в тридцатую камеру.

— Знай, сверчок, свой шесток, — приговаривал смотритель. — Я человек подневольный. Прикажут — рыбчиками буду кормить, прикажут повесить — повешу. Вот ты спишь — инструкцию нарушаешь...

...Кто-то толкал его в плечо. Он открыл глаза. Рыжая борода смотрителя Соколова колыхалась над ним.

— Спишь? — злобно шипел Ирод. — Инструкцию нарушаешь? Моя воля — моя власть; могу в карцер, могу отодрать плетью.

Мышкин выпрямился на стуле, сделал попытку встать. Ноги от долгой неподвижности свело судорогой. Он чувствовал себя застигнутым врасплох.

Смотритель удовлетворенно хмыкнул:

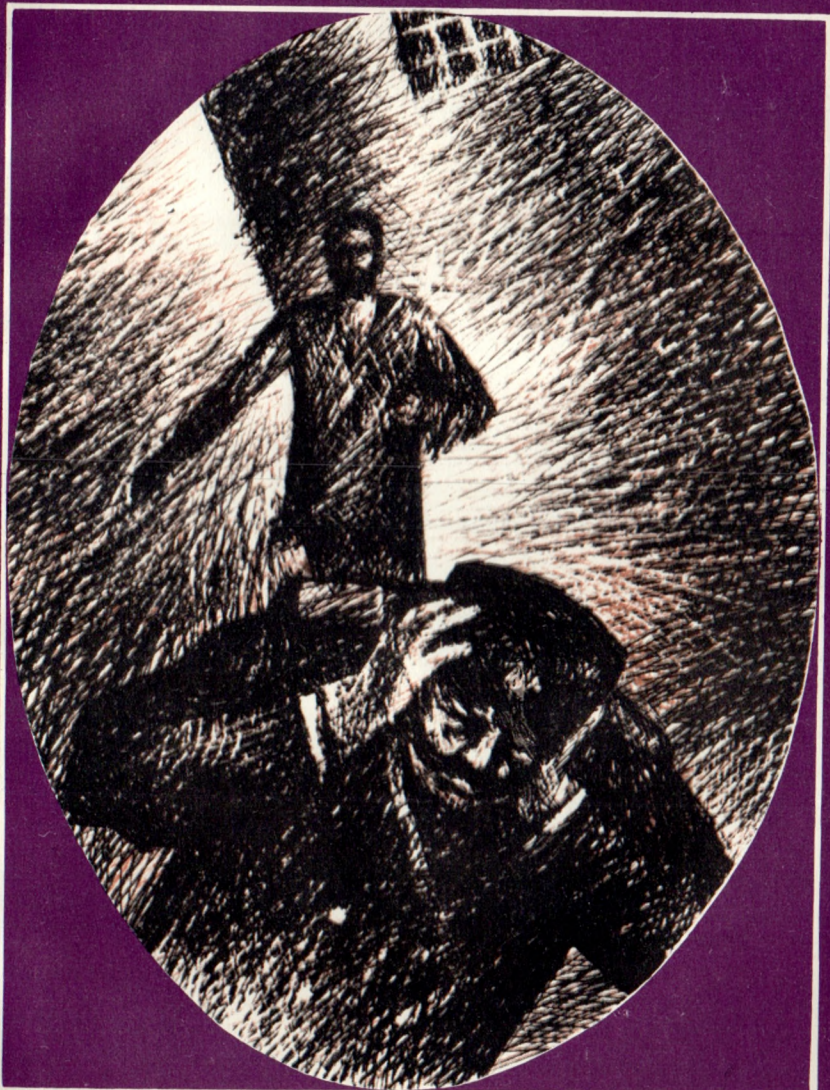
— Молчишь? То-то. Ладно, пожалеею. Люблю тихих. Кто начальство уважает, тому и на каторге легче. Вот муха, которая в уголок скоронится, до лета проживет, а ту, что жужжит и в стекло бьется, прихлопнут в первую очередь.

И, бросив торжествующий взгляд на дежурных унтеров (немых свидетелей его «победы»), смотритель вышел из камеры.

5

**П**лан побега у всех заключенных прочно связывался с идеей подкопа. Хотя еще никому не удавалось бежать таким способом, разговоры о различных видах подземных лазов были чрезвычайно популярны. Поэтому в апреле восемьдесят второго года, впервые завидев издалика забор Карийской тюрьмы, Мышкин подумал: «Наверное, и тут копают», — и не ошибся.

Вроде бы само расположение тюремных помещений благоприятствовало подкопу. Здание тюрьмы напоминало большой ящик. Внутри — пять просторных камер (у каждой свое название, доставшееся по наследству от былых времен: «Волость», «Харчевка», «Якутка», «Дворянка», «Синедрион»). Заключенные спали и обедали в своих камерах, а свободное время







проводили в тюремном дворе. Двери камер никогда не запирались, а после вечерней поверки казаки и администрация исчезали со двора. Ночью охрана патрулировала только с внешней стороны забора, невольно ввергая в соблазн каторжан, мечтавших о воле: можно было копать до утра без всяких помех.

Копали из «Харчевки». Чтобы вывести подземный ход за забор, нужно было прорыть саженей пятнадцать. Однако работа застопорилась, когда лаз уперся в слой вечной мерзлоты. Грунт тут был крепче камня, зимой его не возьмешь и ножами, а летом мерзлота начинала подтаивать и яма наполнялась водой.

Предприятие грозило затянуться на несколько лет. Забор — всего пять шагов от «Харчевки» — по-прежнему казался недоступным.

Вновь прибывшие централисты дружно бросились «под землю», и Мышкин безусловно последовал бы за ними, но для него было еще слишком живо воспоминание о неудачном подкопе в новобелгородской тюрьме. Не было бы счастья, да несчастье помогло! Решительно отбросив всяческие подземные проекты, Мышкин тщательно изучил тюремный распорядок и предложил план, который сразу же был принят.

За забором помещались мастерские, куда заключенных отводили на дневные работы. В мастерские отправлялись в любое время и по желанию. Часовой пересчитывал каторжан, но так как те сновали взад-вперед, то его легко можно было сбить со счета. Если днем кому-то удастся спрятаться в мастерских, часовые не заметят его отсутствия. Конечно, на ночь мастерские запирались, но предварительно прорубить в крыше отверстие, чтобы ночью им воспользоваться, не представляло затруднений: в мастерских

и без того стоял вечный стук и грохот, а часовые по лености своей не заглядывали внутрь.

Итак, заключенный, незаметно схоронившийся в мастерской, дожидался ночи, осторожно выбирался на крышу и, когда часовой отворачивался, тихо соскальзывал по стене. Само здание мастерских скрывало беглеца от глаз часового.

Выбраться на волю — это еще полдела. На вечерней и утренней проверке могли недосчитаться беглеца. Товарищи предусмотрели такую возможность и заранее стали готовить чучела. На «репетициях» манекен клали на койку, закутывали одеялом, при этом из-под арестантского халата торчали обутые в сапоги «ноги» спящего. Порядок в тюрьме был весьма либеральный, каждый спал, когда хотел. Казак обычно выходил на середину камеры, загибая пальцы, пересчитывал «голова» — вот и вся проверка. Чтоб не вызывать подозрений, манекены предполагалось каждый вечер перекладывать на разные кровати.

Вообще, когда появился план, сулящий реальный успех, из камер посыпались предложения, одно остроумнее другого. В подготовке принимали участие и те, кто намеревался бежать, и те, кто решил остаться до окончания своего срока.

Итак, прежний план, связанный с идеей подкопа, был отброшен, как неудачный. Но выяснилось, что прежний план был сопряжен с убийством своего же товарища...

Странными показались первые дни, проведенные на Каре. Карийцы кисло улыбались централистам, а друг на друга поглядывали с явной враждебностью.

гали стол или кровать, а в уборную ходили группами, вооружившись самодельными топориками или кинжалами. Как-то Мышкин встал посреди ночи и, стараясь никого не будить, отодвинул стол от двери. С подушек поднялись взлохмаченные головы.

— Вас проводить? — раздался голос.

— Зачем? — удивился Мышкин и вышел в полутемный коридор.

Его шаги гулко зазвучали в тишине, и, чтоб смягчить звук, Мышкин ступал осторожно, словно крадучись. Дверь уборной резко распахнулась, оттуда выскочил человек в одном нижнем белье и прижался спиной к стене.

— Не тронь, застрелю, — испуганно зашипел незнакомец.

От неожиданности Мышкин замер.

— Да что тут у вас происходит? — спросил Мышкин, стараясь унять охватившую его дрожь.

— А, Мышкин... — прошептал незнакомец и спрятал револьвер. — Завтра сходка, все узнаешь. — Настороженно вглядываясь в глубь коридора, незнакомец продолжал: — Не верь «Синедриону», они заодно с Юрковским.

Где-то скрипнула дверь, и незнакомец прыжками понесся к «Дворянке».

На следующий день Мышкину удалось переговорить с Коваликом.

— У меня впечатление, что тут ждут нападения. Кого? Уголовников? Казаков? Чем все напуганы? Ведь в тюрьме только политические. У многих оружие, можно организовать отпор.

Ковалик, не говоря ни слова, взял Мышкина за руку и повел в баню. Войдя в предбанник, он указал на железную балку, которая крепила огромный бак с водой, называемый «байкалом».

— В ночь под рождество,— сказал Ковалик,— на этой балке повесился Успенский. Загадочное самоубийство. Успенскому оставалось совсем немного до освобождения.— Ковалик бросил острый взгляд из-под пенсне.— Мне сообщили: есть серьезные подозрения, что Успенского повесили. Его обвиняли в предательстве.

Мышкин отпрянул. С минуту он разглядывал железную балку, словно искал следы происшедшей здесь трагедии.

...Значит, самосуд. Те, кто рыли злополучный подкоп, опасались доноса. Успенский не был заинтересован в побеге. На него пало подозрение... Мышкин знал, что Успенский был приговорен к каторге за участие в убийстве студента Иванова, которого Нечаев ошибочно считал провокатором. Теперь Успенского казнили по обвинению в предательстве. Круг замкнулся... Мнительность или отчаяние заставляет видеть в своих товарищах врагов? Сейчас в тюрьме все боятся друг друга. Что же делать?

— Что же делать? — спросил вслух Ковалик, угадав его мысли.— По-моему, «Синедрион» придерживается правильной тактики. Вероятно, нет возможности доказать вину или невиновность Успенского. Гораздо важнее успокоить товарищей и сосредоточить все силы на подкове.

— Успокоить тюрьму можно одним способом: надо выяснить, был ли Успенский предателем или нет.

Ковалик поморщился.

— Это они выясняют с января. И топчутся на месте. Сегодня мы будем при сем присутствовать... Нас ждали как беспристрастных арбитров. Думаю, нам лучше воздержаться от поспешных суждений.

Сходку назначили после вечерней поверки возле

трехсаженного столба (раньше, в «мирные дни», на него нацепляли веревки и устраивали своеобразный аттракцион — гигантские шаги). Пришла вся тюрьма — человек семьдесят. Яцевич выступал от «Синедриона». Не признавая и не отрицая факта убийства, он подробно перечислил репрессии, к которым прибегнет администрация, если узнает о подконе. Наша задача, говорил Яцевич, не ворошить прошлое, а организовать массовый побег; не время вспоминать мертвых, надо думать о живых.

— Где гарантия, — закричал Костюрин, — что Игнатий Иванов, Юрковский и Баламез не заподозрят еще кого-нибудь в измене? Они готовы вырваться на свободу по трунам товарищей. Петр Успенский был честнейшим, интеллигентным человеком, искренне преданным революции...

Страсти накалялись. Казалось, никто уже не надеялся в споре установить истину. Диковский вцепился в волосы Родионову. Их еле растащили. Михаил Попов (тогда-то Мышкин впервые обратил на него внимание) сказал, что Федор Юрковский ради революции не раз рисковал своей жизнью. «Я, — продолжал Попов, — с Ивановым и Юрковским сидел на скамье подсудимых, правительство приговорило нас к смертной казни...» «Рисковать своей жизнью, — кричали ему в ответ, — личное дело каждого, но никто никому не давал права лишать жизни других людей!»

К столбу вышел Юрковский. Атлетического сложения, чернобородый, он возвышался над толпой и говорил яростно, убежденно:

— От побега отказываются те, кто хочет уйти от революции! В столице «Народная воля» истекает кровью, а мы здесь распустили нюни по поводу смерти жалкого предателя. Когда Успенский почув-

ствовал, что его разоблачили, он предпочел самоубийство позору!

...О чем еще говорил Юрковский? О том, что Успенский играл в карты с начальником караула? Передавал загадочные записки в женскую тюрьму? Не помню, не помню... Кстати, наверно, Юрковского тоже перевели из Петропавловки в Шлиссельбург. Он где-то рядом...

...Как воет ветер! Зима, настоящая зима. Сегодня пришлось отказаться от прогулки. Снегу нанесло по колено. Чем же тогда закончилась сходка? Не могу вспомнить. В лампе совсем маленький огонь, а режет глаза. Я болен? С чего бы? Зазвенело стекло. Ударил снежный заряд. Ого, какой ветер! И стены не помогают. Что же творится на озере?.. Голова плохо работает. И глаза болят...

*В камеру вошел Юрковский, стряхивая снег с овчинного полушубка.*

*— Мы с Диковским добрались почти до китайской границы,— сказал гость, присаживаясь на край кровати,— но у нас кончились продукты. Вдруг видим: поляна, костер, пасутся лошади. Мы двинулись на огонь. Хотели попросить хлеба. Когда приблизились к костру, обнаружили свою ошибку: это были не крестьяне, а казаки. Бежать поздно, нас заметили. Рискнули: авось не за нами погоня, обычный пограничный разъезд. Как только мы вышли к огню, казаки вскочили с ружьями и радостно загалдели: «Вот вас, голубчиков, мы и поджидаем!» Угодили прямо в лапы... Объясни, Мышкин, почему все так глупо устроено? Мы за народ страдали, а окрестные крестьяне на нас, как на зайцев, охотились. Им по триста рублей за каждого пойманного беглеца обещали.*

— На девятой станции, под Вилюйском, якуты шли на меня облавой. Ловить людей — занятие более выгодное, чем пушной промысел... — Федор, ты успел зайти в соседние камеры? Как там товарищи?

— Колодкевич умер в Петропавловке, — сказал Юрковский. — Впрочем, это ты сам знаешь. Игнатий Иванов сошел с ума...

— Игнатий Иванов был уже ненормальным, когда задумал убийство Успенского.

Юрковский нахмурился, растегнул полушубок, провел рукой по шее.

— Опять Успенский... Да пойми, дело не только в нем. Многие не хотели побега, опасаясь, что им прибавят срок за соучастие. Казнь Успенского напомнила отступникам, что тюрьмой управляет единая воля.

— И к чему это привело? Заключенные раскололись на два враждебных лагеря. Тринадцать человек подали прошение о переводе в Усть-Кару.

— Но ведь потом никто не препятствовал твоему плану? Значит, акция против Успенского была оправданна.

— Вот как? А что думает об этой «акции» сам Успенский? Приглядись, он стоит за мной, у окна.

Юрковский вздрогнул, глаза его сверкнули. Он гордо выпрямился и процедил сквозь зубы: «Предатель!»

— Почему же, Федор? — раздался за спиной насмешливый голос Успенского. — Кого и когда я предал?

— Ты держался обособленно, ни с кем не дружил. Ты, как филер, прилипал к каждому новичку и выпытывал у него всю подноготную. Когда мы спустились в лаз, чтобы копать землю, то напоследок



видели твою скептическую ухмылку. Ты общался в конвойными...

— Скажи проще, Федор: вы убили меня потому, что я не признавал диктатуры «Синедриона». В моей памяти слишком свежи диктаторские замашки Нечаева. Предприятие с подкопом — безнадежная затея, но вас не переубедить. Да, я не участвовал в ваших глупостях, не пел по вечерам песни, не обливал спящих водой. Да, я понимал, что мы надолго изолированы от России. Я не важничал перед новичками, не изображал из себя корифея. Меня интересовали вести с воли, и в разговорах с казаками я не находил ничего предосудительного. Словом, я решил выйти из игры. И только за это вы пригласили меня в баню, на «тайное совещание».

— Невинной жертвой прикидываешься? — Юрковский рубанул ладонью воздух. — Ты думал только о своей шкуре!

— Да, думал. После восьми лет каторги имел на это право. А о чем думал ты, Федор, когда схватил меня в темноте за горло? И хорошего подручного себе подобрал — Андрея Баламеза! Авантюриста и прилипалу.

— Баламез — верный товарищ...

— Он покорен и послушен силе, — съязвил Успенский, — вот в чем его единственное достоинство. Извини, Мышкин, мне противно общаться с этим человеком.

Мышкин почувствовал, что за спиной больше никого нет. Он взгляделся в бледное лицо Юрковского. Юрковский вытер лоб и отвел глаза.

— Может, мы и ошиблись, — прошептал Юрковский, — но нам столько пришлось потом мучаться... Вспомни голодовку, Мышкин, вспомни, как вся ка-

ский равелин. Мы хотели спасти людей от такой участи... Побег провалился случайно, из-за Минакова. Я предупреждал: отпустить на волю надо только сильных, подготовленных товарищей...

— Вы хотели спасти только сильных? И вас не тревожила судьба остальных?

— Мы подчинялись тюрьме, — еще тише прошептал Юрковский. — Тюрьма решала, кого выпускать. Вот Минаков и завалил.

— Замолчи! — крикнул Мышкин. — «Слабый» Минаков пожертвовал собой ради нас, а мы, «сильные», не ответили даже на его прощальные слова.

...За стеной выла метель, бросая в окно горсти снега. И хотя в камере дуновение ветра не ощущалось, огонек лампы метался и коптил.

Мышкин встал, подвернул фитиль и простучал Попову:

— Надеялся ли «Синедрион» на нашу помощь в деле Успенского?

Наверно, для Михаила Родионыча вопрос прозвучал неожиданно, но Попов ответил тотчас, словно в данную минуту размышлял именно об этом:

— Мы понимали, что централисты — народ умный и не кинутся очертя голову в омут страстей. Ваше появление было весьма кстати: не становяеь резко ни на ту, ни на другую сторону, вы тем самым как бы указали на необходимость взаимных уступок.

— По-моему, «Синедрион» поручил Ковалику окончательное решение вопроса.

— Ковалик вел себя сдержанно. Это предопределило исход. Но общее успокоение и единение пришло, когда ты предложил свой поистине гениальный план побега.

Тюрьма единогласно предоставила право Мышкину бежать первым. В напарники ему выбрали Колю Хрущева, тамбовского медника, мастера на все руки. Лучшего помощника для дальних таежных странствий трудно было найти.

Накануне вечером «Синедрион» устроил торжественные проводы. Заключение по очереди прощались со своими «делегатами на волю». Мышкин не заметил ни одного завистливого взгляда, не услышал недоброежелательных слов, наоборот, он чувствовал, что товарищи рады за него и не сомневаются в успехе. Тюрьма снабдила беглецов новенькими черными полушубками, добротными сапогами, картой, приготовила два мешка пшеничных сухарей и сушеного мяса. Войнаральский выдал из тюремной кассы девятью рублём. Юрковский вручил Мышкину свой револьвер. Рогачев, комически изображая попа, «перекрестил» Мышкина в Казанова, а Хрущева — в Миронова и тут же преподнес им исправные паспорта на соответствующие фамилии. Вечер закончился чтением вслух двух рукописных журналов — «Кара» и «Кукиш». Особое впечатление произвела статья Мышкина в «Каре» о тактике социал-революционеров в легальных условиях (в ней Мышкин повторял свои мысли по поводу государственной службы). Ковалик, смеясь, выразил надежду, что теперь Мышкин непременно добьется места в Сенате и вернется на Кару в качестве царского ревизора...

Днем Мышкина и Хрущева благополучно доставили в мастерскую. Они спрятались в ящиках деревянных кроватей, принесенных якобы для ремонта.

Часов в десять пробили зорю. Значит, проверка прошла и отсутствие беглецов не было замечено.

Хрущев, стоя у окна, следил за перемещениями часового.

Мышкин осторожно поднял люк. Беглецы замерли, но часовой ничего не услышал и проследовал к дальнему крылу ограды.

Землю замели веником, взобрались на крышу, стащили вещи, мешки и прикрыли люк. От глаз часового их скрывало четырехвершковое бревно, выступавшее поверх крыши. Хрущев первым спустился по стене, обращенной в сторону тайги. Мышкин на веревке подал мешок. Внезапно раздались голоса. Хрущев припал к стене, а Мышкин, распластавшись за бревном, вытащил револьвер.

Группа солдат прошла между мастерской и тюремной оградой, остановилась около часового. Солдаты хвастались, что достали водки. Потом голоса смолкли. Солдаты направились к своим домикам. Мышкин спустил второй мешок и соскользнул вниз.

Сначала они ползли, крадучись, перебегали, потом бросились во весь дух к темной сопке. У первых кустов перевели дыхание.

Далеко, посреди ровной, пустой площадки, залитой лунным светом, чернел квадратный ящик тюрьмы. Там, в камерах, товарищи сейчас говорили о беглецах... И странное дело: только-только очутившись на свободе, Мышкин захотел обратно, к друзьям. Сказывалась привычка к обществу, к крыше над головой...

Но его ждала тайга, таинственная и чужая.

Казалось, на этот раз Мышкин все рассчитал точно.

Добравшись до Шилки, они купили в станице лодку и спустились по Амуру до Благовещенска. В Благовещенске сели на пароход, «прошлепали» к Хабаровску, потом вверх по Уссуре к Владивостоку. Но

доезжая до города, сошли в Раздольной (опасаясь проверки документов на пристани, Мышкин решил подстраховаться) и во Владивосток прибыли ночью на крестьянской подводе.

Кажется, он все учел, однако предвидеть события, разыгравшиеся на Каре, не мог.

Вопреки плану, следующих беглецов выпустили через неделю после ухода Мышкина и Хрущева. И этот побег прошел незамеченным. Ободренная успехом, тюрьма заторопилась. Минаков и Крыжаниковский были застигнуты часовым, когда вылезали из мастерской. Их поймали. Начальство забило тревогу, в тюрьме произвели тщательную проверку и обнаружили нехватку шести человек. Фотографии беглецов тотчас же разослали по окрестным деревням. Станичный атаман, проверявший паспорта Мышкина и Хрущева, когда те покупали лодку, вспомнил фамилии, указанные в документах.

И владивостокская полиция уже начала искать Казанова и Миронова. Хозяин гостиницы потребовал предъявить паспорта. Вечером в номер беглецов явились агенты охраны.

Да, его вины в том не было, но сейчас, вспомнив побег, он опять отдался во власть горьких мыслей.

Фатальное невезение? А может, вновь была допущена ошибка? Зачем он стремился во Владивосток? Остались бы в Раздольной, нанявшись на лето к какому-нибудь богатому купцу, к осени скопили бы деньжонок и перешли китайскую границу...

Он ворочался с боку на бок (шорох за дверью, его рассматривают. Дежурный унтер отошел. Наступила долгожданная пауза, во время которой он обычно проваливался в забытье, — сон не приходил)

и пытался думать о посторонних вещах. Не получалось. Тогда он начал припоминать, как плыл по Амуру, как ночевал в тайге.

...Постепенно вырисовывалась чистая поляна, посредине которой возвышалась одинокая, совершенно отвесная скала строгой кубической формы. На вершине скалы росли могучие лиственницы (он понял, что засыпает, и приготовился наблюдать картины своего путешествия — такое с ним случалось неоднократно). Коля Хрущев тащил сушняк, отламывал тонкие веточки, подстилал бересту — он умел разжигать костер одной спичкой. Медведь на отмели застыл с поднятой лапой, не обращая внимания на проплывающую лодку. Станичный атаман, почему-то одетый в жандармскую форму ротмистра Соколова, подозрительно щурился и прятал их паспорта в карман. Черная туча, глухо грохоча, закрывала полнеба; крупные волны раскачивали лодку, хлестал косяк ливень, солнце откуда-то сбоку зажигало водяные брызги, расцвечивая горизонт радугой. Хрущев разводил костер и исчезал; тогда появлялись какие-то люди, косоглазые, с коричневыми лицами; они усаживались у огня, цокали языками, качали головами, явственно слышалось пение якутских шаманов (это было что-то новое, в прежних снах подобные картины не возникали). Тайга поредела, деревья разномастной толпой бежали на запад, перепрыгивая через узловатые корни и старые пни; молодая сосна, споткнувшись, падая, уцепилась за высокую ель, и та, словно солдат на поле боя, волочила товарища на своей спине; сбившись в кучу, деревья, словно задохнувшись, испуганно взметнули в небо зеленые руки — узкая просека, окаймленная неболь-

шим рвом, как стена, преграждала им путь. Эту просеку не перейти. Нужно копать. Он снял плитус, приподнял широкую дубовую доску и спустился в подпол. Слабый отсвет керосиновой лампы пробивался сквозь щель подземелья. Стражники могли ворваться каждую минуту, заколотить доску наглухо гвоздями и тем самым похоронить его заживо. Надо было успеть выбраться во двор. Лежа на левом боку, он линейкой, зажатой в правой руке, ковырял грунт. Линейка ударилась о что-то твердое, выбила искры. Отбросив линейку, он нащупал булыжники, которыми мостили двор. Свобода близко. Последнее усилие, булыжники выворочены. Он вылез наружу... и оказался в тридцатой камере Шлиссельбургской крепости. Смотритель Соколов, широко расставив ноги, стоял над ним и злорадно ухмылялся. Значит, произошла ошибка, он делал подкоп не в ту сторону! Мышкин опять юркнул в лаз, начал яростно орудовать линейкой. Потом вскочил на почтовую тройку и помчался, нахлестывая лошадей. Конные казаки гнались следом, стреляя в воздух. Казаки приближались. В стороне мелькнула охотничья заимка. Скорей туда! Он спрыгивает с повозки и буквально перед носом преследователей захлопывает дверь. Уф, теперь можно передохнуть. Но это не охотничья избушка. Он снова попал в тридцатую камеру. Смотритель Соколов с самодовольной улыбкой расчесывал пятерней свою рыжую бороду...

Всю ночь он куда-то бежал, отстреливался, прятался, но в конце концов оказывался в шлиссельбургской тюрьме. Он проснулся, чувствуя себя больным, физически разбитым, и это пробуждение было как продолжение ночных кошмаров.

Вошли унтера, заставили его подняться, заперли койку. В коридоре мелькнула рыжая борода и серебряный эполет ротмистра.

После утреннего чая неожиданно застучал Попов. По галереям сновали унтера, переговариваться было рискованно, но, вероятно, предыдущий разговор задел Михаила Родионича за живое.

— В убийстве Успенского, — сообщал Попов, — «Синедрион» не принимал участия. Нас поставили перед свершившимся фактом. Но если бы мы поддержали требование тюрьмы и занялись расследованием, то скомпрометировали бы наиболее активных устроителей побега. Вражда могла вспыхнуть с новой силой, началось бы сведение счетов...

Внезапно стук смолк. Мышкин услышал, как внизу хлопнула дверь и на всю тюрьму пророкотал голос Ирода:

— Коли будешь стучать — свяжу. Я выдеру тебя плетями. Читал шестой параграф инструкции? Так помни!

Скотина, он грозит плетями! Мало того, что нас запрятали живьем в могильные склепы, мало того, что нас душат поодиночке, — так еще и издеваются! Решил, что мы запуганы и сломлены? Какая сволочь, какая грязная скотина!

Он заметался, забегал по камере, хотел было барабанить кулаками в дверь, но вдруг в голову пришла простая, ясная мысль: «Зачем медлить? На что надеяться? Колодой гнить, упавшей в ил? Нет, мы еще себя покажем! Конечно, не хотелось бы пачкаться с этим ничтожеством-смотрителем, да делать нечего: едва ли зайдет к нам кто-либо из высокопоставленных палачей!» И, подумав так, Мышкин сразу ощутил прилив сил, спокойствие и уверенность.



После обеда неугомонный Попов застучал снова, но Мышкин не ответил. Разговоры сейчас ни к чему. Главное — не торопиться, рассчитать каждое свое движение.

Наступило время ужина. На откинутую форточку поставили дымящуюся тарелку и кружку. Не подымаясь со стула, Мышкин крикнул:

— Двигаться не могу. Опухли ноги.

В коридоре послышался короткий смешок. «Затих, голубчик, намаялся», — послышался чей-то голос.

Дверь осторожно отворилась. Унтер нес на вытянутых руках тарелку и кружку. Лицо его выражало усердие, а правое веко дергалось, будто в глаз что-то попало.

Дверной проем закрыла квадратная фигура Соколова. Смотритель кашлянул, почесал бороду и заговорил рассудительно:

— Ежели ты тихо, то и я злобы не держу, врача завтра вызову. Ежели притворяешься...

Унтер приблизился к столу, поставил тарелку, и тут в лице его что-то изменилось. Почувяв неладное, он заморгал, в глазах мелькнула мольба, рот скривился, точно унтер собирался заплакать. Мышкин схватил тарелку и швырнул тяжелую медь в рыжее пятно, взвизгнувшее в дверях.

В это мгновение он чувствовал себя счастливым.

## 6

Он лежал в смирительной рубашке, связанный по рукам и ногам, и все его тело было сплошной ноющей раной. На распухших губах он ощущал соленый привкус, один глаз затек, живот как будто раздавили колесом...

Он помнил, как его били сапогами, долго, жестоко; он помнил, как кричал: «Зачем бьете? Расстреляйте, но не бейте!» Возможно, ему почудилось, что вся тюрьма огласилась воплями заключенных, грохотом ударов в запертые двери. Во всяком случае, какой-то посторонний шум заставил жандармов прекратить избивание. Мышкина скрутили, завязали и бросили на койку.

Ему опять не повезло! В последнюю секунду смотритель отпрянул, тарелка со звоном врезалась в железные перила галереи. Он успел заметить, как лицо смотрителя перекошилось... Унтер, принесший ужин, вцепился Мышкину в волосы. Сбежались дежурные... Лет девять назад Мышкин попытался бы отбиться, теперь же послужил легкой добычей для палачей.

Острая боль колола виски, и в такт ей звучали слова шестьдесят пятого параграфа инструкции: «...за оскорбление действием начальствующих лиц суд применяет высшую меру наказания, этой статьей определенную, — смертную казнь».

Словно сквозь сон доходил до него захлебывающийся, торопливый стук снизу. Но как ответить Попову? Даже ноги не слушались.

Все кончено! Суд и расстрел. А на суде он расскажет о зверствах жандармов, о том, как на Каре и в Петропавловке умирали товарищи. Пусть Россия узнает, что творится в застенках!

Связанный, избитый, превозмогая боль и провалы в сознании, он обдумывал свою обвинительную речь на предстоящем суде.

Его развязали на следующее утро и несколько дней не трогали. Правда, на прогулки не выводили, но и в камеру не входили. Еду оставляли в форточ-

ке. Попов стучал не таясь, и их перестуку не мешали. Михаил Родионыч ругал Мышкина почем зря, а Мышкин твердил в ответ:

— Я был инициатором побега, я виноват, что мы очутились здесь. Дальше так жить невозможно... Я решился пойти на смерть, чтоб хоть этим попытаться облегчить участь товарищей.

Тридцатого декабря Мышкина повели на допрос в канцелярию.

...В просторном кабинете, застланном пушистым красным ковром, его ожидал жандармский полковник. На письменном полированном столе были аккуратно расставлены серебряные подсвечники и бронзовые безделушки. Давненько не видел Мышкин других помещений, кроме тюремных, а потому с любопытством разглядывал шкафчик стальных часов красного дерева и буфет с затейливыми рюмочками и графинчиками. Пока Мышкин разглядывал мебель, полковник присматривался к нему. Когда их взгляды встретились, полковник прикрыл веки и сказал чрезвычайно вежливо:

— Прошу покорнейше садиться.

Мышкин опустился в кресло и невольно улыбнулся, услышав знакомый польский акцент в голосе полковника.

— Я весьма опечален происшедшим инцидентом, — мягко заговорил полковник. — И мне и вам невыгодно обострять обстановку, — полковник поморщился (Мышкин готов был поклясться, что полковник прикидывает про себя, какие неприятности лично ему может принести происшествие в тюрьме), — однако я вынужден дать ход этому делу. Почему вы покушались на жизнь ротмистра Соколова? Вам известно о последствиях? Может, смотритель

вас оскорбил, совершив проступок в нарушение инструкции?

Первые два вопроса были заданы скороговоркой, но по тому, с каким нажимом полковник произнес последнюю фразу (даже глаза его блеснули), Мышкин понял: жандарму важен ответ именно на третий вопрос.

— Инструкция составлена так, — сказал Мышкин, — что позволяет любые издевательства над заключенными. Нет, ротмистр Соколов за пределы параграфа не выходил.

Глаза полковника потускнели. Он сразу потерял интерес к разговору.

— Будьте любезны написать объяснение, — вежливым, скучающим тоном попросил полковник и придвинул Мышкину перо и бумагу.

«Зовут меня Ипполит Никитич Мышкин — ссыльно-каторжный государственный преступник, вероисповедания православного, отроду имею тридцать семь лет, —

он покосился на полковника, но тот интеллигентно потупился, —

далее на спрос поясняю, что 25 декабря я действительно бросил тарелку в офицера-смотрителя в семь часов вечера; тарелка эта лежала у меня на столе.

Когда был опрошен смотрителем о причине моего проступка, ответил, что хочу смертной казни...»

Мышкин с минуту подумал. Вряд ли эта записка получит огласку. Доводить до сведения жандармов основные тезисы своей защитительной речи глупо и преждевременно. Ну, конечно, как же он раньше не догадался! Комендант крепости менее всех заинтересован в суде над Мышкиным: мало ли что всплывет на следствии? Может, полковник постарается замять «инцидент» и, чтоб подобное не повторялось,

смягчит своей властью режим в тюрьме?.. Неожиданный союзник! Есть шанс на благополучный исход.

Он обмакнул перо в чернильницу и дописал:

«Подробное развитие... причин моего поступка я отлагаю до судебного разбирательства, так как, по словам коменданта, это теперь не идет к делу».

Попов с энтузиазмом поддержал догадку Мышкина. Разумеется, до суда не дойдет! Вон сколько дней прошло, а Мышкина даже в карцер не посадили. После Минакова еще одна казнь? Всех не перестреляют. «Вот увидишь,— уверял Попов,— скоро разрешат прогулки вдвоем». Естественно, было большое желание поддаться оптимизму Михаила Родионова, но Мышкин настраивал себя на худший вариант. Он вспоминал Кару.

Тогда репрессии последовали тоже не сразу после побега. Правда, власти предъявили ультиматум из трех пунктов:

1. Заключение должны немедленно сдать администрации свое белье, одежду, книги и другие вещи, хранение которых не предусмотрено инструкцией.

2. Надеть кандалы.

3. Побрить голову.

Заключенные ответили, что они готовы в любое время удовлетворить первые два требования, однако унизительную церемонию бритья голов администрация сможет произвести лишь над их трупами.

У тюремных ворот каторжане выставили вооруженные пикеты. Власти сделали вид, что пошли на уступки, и объявили: ультиматум отменяется, заключенные остаются при старых правах. Но как-то

ночью в тюрьму ворвались три сотни казаков. Со спящих срывали одежду, сопротивляющихся вязали и избивали. Половину арестантов маленькими группами, перевели в другие остроги.

Когда в конце июня закованного в кандалы Мышкина вернули на Кару, он застал в тюрьме разительные перемены. Камеры перегородили, превратив их в клетушки. Заключенных держали взаперти, в уборную не выпускали, парашу разрешали выносить только утром. В камерах стояла дикая вонь и духота — это при сорокаградусной жаре! Отобранная у арестантов одежда гнила, сваленная в кучу. Наиболее ценные вещи растащили солдаты.

Прежнего смотрителя, пэкладистого и незлобивога Тараторина, сместили с должности, предав суду. Новые начальники, сменяемые почти через каждый месяц, изошрялись в жестокости. Желая отличиться перед губернатором, они придумывали различные нелепицы: заключенных обвиняли в вооруженном бунте, в хищении золота (господи, ну откуда у каоторжан золото!), искали в камерах динамит.

...Снова меряя камеру шагами от окна к двери, он бросал своим будущим судьям гневные обличения (отговорив примерно час, он потом мысленно редактировал, сокращал и повторял новый вариант речи, — под рукой не было ни клочка бумаги и поэтому приходилось все учить наизусть). Последнее свое слово на суде — фактически завещание — он хотел произнести так, чтоб содрогнулась вся Россия.

— Офицеров, которые были присланы нас «перевоспитывать», — восклицал он, обращаясь к отсутствующей пока публике, — нельзя даже назвать людьми! И неудивительно: их перевели в Сибирь за воровство, обман, пьянство, проигрыш в карты казен-

ных денег и другие проступки. На Каре, чувствуя свою полную безнаказанность, они демонстрировали нам подлейшие качества своих мелких душонок. Привожу в пример свидетельство арестанта Богдановича, он рассказывал мне о зверствах сотника Пучкова: «Когда мы захотели испить воды, сотник Пучков обнажил саблю и заорал: «Это бунтовщики, разбойники, царевичи, бей их прикладом под ребра!» нас заперли в маленькую, сырую каморку и без всякой пищи оставили до утра. Помещение кишело тысячами насекомых. Мы легли прямо на пол, а проснулись оттого, что Пучков в сапогах разгуливал по нашим телам, как по ковру». Привожу другой пример, показывающий «трогательную заботу» о здоровье каторжан со стороны начальства. В соседней камере тяжело заболел Тихонов. Мы потребовали врача. Тюремный медик Сергеевский признал Тихонова симулянтом и отказал ему во врачебной помощи. «Симулянт» Тихонов умер на следующие сутки. Труп два дня не выносили из камеры. Призываю в свидетели заключенного Щедрина, которого по приговору иркутского трибунала приковали пожизненно к тачке. С тачкой он расстался только в Алексеевском равелине, где поведал мне свою историю. После стольких мучений, выпавших на его долю, у Щедрина появились признаки душевного заболевания...

...Почему-то казалось, что судить его будут в том же зале, где происходил «процесс 193-х». Публика займет места в амфитеатре, журналисты очинят перья, первоприсутствующий позвонит в колокольчик, и Мышкин начнет свою речь. По его знаку в зал введут свидетелей — больных и умирающих товарищей, закованных в кандалы, с желтыми, изможденными лицами, больше похожих на мертвецов, чем на живых людей... И тогда он расскажет о голодовке.

...На голых деревянных скамьях лежали карийцы. Одни, скрестив на груди руки и свесив со скамей ноги, скованные кандалами, застыли неподвижно, словно умерли. Другие глухо стонали: с голодным блеском в глазах, они, не отрываясь, смотрели на стол, где дымился котелок свежих щей. Отворачиваться было бессмысленно. Иногда кто-нибудь пытался приободрить товарищей, но слова застревали в горле, язык не слушался. Чернявский метался в бреду и просил пить.

В камеру, нарочно громко топая, входил жандарм со сковородкой, на которой шипело только что поджаренное мясо. Аппетитный аромат жаркого щекотал ноздри. «Хитер комендант, — думал Мышкин, — раньше нас мясом кормили по праздникам, да и то гнилым, а теперь с кухни приносят филе, мягкие кусочки, перцу и приправы не жалеют... Подливка острая, хлеб в нее макнешь — объедение». Слюна заливала рот. Мышкин закрывал глаза. Солдат выходил из камеры. Шипение сковороды затихало. Тонкую пленочку подливки все реже прорывали пузырьки воздуха. Куски мяса с поджаристой корочкой устало ворочались. Когда мясо остынет и обрастет, как льдом, белым жиром — не тот вкус. Вот сейчас — самый сок! Добежать до стола, схватить маленький кусочек (один маленький-маленький кусочек, обмакнуть его в подливу да запить ложкой щей), ведь никто не заметит: товарищи лежат, отвернувшись к стене, а часовой отправился во двор покурить или стоит в коридоре.

Как привязчивую собаку, Мышкин отогнал эту подлую мысль (даже нога дернулась, будто посылала пинок). Но другой голос, голос разумного, интеллигентного человека, начал вещать: «Бессмысленная акция, глупо по существу, преступно для собствен-



ного здоровья. Ради чего? Возвращения книг и письменных принадлежностей, разрешения прогулок и курения табака, отмены бритья голов, удаления на день параш, снятия перегородок — так, кажется, вы писали в своем протесте? И ради таких мелочей вы рискуете жизнью? Вот содохнете, вас закопают, кому тогда понадобятся ваши «идеи»? Человек — это тоже большое животное, он создан для того, чтобы рвать зубами пищу, грызть мясо, жевать хлеб. Такое мясо вам больше не подадут. Его сожрут жандармы и будут еще смеяться над вами»...

Хоть бы папироской затянуться, и то легко. Мышкин глотал слюну и впивался зубами в ладонь...

Появлялся комендант — майор Халтурин.

— Ну как, — бодро вопрошал он, — еще никто не умер?

Потом специальной ложкой измерял уровень щей в котелке, пересчитывал, загибая пальцы, куски мяса на сковородке. Когда майор начинал считать, его глаза алчно поблескивали, но уже на середине счета разочарование проступало на его лице. И, внимательно наблюдая за жандармом, Мышкин забывал в эти минуты про голод и чувствовал себя человеком, победившим в себе скота, животное.

На пятый день голодовки есть совсем не хотелось. Вон в ушах, головокружение.

На девятый день голодовки вместо коменданта пришел его заместитель, капитан Тяжелый. Он объявил, что прибыл чиновник губернатора и просит в канцелярию представителей от заключенных. Встать смогли только Мышкин и Ковалик. Когда они появились на пороге канцелярии, чиновник вздрогнул, опустил глаза и во время разговора старался не смотреть на каторжан. Майор Халтурин кидал злобные взгляды,

но и он смутился, когда Ковалин, решивший говорить первым, закашлялся и, обессиленный, опустился на стул. Требования заключенных изложил Мышкин. Он же, по просьбе чиновника, перечислил эти требования письменно, закончив свое заявление следующими словами:

«Заявление это написано мною, Мышкиным, а не другим кем-либо, собственно потому, что я принадлежу к числу тех немногих лиц, которые, несмотря на недельный голод, сохранили еще некоторые мысли; остальные же голодающие товарищи... совершенно ослабели...»

На тринадцатый день голодовки в коридоре послышался топот десятков пар сапог. Солдаты во главе с капитаном Тяжелым принесли, как обычно, обед, а кроме того, белье, теплую одежду и книги, принадлежащие заключенным. Капитан заявил, что губернатор отменяет конфискацию имущества и возвращает право получасовой прогулки; что же касается бритья голов, то с выполнением этого приказа он подождет до получения ответа от министерства юстиции.

Эту торжественную речь камера встретила молча. Все поняли, что унижительная процедура бритья не отменяется, а откладывается. По-прежнему, запрещалось выходить в туалет, то есть оставляли параша.

Со скамеек поднялись головы. В глазах товарищей Мышкин прочел твердую решимость продолжать голодовку. Но вдруг самый молодой из каторжан (забудем и никогда не назовем его имя) сполз со скамьи, бросился к столу и с дикой жадностью стал пожирать куски мяса.

Капитан побежал к коменданту докладывать о происшествии. В наступившей тишине, нарушаемой

чавканьем отступника, послышался слабый голос Ковалика:

— Жандармы подумают, что в наших рядах произошел раскол, что некоторые трусили...— Ковалик помолчал и добавил: — Не дадим повода для ликования. Предлагаю прекратить голодовку.

...Через две недели опять отняли белье, книжки и насильно обрили каторжан. На повторение голодовки никто не решился.

Вскоре умер Яков Тихонов, рабочий-ткач, участвовавший в организации взрыва царского поезда. Труп не разрешили выносить из камеры. Заключенные сами обмыли тело покойного и, выломав дверь, вытащили его в коридор. Не обращая внимания на крики жандармов, в коридор вышла вся тюрьма. Солдаты бросились за подкреплением. Капитан Тяжелый с полусотней казаков спешил на помощь. Вот он влетел в помещение, выхватил пашку, но замер, взглянув на покойного. Судорога скривила рот жандарма.

— Шапки долой, отдайте честь мученику! — крикнул капитан казакам, и заключенные беспрепятственно пронесли через двор умершего товарища. (Это проявление сочувствия поломало карьеру капитана. В нем проснулось что-то человеческое, он записал, и комендант отправил его в сумасшедший дом. Дошли слухи, что там он пытался зарезаться бритвой.)

Тихонову от роду было тридцать один год, а в гробу лежал высохший, дряхлый старик. При нормальной жизни голодовка подрывает организм, в условиях каторги это почти самоубийство. За двенадцать дней все карийцы постарели лет на десять.

А чего, чего мы добились? Правда, правительство отметило наши усилия и участникам побега предоставило новое место жительства — Алексеевский раве-

лин. Разорили казну на подорожные, прокатились с ветерком по всей России! Однако мало кто радовался такой прогулке: догадывались, куда везут.

В равелине опять намеревались устроить голодовку, но тут уж он, Мышкин, употребил все свое влияние и авторитет, чтоб помешать организованному самоубийству. Обгоревшими спичками он нацарапал Попову записку:

«Дорогой друг! Протест голодовкой — вроде протеста некрасовского «Якова верного, холопа примерного»: казись, мол, моими страданиями! Нашим палачам, и особенно здесь, в равелине, наша тихая и спокойная смерть будет только на руку. Они со строгим соблюдением тайны в этом застенке могут с удобствами выдать нашу гибель за смерть от естественных причин. Нет, я согласен голодать, но вместе с тем будем бросать чем попало в палачей, будем кричать, бить стекла, делать все возможное в этой обстановке, чтобы наш протест стал известен вне стен этого застенка...»

Чего мы хотели? Свидания с товарищами, переписки с родными, книг, табаку... Как мало нам надо было, чтобы продержаться, чтобы иметь возможность выжить...

Лучшие представители моего поколения пришли в революцию не потому, что сами страдали от голода и нищеты, а потому, что не могли смотреть равнодушно на страдания народные. Мои товарищи замучены в неволе, но недалеко час, когда по всей России вспыхнет огромный пожар революции!

Жаль, что мне его не дождаться.

В памяти вырисовываются лица друзей. Но когда он в последний раз слышал их голоса? На Каре, на этапе? В Алексеевском равелине смолкли голоса

товарищей, но их слова, их мысли доходили: во время прогулок заключенные оставляли в урне записки или «переговаривались» при помощи ниток (изобретение Попова — тюремная азбука на узелках). Пока навьешь ниток, нанижешь на них «слова», снова сматываешь нитки в клубок да привяжешь этот клубок к кольцу щетины, добытой из матраца, — день прошел. Развлечение! Зато на прогулке снимаешь с крюка водосточной трубы очередное послание товарища...

В равелине Мышкин познакомился с новым начальством. Ротмистр Соколов (новая метла), сменивший обидчивого старика — прежнего смотрителя, лишал прогулок за малейшую провинность (дерзкий взгляд, резкое слово тоже считалось неповиновением). Но прекратить перестук в камерах он не мог: дверь, ведущая в коридор равелина, скрипела, и этот скрип служил как бы сигналом опасности. «Компания» в тюрьме подобралась разговорчивая, все старые знакомые по пересылкам, централам, Каре. Щедрин был не в счет: его мучали припадки и иногда тишину равелина оглашал «собачий лай». Мышкин не упускал случая включиться в общие беседы, а то и сам затевал дискуссию на злободневную политическую тему, не давая «скучать» друзьям. Но потом, когда его соседи справа и слева — Колодкевич и Арончик — навсегда замолкли, Мышкин оказался в изоляции. И на прогулки он больше не выходил: его свалила цинга.

Ноги распухли, тело покрывалось язвами, зубы шатались, глаза слезились. Он делал несколько шагов по камере и падал на койку, обессиленный. Даже Ирод забеспокоился и привел доктора. Сквозь забытые Мышкин слышал, как тюремный врач сказал: «Недолго протянет». Для умирающего казна расщедрилась: на обед приносили свежую морковь и моло-

ко. И «неблагодарный» больной обманул ожидания администрации — выздоровел и встал на ноги...

Кто же из равелинцев в живых остался? Кто маятся в шлиссельбургских казематах?

Молчит тюрьма. Нет связи. А если суд, если расстрел — на кого он Попова бросает? С кем Михаил Родионыч перестукиваться будет? Опять Мышкин виноват, кругом виноват!

С того дня, когда он запустил тарелкой в Ирода, прошло две недели. В карцер не сажают, на допрос не вызывают... Ужель, как в Новобелгородском централье, обойдется без суда? Умереть по собственной воле инструкцией не дозволено. Обречен «колодой гнить, упавшей в ил» — вот какую казнь ему придумали! Видимо, придется еще раз метать тарелку. И так до тех пор, пока не попадет. Будем бросать чем попало в наших палачей, будем кричать, бить стекла, делать все возможное, чтобы наш протест услышали!

Он терпел девять лет. Каждый раз, видя ненавистное рыло жандарма, он еле сдерживал себя. А как хотелось вцепиться в наглую рожу, бить, душить! Чтобы Мышкин струсил и покорно подчинился иезуитским законам? Никогда! Пока была надежда на свободу, он боролся. Теперь он дорого отдаст свою жизнь. Он добьется суда, он разрушит шлиссельбургское безмолвие!

Как-то вечером, словно очнувшись, он поймал себя на том, что вот уже несколько часов всерьез обдумывает возможность своего участия в заграничном журнале Ткачева. «Ну и размечтался я, — усмехнулся Мышкин. — Насколько я понимаю, мне предстоит путешествие не в Швейцарию, а в места более отдаленные, откуда не возвращаются. Сердобольные власти в припадке либерального безумия в лучшем случае отправят меня в Сибирь, туда, куда

Макар телят не гонял, а уж за границу не выпустят...»

Однако через какое-то время его опять увлекли мысли о журнале... Наверно, стоило бы ввести рубрику «Письма из заключения». Имеют же товарищи право на переписку, например на Каре и еще в некоторых тюрьмах. Письма через верных людей можно переправлять в Женеву — и вот, пожалуйста, готовый пропагандистский материал. Выдержки из писем будем публиковать под заголовками «Факты о зверствах жандармов и тюремщиков» и «Новое в революционной теории». Убежден, что товарищам есть что сказать. Правда, многое пойдет вразрез с идеями Ткачева, но я бы смог доказать ему, что полемика, развернувшаяся на страницах журнала, только подымет тираж.

«Интересно, а каким образом ты собираешься полемизировать с Ткачевым? — с иронией к самому себе подумал Мышкин. — Или тебе уже выправили заграничный паспорт?» Но тут заскрежетал замок, распахнулась дверь, и на пороге выросла фигура Ирода в сопровождении двух унтеров. Смотритель глянул на Мышкина как-то странно — пристально; даже смущенно (что совсем не вязалось с обычным, самоуверенным, хозяйским выражением его лица) — и коротко бросил:

— На суд!

ОТ АВТОРА:

Первых узников в Шлиссельбург привезли второго августа 1884 года. Мышкина судили 15 января 1885 года. За эти пять с половиной месяцев в крепости погибло трое заключенных:

расстреляли Минакова, повесился Клименко, Тиханович умер от болезни и истощения. Два случая самоубийства за столь короткий период (ибо Минаков сознательно шел на смерть, открыто заявляя, что не желает «колодой гнить, упавшей в ил») не поколебали суровый тюремный режим Шлиссельбурга. Власти расценили эти «происшествия» как проявление отчаяния со стороны некоторых «неустойчивых индивидуумов», и только.

Совсем иной резонанс имел поступок Мышкина. Это был откровенный бунт, яростная попытка нарушить шлиссельбургское безмолвие. Протест Мышкина поддержали товарищи. «Посторонний шум» Мышкину не почудился: действительно, вся тюрьма огласилась криками заключенных, грохотом ударов в запертые двери.

Читатель помнит, почему Мышкин решился на роковой для себя шаг. Правда, может показаться, что побудительной причиной к этому послужил так называемый «комплекс вины» (Мышкин неоднократно повторял Попову: «Я был инициатором побега, я виноват, что мы очутились здесь»). Бесспорно, тяжелая обстановка Шлиссельбурга способствовала болезненной мнительности. Однако истинное объяснение поступка Мышкина надо искать в другом. Еще в Петропавловке он заявлял: «Будем бросать чем попало в наших палачей, будем кричать, бить стекла, делать все возможное, чтобы наш протест услышали!» И Мышкин бросил тарелку в зрителя. Для Мышкина это была единственная возможность, чтобы его «услышали». Только этим он мог облегчить участь товарищей.



Мышкина слышали. Администрация вынуждена была пойти на смягчение режима: начиная с весны 1885 года заключенным разрешили прогулки по двое. С этого момента тюремная инструкция затрещала по швам. Подвиг Мышкина вдохнул в узников новые силы. Активная борьба заключенных привела к тому, что в Шлиссельбурге через несколько лет воцарился относительно «либеральный» дух. Днем камеры уже не запирались, арестанты возделывали собственный огород и имели, благодаря этому, свежие овощи. Изменившиеся условия в крепости позволили Фигнер, Морозову, Попову и еще некоторым «старым шлиссельбуржцам» дожить до свободы. Освобождение принесла революция 1905 года.

Показательно, что энергичное сопротивление заключенных отразилось и на тюремном начальстве. В ноябре 1887 года, после самосожжения Грачевского, смотритель Соколов был уволен в отставку за недосмотр. Ревностного служаку разбил паралич. Через год и первого коменданта крепости, полковника Покрошинского, выпроводили в отставку, так как у него проявились явные признаки психического заболевания.

## 7

**Т**ишина в этом каземате была не обычной: она не наваливалась, не давила на уши, не звучала нарастающим звоном-стрекотом миллионов крохотных цикад, она не раздражала, как в новой шлиссельбургской тюрьме, — наоборот, успокаи-

вала, в ней замерли, заглохли столетья, это был другой мир, по ту сторону бытия, отрезанный, окаменевший пласт времени, не нарушаемый никем и ничем. На той стороне, за древними стенами цитадели, остались суета и тщеславие людей, надежды и отчаяние, голоса товарищей и крики жандармов — там осталась жизнь.

Верный своей привычке, он ходил по каземату из угла в угол, «осваивался» с помещением. Он знал, что в цитадели никого больше нет — никого из живых. Правда, может, где-нибудь по двору бродили тени коронованных особ (вспомнился рассказ Попова), погребенных в старой крепости? Мистика, суеверие! Однако по ту сторону бытия, где он теперь пребывал, все могло случиться... Проверим. Он подошел к окну и прижался лицом к стеклу. Совсем близко, на высоком сугробе, желтел квадрат, правильно расчерченный темными полосами решетки. Тень от его головы, нарушив симметрию, заняла половину квадрата. Сколько ни всматривайся, не заметно никакого движения. Спят, черти, не хотят общаться! За пределами желтого квадрата слабо белели сугробы, а далее не то темнела, не то просто угадывалась крепостная стена.

Он отвернулся от окна и посмотрел на керосиновую лампу. Она горела ярко, и фитиль не коптил. Администрация не поскупилась на керосин и новое стекло. Только сейчас он обратил внимание на то, что кровать в каземате обыкновенная, ее нельзя ни поднять, ни запереть. Значит, можно валяться целые дни... Льготы, послабления, Ипполит Никитич!

Который час? Наверное, около трех ночи. Впрочем, какое это имеет значение? На тебя режим не распространяется. Для полного счастья не хватает только ужина, принесенного в постель.

На той стороне словно угадали его мысли: протяжно запела коридорная дверь.

Шаги в глухую ночь! Но он не чувствовал ни малейшего страха; кто к нему шел, можно было догадаться по тяжелой походке.

Ротмистр Соколов вошел в камеру, прикрыв за собой дверь. В левой руке он держал стакан с чаем, правой заслонял глаза от яркого света лампы.

— Я знал, что не спишь,— сказал смотритель ровным, ничего не выражающим тоном.— Вот чай прихватил. Курева хочешь?

Ротмистр опустил правую руку, болезненно щурясь, подошел к столу, поставил котелок, придвинул кружку, вынул из кармана несколько папирос.

— Светло у тебя,— сказал Соколов,— фитиль бы убавил.

Что-то новое появилось в поведении смотрителя. После того, как Мышкин швырнул тарелку, ротмистр не рисковал оставаться с ним наедине и в камеру обычно заглядывал из-за спин унтеров. Сейчас, видимо, он не опасался никаких инцидентов. И Мышкин понял причину этой перемены: отныне смотрителя и заключенного ничего не связывало, отныне он был неподвластен жандарму. Испытанный способ «освобождения» сработал и здесь: с его помощью Мышкин вырвался из когтей якутского смотрителя, с его помощью раскрывались ворота Петропавловки, Новобелгородского централа, спадали кандалы карийской каторги; теперь «головокружительная карьера» государственного преступника достигла апогея! И, наслаждаясь ощущением своей полной неподчиненности никому и ничему, он сквозь зубы процедил:

— Пошел вон!

— Зачем сердисься? — обиделся смотритель.—

Говорили тебе: сиди смирно и ничего не будет. Все торопишься, вот и допрыгался.

Смотритель помолчал, ожидая ответа, затем прежним, бесцветным, ровным голосом добавил:

— Ну, я пойду, служба. Как проснешься, принесу завтрак.

— Послушай! — крикнул вдогонку Мышкин, и ротмистр послушался, остановился. — Прикажи, чтоб утром мне доставили бумагу и чернил. Хочу написать письмо матери.

— Это дозволено, — с готовностью подтвердил ротмистр, стоя к Мышкину спиной и не оборачиваясь.

Удаляясь, затихали шаги, в конце коридора заперла дверь, хлопнула, и сразу с этим хлопком восстановилась тишина, обволакивающая, успокаивающая тишина потустороннего мира.

...Итак, надежды на гласный суд рухнули, его, Мышкина, просто придушили втихомолку. Члены Военного суда, собравшись, как бандиты, на тайное совещание, приговорили «подвергнуть его смертной казни расстрелянием». Военный суд — несколько жандармских офицеров — торопился. Официальный «защитник» почти в точности повторил речь прокурора. Разница была лишь в том, что после каждой фразы защитник горестно вздыхал, а прокурор многозначительно хмыкал. Правда, в отличие от прокурора защитник не упомянул слово «расстрел», а попросил о снисхождении. Новая форма казни — расстрел со снисхождением!

Жить ему оставалось несколько дней. Приговор пошел на «высочайшее утверждение», и соответствующая резолюция последует немедленно. Понятно, почему тянули с судом: заранее согласовывали. Вероятно, милостивое разрешение на письмо к матери тоже поступило свыше.

Несколько дней... Зато полнейшая ясность и никаких иллюзий.

Мышкин закрыл глаза и, как будто провалившись, проспал без сновидений до позднего утра.

После завтрака он вольготно развалился на койке и с наслаждением курил, пуская вверх струи дыма. О предстоящем расстреле он думал спокойно и представлял себе возможные варианты. Он вспоминал книги, в которых рассказывалось о последних днях смертников, и различные легенды о казнях, слышанные им на каторге. Завяжут или не завяжут глаза — это его мало волновало. Он будет стоять с гордо поднятой головой и презрительно плюёт в сторону палачей. Только так! Правительство должно понять, что шлиссельбургские узники не боятся смерти. Всех не перестреляешь! Тогда администрации придется пойти на ослабление режима и на отмену некоторых параграфов инструкций. В этом случае его жертва оправданна. Настораживало другое: из описаний в художественной литературе следовало, что приговоренные иногда теряют контроль над собой. Помнится, на Каре обсуждалась история студента Н. Этот террорист-революционер держался мужественно и дерзко вплоть до момента, пока его не поставили к стенке. Тут нервы сдали: он начал рыдать, молить о пощаде, ползал на коленях. Страх? Вряд ли. Ведь студент был готов к казни. Наверно, помрачение рассудка, когда человек уже неуправляем и не в состоянии отвечать за свои действия. Конечно, палачи торжествовали. Такой радости убийцам Мышкин не доставит. Он должен быть предельно собранным, ни на секунду не расслабляться. Лучшее всего вообще избегать мысли о смерти: его пове-

дут к стене, а он вообразит, что это обыкновенная прогулка. Смерть мгновенна, боли он не успеет почувствовать. Надо смотреть на небо, думать о каком-нибудь философском трактате. Может, удастся совсем переключиться, вспомнить что-нибудь недоговоренное? Например, побеседовать с новым царем. Еще не приходилось? Тем занятнее. «Ну как, ваше палачество, удовлетворены вы еще одной казнью? Легче вам стало, спокойнее? Угрызения совести вас не мучат? Хотя откуда у вас совесть? А вот страх? Ведь придет время отвечать за все злодеяния. Нет, не перед богом — перед людьми!»

Кстати, о боге. Я обещал матери...

Когда Ирод, прячась за унтеров, передал бумагу и письменные принадлежности (в бегающих глазах смотрящего Мышкин уловил неуверенность, смешанную с любопытством, — видимо, ротмистр опять его боялся: смертник способен на все, теперь не угадаешь, бросится ли он с кулаками или в раскаянии будет лизать сапоги. Ирод ждал раскаяния или взрыва отчаяния. Не надейся, сволочь!), Мышкин усмехнулся и потребовал священника.

Подали обед, а через час повели в тюремную часовню.

Священник бормотал молитвы дрожащим голосом. Унтер настороженно сопел за спиной. Мышкин хладнокровно выполнил все необходимые действия церковного ритуала.

Вернувшись в камеру, он сразу сел за стол и взялся за перо.

Письмо к матери:

«Мамаша! Вы мне дороже всех людей на свете! Простите за великое горе, причиненное вам, так как знаю всем сердцем своим, как любим вами. Смерть теперь для меня большое облегчение, ибо не могу я больше так страдать и мучиться, как это было до сих пор. Гибнем мы все тут за правое, за святое дело...

Дорогая моя! Был я на исповеди и причастился. Происходило это в тюремной церкви. Все сделал по-вашему. Умираю спокойно; единственно, о чем жалею, — что не могу вас прижать к своей груди, целовать ваши руки, ваше лицо.

Мамаша! Все мы должны умереть, разница только в сроках. Когда жить становится невозможно, то смерть — спасение и благо. Ради вас я не наложил на себя руки сам, как это сделали некоторые из замученных. У меня же сами мучители отнимают жизнь, и я рад этому: это лучше, чем медленно задыхаться в их когтях. Да и не страшно это — один момент, и все кончено.

Мамочка, дорогая, горько вам, тяжело вам будет, но верьте, что для меня легче умереть, чем гнить здесь долгие годы. Прощайте! Мысленно обнимаю и целую вас, дорогая моя. Умру я с мыслию о вас.

*Ипполит».*

Он перечитал письмо и хотел добавить еще одну фразу: «Молитесь за меня и за Фрузю», но не написал.

За сына мать и так будет ставить свечки перед иконами. На старости лет ее не переубедишь. Пусть верит в своего бородатого бога, который равнодушно взирает на безобразия, творящиеся на земле. Мама,

почему же твой бог не спас Фрузю? Да, совсем забыл: у мамы бог православный, а у Фрузи — католический, разные департаменты. На небесах, как и у нас, разделение на партии. Черт с ними, или, вернее, бог с ними! Фрузя, моя девочка, ты верила только мне...

Он придвинул чистый лист и написал:

«Дорогой брат Григорий! (На второе письмо у него не было разрешения, но вдруг и оно дойдет, чем он рискует?)

Пишу последнее, предсмертное письмо. Прощай, дорогой брат! Но знай, что я ни на шаг не отступил от своего пути. Были моменты, когда я слабел духом и делал ошибки, но я стократ искупил это непрерывной борьбой и страданиями, доведшими меня почти до безумия. Теперь, если я остался виновен перед товарищами, страдавшими вместе со мной, смертной казнью искуплю все невольные мои прегрешения.

Я чист перед собой и людьми, я всю жизнь отдал на борьбу за счастье трудового угнетенного народа, из которого мы сами с тобой вышли. Верю, новые поколения выполнят то, за что мы безуспешно боролись и гибли.

Дорогой брат, пусть тебя не смущает то, что я пишу матери. Да, я исповедовался и причащался, но своих взглядов на вещи я не изменил. Почему я это сделал? По следующим причинам: 1) Ты знаешь, как я люблю мать, а она взяла с меня слово, чтоб перед смертью я причастился. Разве мог я отказать ей? 2) Не сделать этого, а написать ей, что сделал, я тоже не мог. Нельзя лгать перед смертью, лгать при том матери. 3) Для меня все это только пустая комедия, а мать легче помирится с ужасной для нее утратой, если будет знать, что я умер «как христианин».



Верю, что ты поймешь меня. Поймут и другие, когда узнают все. Ах, как бы я хотел обнять всех вас, моих дорогих: тебя, маму... Прощай. Помоги матери перенести горе.

*Ипполит Мышкин».*

Отложив перо, он еще долго сидел неподвижно. Его земные дела кончены. Он никому ничего не должен.

Прошла неделя. Все труднее становилось извлекать мысли о «развлекательной прогулке» с шумовыми эффектами, на которую его могли пригласить в любую минуту. Приговор — он называл его «Прошением на высочайшее имя о переводе государственного преступника Мышкина в острог Святого Петра» (острог представлялся вполне приличным заведением, с мягким режимом Мценской пересылки. В остроге его ждали старые товарищи — Дмоховский, Муравский, Мынаков, Колодкевич. Смотритель — Святой Петр — был еще добрее и сговорчивее, чем капитан Побылевский. Словом, намечалось обычное переселение в другую тюрьму, жизнь в которой, по сравнению со Шлиссельбургом, просто божественная) — так вот приговор, посланный на высочайшее утверждение, застрял где-то в бюрократических инстанциях. Государь-император, как человек незлобивый, естественно, подписал его немедленно и передал адъютанту. У адъютанта, как на грех, было свидание с дамой. Он спрятал бумаги в стол и вспомнил о них лишь в конце недели. Далее приговор понал к писарю, чтоб тот снял копию, и писарь-трудолюбивец уже заострил перо, но тут явился унтер Егорыч, только что получивший жалованье, и приятели отправились на полчаса в ближайший кабаk, а там застряли до утра. Фельдъегерь, бравый гвардеец, зачихал приговор к себе в

папку и, проклиная непогоду, приготовился ехать на Ладогу, но, выйдя из дворца, наткнулся на лейб-гусара, однокашника по Пажескому корпусу. Лейб-гусар уговорил фельдъегеря завернуть по дороге к теще на блины, а когда, хмельной и веселый, фельдъегерь решил продолжить поездку, то сие оказалось совершенно невыполнимо: кучер лежал в карете, пьяный в дым. Разгневанный фельдъегерь дал «мерзавцу» по роже, однако начальству о происшествии не доложил: с него бы первого спросили; дескать, зачем заворачивал на блины. Утром благополучно тронулись, но осоловелый, все еще не протрезвевший кучер наткнулся на тумбу и перевернул возок... Увы, заставить бюрократическую машину крутиться быстрее не в силах был даже государь-император. Терпи, Мышкин, терпи!..

Двадцать пятое января. После суда прошло десять дней. Затерялась «бумага о переводе» в канцеляриях или «августейший император» отменил приговор?

И тогда?

Нельзя надеяться на царскую милость! И не все ли равно, есть еще надежда или нет? Разве это важно?

Очень важно, особенно в тот момент, когда смотришь в узкие, бездонные дула винтовок. Ждешь до последней минуты: сейчас прибежит посыльный, радостно размахивая телеграммой, и офицер скамандует солдатам: «Отставить!» Но нет посыльного, а если он где-то бежит, то не успевает, споткнулся, растянул ногу, прихрамывает. Не успеет!.. Это меня, такого живого, теплого, все понимающего, сейчас изрешетят пулями (и ты схватишься руками за грудь, чтоб заглушить пронизывающую боль. Зачем? Не поможет. И все равно схватишься) и поволокнут бездыханное тело по грязному, окровавленному снегу вниз

лицом (какая тогда тебе разница, все равно не почувствуешь)? Нет, нет, нет!

Нет!

Он сжал ладонями виски. Неужели он кричал? Его верный страж (с недавних пор в коридоре круглосуточно дежурил унтер) заворочался на стуле, хмыкнул, подошел к камере, заглянул в глазок. Мышкин демонстративно сделал недовольное лицо: чего беспокоит попусту? Унтер многозначительно покашлял: дескать, ничего не желаете? Ничего не желаю, проваливай на место.

В Алексеевском рavelине смертельно больной Колодкевич находил в себе силы (явственно слышался стук его костылей) приковылять к стене, смежной с казематом Мышкина, и «протелеграфировать» ободряющие слова...

Эй, кто-нибудь живой!

В коридоре кашляет, ворочается на скрипучем стуле унтер. Достойный собеседник... Расскажи, друг ситный Африкан Иваныч, скольких людей ты на казнь провожал? И как они: маялись, пощады просили, за дверь и за выступы в стене руками цеплялись или плевали в твою невытую рожу?

А что, господин полковник, окажите любезность, поделитесь опытом: все ли смертники сначала вели себя тихо, а под конец в буйство бросались? Типичная, так сказать, картина... «Еще Польшка не сгниела, поконт мы жиемы»... Но почему именно вы живы и процветаете, а Сушинская умерла в ссылке, а Дмоховского отпевали в тюремной часовне? Не торопитесь уходить, господин полковник, пожалуйста, побеседуем на нейтральную тему: «Принятие христианства на Руси». Кстати, ваш долг христианина — облегчить последние часы смертника. Ужель не завернете ко мне на огонек? Вон как лампа ярко горит, и

керосин недавно подливали, значит, еще не сегодня, еще выпадет мне несколько дней...

Идут, идут, идут. Конец! Но почему? Ведь моя жизнь только началась. Я так мало успел сделать. Я хотел людям добра! Почему за мной пришли так быстро?

Принесли ужин. Не желаю, подавитесь своей вонючей баландой! Лягу на койку и не встану. Вот так. И буду лежать всю жизнь. Лежачего не бьют. В лежачего не стреляют. В меня не попадешь, когда я пластом на койке...

Ипполит! Что подумает Ковалик, что подумает Порфирий Войнаральский, если они узнают, как ты поддался страху? Нет, я не испугался. Вот даже Ирод ничего не заметил. Товарищи, я не боюсь! Минутное затмение. Полежу, отдохну. Устал я, очень устал. Если это случится, когда за мной придут и я не смогу двигаться, то скажу, что болен, приступ ревматизма, ноги парализованы, помогите, господа почтенные, добраться до стёны, спокойно так скажу, дескать, просто устал, господа, набегался... Лампа коптит. На потолке черное пятно. Пусть коптит. Потолок станет черным, и огонь погаснет. Темнота.

*...Луна выглянула из-за туч. Забелел, заискрился снег во дворике. Комната наполнилась блеклым, синеватым мерцанием. Дверь бесшумно отворилась, слышались легкие, знакомые шаги.*

*Он протянул руки навстречу.*

*— Ты пришла, моя девочка!*

*Супинская приложила палец к губам и сделала знак следовать за ней.*

*Они вышли в коридор. Железные решетчатые галереи опоясывали этажи, сотни огоньков ровными*

рядами уходили вглубь и там сливались прерывающейся линией,— за видимой границей коридора углублялись еще более обширные помещения.

Фрузя вела его вниз по скрипучим лестницам, тысячи дверей оставались за спиной, керосиновые лампы светили, как лампадки под образами, и в раскрытые форточки выглядывали лица людей, которых Мышкин когда-то где-то видел... Якутский губернатор окинул его хмурым взглядом, а когда Мышкин поравнялся с другой камерой, то услышал властный, холодный голос: «Поручик Мирович?»; исправник Жирков, высунувшись почти по пояс, чистил ножичком грибы; старик крестьянин, увидев его, перекрестился; в одной из камер Мышкин разглядел весь карийский «Синедрион»: товарищи сидели за столом, склонившись над дымящимся котелком...

Наконец они спустились в полутемный вестибюль, и Ирод, взяв под козырек, просипел: «Тут, брат, свои законы, привыкай поворачиваться». Потом Ирод навалился на массивную створку ворот, и она, заскрежетав, поддалась.

Мышкин выскользнул на мощный булыжником двор, оглянулся. Кирпичная мрачная стена возвышалась над ним, почти упираясь в неподвижные серые тучи. Распластав крылья, с ворот свешивался двуглавый орел. На воротах медью было выведено:

### «Г о с у д а р е в а»

— Пудик, милый, чего ты медлишь? — ласково спросила Фрузя, и Мышкин проснулся.

Тонкая струйка копоти вилась над лампой, цепляясь за темные разводы на потолке. В окно пробивался фиолетовый рассвет.

Мышкин встал, подправил фитиль, умылся, оделся. Он знал, что скоро за ним придут. Супинская его предупредила. Аккуратно и четко он вывел на крышке стола: «26 января я, Мышкин, казнен», — и прикрыл надпись бумагой... Весточка товарищам. Он чувствовал себя спокойным и чертил на листках какие-то линии. Получались решетки, целая коллекция решеток. Останется после него на память.

Но когда пронзительно завизжала дверь и в коридор ворвался топот десятков сапог, Мышкин сразу ощутил слабость во всем теле. «Надо упасть на пол, меня не смогут вытащить, я тяжелый! Лежачих не бьют и не расстреливают!»

Нет, бьют! Он вспомнил, как его недавно избивали унтера, как пинали сапогами под ребра, и это воспоминание привело Мышкина в ярость, придало ему силы. «Живым не дамся! Чтоб я покорно, как овца, позволил себя убить? Нет, я выжду удобный момент и изуродую напоследок рожу главному палачу! Только так!»

Пружинистым, энергичным шагом он вышел на большой двор Цитадели и увидел строй солдат.

На кого же броситься? Ни коменданта, ни смотрителя... Несколько незнакомых офицеров... Наверно, этот капитан будет командовать.

В смутном предутреннем сумраке Мышкин различил отчетные круги под глазами капитана — вчера небось изрядно принял для храбрости. Когда он поравнялся с офицером, на него пахнуло вишным перагаром.

Мышкина повели мимо ошетилившегося винтовками строя. Солдаты с посиневшими от холода лицами провожали его затравленными взглядами.

Здесь, у этой стены.

Офицер беззвучным голосом что-то читал перед

строим, вероятно приговор. Ветер махнул белым крылом с крыши, сорвал фуражку с головы офицера, и тот, прервав чтение, неловко присел, нащупывая фуражку в снегу. «Да не сон ли это? — промелькнула мысль. — Нет, мерзейшее утро, такое не приснится... Почему же я медлю? Вот солдаты вскинули винтовки... Кто же главный палач? Капитан, который снял перчатки и растирает замерзшие пальцы? Холодно ему... Старается не смотреть в мою сторону.

Сейчас все кончится. И я получу волю!

А эти люди нескоро выйдут из крепости. Они, как заключенные, заперты в Шлиссельбурге. Ведь вся Россия — Шлиссельбург»...

И Мышкину стало жалко тех, кто остается в этой огромной тюрьме, и он почувствовал, что его губы кривятся в дергающейся, нервной улыбке.

## *Гатчинский дворец*

**Д**верь, кажись, не скрипнула, не дернулась, не отворилась, а князь Долгорукый — вот он, вполз, влетел, просочился. И кто впустил? Как пролез? Впрочем, бесполезно охране указывать, такие прохиндеи без мыла в... влезут. А князь уже тут, у стола юлил, в глаза заглядывал. Руку дай ему — оближет. И лепетал, лепетал слова льстивые, несуразные:

— Здоровьице-то как драгоценное, Петр Алексеевич?.. Погодка понче... метет. Давно вас в столице не видно... Смирнов хвастался: рябчики отменные приготовил...

А ведь вправду рябчики у Смирнова хороши... И не жался князь, заказывал, да и сам Смирнов, купеческая морда, ковром стелился: такие гости в ресторацию пожаловали! И, вспомнив это, смягчился Петр Алексеевич, лишь коротко бросил:

— Не надейся, не примут, заняты!

— Шутить изволишь, — запричитал князь Долгорукый. — Куда мне так высоко? Ты, друг сердешный Петр Алексеевич, о просьбе моей шепни. Замолви



словечко перед матушкой-государыней. Ведь клялся-божился, что замолвишь!

Усмехнулся Петр Алексеевич и откинулся на спинку кресла.

— Раз обещал — дело сделано, замолвил.

— И она? — зажглись глаза у Долгорукого, как у кошки зажглись, что мышь жирную почуяла.— И что матушка Мария Федоровна?

Петр Алексеевич сделал паузу, прислушался. За двойными дверьми кабинета было тихо, — знать, еще не время, еще не приспичило.

— А матушка-государыня, — начал Петр Алексеевич неторопливо, нарочно растягивая каждое слово, — удивиться изволила. Как же, говорит, я князя послом назначу, когда место это занято?

— А ты сказал, сказал, как договорились, — перебив его, затараторил Долгорукий, — что ежели место освободится, чтоб меня имели в виду? Было бы обещано, это главное.

— Она пообещала, да я ей отсоветовал.— И, насладившись изумлением князя, Петр Алексеевич неторопливо продолжал: — Вы, говорю, ваше величество, характера князя Долгорукого не знаете. Князь — человек плотный, от своего не отступится. Пообещаете ему место, так он в Данию поедет, посла отравит, убьет или еще какое злодейство учинит, чтоб место поскорее освободилось.

— А шутник ты, генерал... — голос князя как-то опал, стал пожиже.

За дверьми, за двойными дверьми кабинета, наконец прорезалось: глухое, тяжелое громыханье, словно пушку везли по мостовой, и тонкое поскрипыванье, повизгиванье, как будто одно колесо не смазано. Петр Алексеевич сдвинул брови и коротко бросил:

— Не в духе!

И не стало Долгорукого. Дверь приемной не хлопнулась, не дернулась, а исчез Долгорукий, растворился. А может, в форточку вылетел?

Меж тем пушка за двойными дверьми кабинета грохотала все громче. Уже не слышно было визга несмазанного колеса, и вот как выстрел распахнулась одна из створок двойной двери, и тогда прорезался громовой баб!

— ...опять в Париж? Русские деньги на французских шлюх тратить? А служить отечеству кто будет?..

Хлопнула дверь, заглушив голос. За двойными дверьми кабинета тишина, словно перекур устроили; скрипнула одна створка, скрипнула другая — и вот в приемную осторожно вылез человек в белом генеральском мундире. И встал Черевин, и даже несколько вытянулся, и лениво склонил голову.

...Перед начальником личной охраны директора департаментов в три погибели сгибались; на членов Государственного совета он глаз не подымал; министры, коли им было назначено, на цыпочках пробежали, — а тут стоял генерал-адъютант Черевин: все-таки их высочество.

Тем временем человек в белом генеральском мундире, великий князь, достал скомканный платок, вытер мокрый лоб.

— Не любит меня государь, — сообщил он Черевину трагическим шепотом, — не любит. Господи, ну чем я провинился?

Их высочество великий князь проволочил свое тело к дверям приемной. Генерал Черевин молча следовал за ним.

«И за что тебя любить? — думал Петр Алексеевич, возвращаясь в свое кресло. — Любовницу завел... Его величеству, думаешь, не известно, как ты в Карлсбаде с баронессой гастролировал?.. Вон их высочество

Константин Николаевич, даром что дядя, а понимает, из Ялты носа не высовывает».

Окажись в приемной совершенно посторонний человек, он бы никогда не догадался, что вдруг чудесным образом преобразило Черевина. На лице генерала заиграла радостная улыбка, весь он засветился лаской, добротой, преданностью. А ведь не раздалось ни звонка, ни стука; но, зная, услышал Черевин только ему одному ведомый сигнал и уверенным, бодрым шагом заспешил в кабинет.

Он давно привык к этому кабинету, ведь бывает тут ежедневно по нескольку раз. Все знакомо: и шкафчик стенных часов из красного дерева, и большой полированный стол, на котором аккуратно расставлены серебряные подсвечники и бронзовые безделушки, и буфет, откуда откровенно выглядывали хрустальные рюмочки, намекая на то, что его величество совсем не прочь позволить себе... Но вот ковер, безбрежный, пушистый красный ковер, всегда в первый момент смущал Черевина, и генерал-адъютант ступал на него с опаской. Еще бы: сколько судеб ломалось на этом ковре! Какие летели головы, и не раз кого-либо из министров или высших сановников поражал громовой возглас: «Чтоб ноги вашей тут не было!»

Огромного роста бородатый мужчина в старом, выцветшем генеральском мундире без погон и высоких сапогах стоял у окна кабинета. При виде Черевина голубые холодные глаза бородатого мужчины потеплели, и раздался голос, мягкий, спокойный, совсем не похожий на грохот тяжелого орудия:

— Вот что, Черевин. Мне матушкины устрицы вот где сидят! — И мужчина показал точно то место, где у него сидят матушкины устрицы. — А ты тихо слетай в охотничью команду и попроси с кухни бор-

ща, а потом кулебяки или каши с барабиной, понимаешь?

Понимал Черевин, еще как понимал, и радостно и светло ему становилось от этого понимания. И стоял он в дверях кабинета, тая от блаженства, молча ждал других слов, знал, что они обязательно последуют, И голубой глаз хитро, по-заговорщицки подмигнул ему:

— А что, Черевин, голь на выдумки...

И тут одновременно, словно по команде, и Черевин, и бородатый мужчина глянули в сторону другой, потаенной двери в стене, и дверь неслышно отворилась, и появилась женщина, женщина уже в годах, но с лицом красивым, и поплыла, поплыла прямо к бородатому мужчине. Голубые глаза сразу стали испуганными и круглыми, и Черевин тотчас изобразил соответствующую мину на своем лице: дескать, все шито-крыто, никто никому ничего не говорит.

Женщина тем временем подошла к его величеству, легонько повернула его спиной к окну, провела пальцем по рукаву мундира и точно, зацепила, нашла дырку у локтя!

— Заштопать надо, Сашенька! — тихо сказала женщина и вздохнула.

Вздыхнул и Черевин, хотя вздыхать было бесполезно.

Уж ежели государь-император влезал в какой-нибудь мундир, то вытащить его оттуда не было никакой возможности. До дыр занашивал. Царица могла распорядиться, чтобы заплату поставили или заштопали, но не больше. Парадный мундир раз в год, по большому празднику, надевал Александр Александрович, — матушка-императрица чуть не на коленях упрашивала. А уж, кажись, именно ей император слово поперек боялся вымолвить!

Генерал-адъютанта Черевина подташпывало от придворных дам. Графов и князей, шушеру дворцовую, на дух не переносил. Государственных министров презирал, великих князей ненавидел. Генерал-адъютант Черевин свято, истово любил только одного человека — его императорское величество. Будь генеральская воля, он бы на пушечный выстрел не подпускал к Александру Александровичу всю эту шантрапу, зря только время государево отнимают! Но императрицу Марию Федоровну — тут уж ничего не поделаешь... Императрице Марии Федоровне можно... И, конечно, почитал ее генерал Черевин, но люто ревновал к ней его величество! Ведь Александр Александрович, сердце ангельское, как мальчишка любил свою жену, любил только ее. И в любой момент могла Дагмара (вот только в этом проявлялось нерасположение Черевина: иногда про себя называл он Марию Федоровну ее настоящим именем — в девичестве она была Дагмарой, принцессой датской) — так вот в любой момент могла Дагмара увлечь его величество в свои покои — для забав супружеских. А что скрывать: его величество рад-радехонек, небось только и мечтает об этом! Вот и сейчас все без слов договоренное могло поломаться.

Потупил глаза Черевин и услышал голос заискивающий:

— Дела, матушка. Я в кабинете отобедаю.

«Авось, бог милует,— подумал Черевин,— не сорвется!» Осторожно прикрыл за собой дверь и заспешил в охотничью роту, на кухню, за обедом.

Обед был доставлен точно по заказу. Но знака условного не последовало,— значит, опять появилась Дагмара. Петр Алексеевич подремал немного еще в

кресле, а потом, несмотря на полную тишину, царившую в приемной и за двойными дверьми, по одному ему ведомым приметам определил, что увела императрица его величество...

Тогда встал Черевин и пошел по своим делам. Отобедал, провел совещание с господами офицерами, заглянул на плац, где полковник фон Пален гонял маршем роту гвардейцев. Кто-то из офицеров сказал, что видели государя в саду играющим с детьми. «Это надолго», — подумал Черевин и отправился в казармы. Однако часов в семь вечера Петр Алексеевич сидел в своем кресле у двойных дверей, и, хотя из кабинета не доносилось ни звука, он знал, точно знал, что государь там.

«Заработался он сегодня, — ворчал про себя Черевин. — Войти или не войти?»

Начальник личной охраны никогда бы не осмелился войти в кабинет царя днем, но вечером... вечером — другое дело. Конечно, государь работает, но Черевин знал, что его величество не прогневаётся, если генерал поскребется в дверь.

— Что, Черевин, не терпится? — скажет государь, а сам будет рад-радехонек. — Ведь от работы лошадидохнут.

«Нет, — решил Черевин, — сегодня пускай Александр Александрович первыми позовут».

Вдруг в приемную галопом заскочил дежурный флигель-адъютант и, чуть затормозив, перейдя на иноходь, заскакал к Черевину (Черевин, бывший кавалерист, определял придворных своими особыми мерками: одни ходили рысью, другие — аллюром, этот адъютантик был явно иноходцем). Иноходец-адъютант продышал нечто в ухо генералу, и генерал скривился, словно в этом ухе у него начало стрелять:

— Доложи графу: его императорское величество у себя в кабинете.

В жеребачьих, наглых глазах адъютанта промелькнули искры. За последние два часа никто из придворных не мог бы точно показать место, где находился его величество. Но раз Черевин сказал, адъютант ему поверил и загарцевал к выходу.

«Левая задняя и передняя вперед, теперь правая задняя и передняя — точно иноходец» — так комментировал Черевин походку адъютанта. Действительно, правую руку адъютант заносил вместе с правой ногой. «И чего приперся, старый гриб,— продолжал размышлять Черевин.— Ну и паскудный денек выдался!»

Два человека имели право приезжать в Гатчину к государю в любое время дня: обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев («старый сын», по определению Черевина) и министр внутренних дел граф Толстой («старый гриб»). «Старого сына» Черевин немного побаивался: еще бы, перед ним благоговел сам государь! Но сегодня изволил пожаловать «старый гриб». Петр Алексеевич отлично знал цену министру. И делами министерства фактически вершили Оржевский и Плеве, но все-таки как-то отдаленно граф Толстой был в некотором роде начальником над Черевиним. И генерал встал и, тихо чертыхаясь, пошел к дверям, а навстречу ему старческой рысцой трусил их сиятельство.

Потом, примерно полчаса, сидел Черевин в кресле, пофыркивая, как боевой конь, которого забыли вывести из стойла, пока опять не услышал одному ему ведомый сигнал. Сигнал означал: «Черевин, выручай, надоел мне зануда-граф!» Со скучным, служебным лицом вошел Черевин в царский кабинет и, стоя в

дверях, глядя преимущественно на графа, сухим, бесцветным голосом сообщил:

— Осмеюсь напомнить, что его величество благоволил сегодня проверить сторожевые посты. Господа офицеры ждут!

«Старый гриб» засуетился и вытащил из папки продолговатый конверт:

— Агентура перехватила одно прелюбопытное послание, адресованное графу Адлербергу от...— «старый гриб» многозначительно кашлянул, косясь на Черевина,— от одной особы, находящейся в данное время в Швейцарии.

«От Катьки Юрьевской»,— расшифровал про себя Черевин.

— Письмо, несомненно, представляет государственный интерес,— продолжал граф.— Прошу всемогущественнейшего разрешения огласить некоторые важные места...

Его величество встал из-за стола, засунул руки в карманы, подошел почти вплотную к графу и, нависнув всей своей громадой над сгорбленной фигурой «старого гриба», отчеканил:

— Вынужден напомнить, граф, что я чужих писем не читаю!

«Сейчас «кондратий» хватит старого гриба»,— меланхолично отметил про себя Черевин. Но нет, устоял «старый гриб», только еще больше согнулся. Дребезжащим, жалким голосом проблеял:

— Не осмеливаюсь далее занимать драгоценное время вашего величества. Докладываю напоследок, что государственный преступник номер девятнадцатый, содержащийся в заключении в Шлиссельбургской крепости, по приговору военного трибунала казнен вчера утром,— граф быстро пролистал бумаги и вахлопнул папку.— Если вашему величеству благо-



угодно вспомнить, преступник покушался на жизнь ротмистра Соколова при исполнении последним служебных обязанностей. Преступник швырнул в смотрителя медной тарелкой.

Его величество круто повернулся и направился к окну. Раздвинув портьеры, он некоторое время смотрел сквозь темное стекло, затем ответствовал, точно резолюцию проштамповал:

— Что за нахалы! Даже там не могут вести себя прилично!

Наконец спровадили «старого гриба». Без лишних разговоров, быстро и привычно сели за ломберный столик, распечатав колоду, сдали. Голубой веселый глаз подмигнул Черевину, и Черевин радостно, с готовностью заморгал в ответ.

— А что, Черевин, голь на выдумки хитра?

И оба, не сговариваясь, посмотрели в сторону болевой двери, но дверь не шелохнулась. Как по команде, каждый полез за голенище правого сапога и вытащил оттуда по плоской фляжке с коньяком. Быстро отвинтили крышечки... Один глоток, второй, третий...

— Хитра голь, Черевин?

— Хитра, ваше величество!

И только завинтили крышечки и спрятали фляжки за голенища, в потаенные карманы, как из боковой двери бесшумно вплыла в кабинет государыня Мария Федоровна. С ровной и ясной улыбкой на лице, она обогнула стол, заглянула за портьеру, потом остановилась за спиной его величества и втянула носом воздух. Тень промелькнула на прекрасном лице императрицы. Нежно мурлыкая французскую арию, Мария Федоровна, как бы невзначай, от нечего делать, перебрала тонкими пальцами стопку бумаг на письменном столе государя, выдвинула ящички, не полс-

вилась, глянула под ломберный столик, еще немного покружила вокруг игроков. На лице государя появилась капризная гримаса, ему явно не шла карта. Успокоенная, Мария Федоровна поцеловала государя в щеку и выплыла из кабинета. «Заговорщики» перемигнулись.

— Хитра голь на выдумки, Черевин?

— Хитра, ваше величество!

Особенно поражало Черевина умение императора не пьянеть. Вот и сегодняшний вечер пройдет как обычно. Конечно, они осушат свои фляжки и Черевин принесет новые. И государь будет высказывать здравые, точные суждения о делах международных, о крестьянском вопросе, не забудет и своих детей, и многочисленную царскую фамилию. Заботы всей России умещались в голове государя императора! И только Мария Федоровна своим женским, любящим сердцем чуяла, что постепенно «нагружается» ее Сашенька. Но как — этого она не могла понять...

С умилением наблюдал Черевин, что эта их игра в «голь на выдумки хитра» забавляла его величество словно ребенка. В сущности, он и был большим дитем — любимый император генерала Черевина... Разве мог кого-нибудь обидеть добрый и справедливый Александр Александрович? Только социалисты, евреи и иностранные шпионы таили злобу на государя, только они вынашивали злодейские заговоры! И когда Черевин вспоминал о существовании этих тайных врагов, его скулы сводило от ненависти.

— Раз, два, три... Хитра голь на выдумки, Черевин?

— Хитра, ваше величество!

В кабинет врывалась матушка Мария Федоровна, да поздно; пустыли фляжки в потаенных карманах голенищ.

А государь высказывал свои сокровенные мысли. Он знал, что найдет в генерале Черевине не только преданного слугу, но и верного соумышленника. Как собака, все понимал его друг-собутыльник генерал Черевин, понимал и помалкивал.

— России нужно,— говорил император,— православие, самодержавие и народность. Кто, как не государь, позаботится о мужике?..

— Все законы должны идти только от царя! Помню, когда освобождали крестьян, комитеты заседали неделями, министры воынили, а мой августейший батюшка стучал кулаком по столу и повторял: «Я требую реформы,— значит, будет реформа!»

И увидел Черевин, что глаза государя помутнели от слез, и тяжело вздохнул, и истово перекрестился, и помянул генерал в своих молитвах в бозе почившего августейшего Александра Николаевича. И, тяжело вздохнув, скорбя сердцем, удалилась в свои покои Мария Федоровна, поняв, что и на этот раз не уследила...

И потом, отбросив карты и уже не опасаясь боковой дверцы, государь и начальник его личной охраны пели

Умер, бедняга, в больнице военной,  
Долго и тяжело страдал...

— грустную песню о несчастной судьбе старого солдата, отдавшего свою жизнь за царя и отечество.

Александр Александрович Романов роскоши не терпел и занимал во дворце самые незначительные комнаты: и кабинет у него был небольшой, а спальня, его личная спальня, в которую он отправлялся, когда его не изволила принимать нежнейшая, драгоценная супруга (не переносила она винного запаха,

бог ей судья!), — так вот спальня у государя-императора была вообще крохотной. Четыре шага от стены к стене, два окна, офицерская деревянная кровать с жиденьким матрацем, шкаф для белья, шкаф для одежды. У кровати на маленьком столике стоял бронзовый подсвечник и лежала Библия. На стене — икона богородицы и портрет отца, Александра Николаевича.

Из ящичка стола достал Александр Александрович папиросные гильзы, набил табаком, прикурил от свечи.

Спать не хотелось.

Александр Александрович обладал удивительной способностью моментально трезветь. И вот сейчас недавнее состояние опьянения сказывалось лишь в том, что он чувствовал себя несправедливо обиженным, ему было жалко самого себя.

И почему Маша на него гневается? Ведь он же не развратник, за юбками не бегаёт, ночи за картами не просиживает, ну, есть за ним слабость: любит он отдохнуть вечером, после трудов праведных. Так ведь за двойными дверьми, достоинства царского не роняя; и как можно на него гневаться, что он — не человек? Маша, ангел, конечно, любит его, но не понимает.

Никто не понимает.

Никто не бережет его покой. Граф, ищейка полицейская, на ночь глядя о княгине Юрьевской напомнил. Наград ищет — вот и примчался. Дескать, отличились, важное письмо перехватили. О белой ленте мечтает граф и не ведаёт, что княгиня Юрьевская — боль в сердце императора, обида кровная. Зачем же беречь старую рану? При живой матери Александра Александровича, пользуясь незлобивым, кротким характером императрицы, привел августейший отец Александр Николаевич Катюку Юрьевскую в Зимний

дворец и поселил в особых комнатах, над покоями своей жены. А в бозе почила маменька, так через полгода тайно венчался отец, венчался церковным браком с княгиней Юрьевской. Каково было ему, Александру Александровичу, наследнику царскому, такой позор испытывать! Свет весь потешался. Каково было отцу в глаза смотреть, а ведь любил он папеньку, почитал! Грязь и разврат наводнили страну. Великие князья официальных любовниц содержат. Как же народ в страхе божьем воспитывать, когда сами потеряли стыд и совесть? Думал ли отец, что дети его от Юрьевской будут мнить себя наследниками российского престола? Доносит Толстой, что не оставила княгиня мыслей о царском венце. Вот какое наследство получил Александр Александрович!

Не ему было назначено царствовать, да старшего брата, Николеньку, призвал господь. И свалилась на Александра Александровича ноша тяжелая, империя Российская. В страшное воскресенье определилась его судьба.

Великим самодержцем был отец: войну выиграл, крестьян освободил, реформы провел. Но добр был император, полагал, что людьми правит, а в России — скоты. Скоту палка нужна. Царь свободу дарил, а вместо благодарности за ним, как за диким зверем, охотились.

В страданиях неслыханных почил государь, и ликовали враги, и неуловим был тайный комитет террористов...

Вот какое наследство получил новый император!

Затушил папироску Александр Александрович. Прислушался. Легонько позванивали стекла. Что-то тяжелое, мохнатое наваливалось на окна: метель бушевала на улице.

Император подошел к правому окну, отодвинул портьеру, распахнул створку. Снежный заряд ударил в лицо; метнувшись, словно в крике, захлебнулось пламя свечей; в спальню ворвался свист метели и еще какие-то заунывные звуки: то ли стонали деревья в саду, то ли перекликались часовые.

Александр Александрович вдохнул несколько раз сырой, морозный воздух и захлопнул окно. Можно спать спокойно. Гатчинский дворец был построен по всем фортификационным канонам и как крепость выдержал бы любое нападение. Да и Черевин не дремал. Сколько бы фляжек ни пропустил генерал накануне вечером, но ночью обязательно все посты обойдет и в шесть утра первый со сменой караула явится — уж в этом царь был уверен.

Раздевался — свечи не зажигал. И мысли в голове, словно живые существа, словно куры сонные, отпавились на место, на насест, и не выскакивали, не тревожили — так, изредка ворочались.

...Думали супостаты, что ежели царя убить, то смуты и волнения охватят страну. Но народ пошел за государем, и вот неизбежна, неколебима стоит Россия на страх врагам, ибо царская власть богом признана и народу угодна.

...Железные кордоны на границах поставлены — не пробить их развращенному социалистами Западу. Да разве понимают эти очкарики, вскормленные клеветой и немецкими сосисками, темную душу русского народа! И это они осмеливаются поучать, советуют ввести конституцию, выборы?

...Враги внутренние в Шлиссельбург надежно запрятаны, сам место для государевой тюрьмы выбирал, ибо еще в Писании сказано, что чумных и прокаженных отдельно содержат. Заразу надо изолировать от общества.

...Лично он к преступникам зла не имеет, но ведь не успокаиваются злодеи. Полгода прошло, как в крепость врагов заточили, а уж второй супостат безобразие учинил. Кстати, и это недосмотр! Две казни за полгода, пожалуй, многовато. Пронюхают целкоперы на Западе — визг подымут. Может, смягчить инструкцию? Ну, скажем, разрешить прогулки по двое. А в камерах пусть ремеслом занимаются — корзинки плетут? Не вольготно ли стапет в Шлиссельбурге? Да нет, не должно... И потом, кому назначено, того божья кара не минует. Ну, а ежели образумятся, веру христианскую примут, ежели искренне раскаются в содеянном, что ж, облегчит душу грешникам государь император своей царской милостью. К врагам он беспощадеи, но добр к верноподданным.

И вдруг мысль (словно спичкой чиркнули) темноту прорезала и сон прогнала: да, умирают в казематах преступники, на казнь идут, но ведь ни один злодей не покался!

Никто о помиловании не просил!

Значит, опять замышляют...

Шевельнулась занавеска у левого окна, и вскочил с кровати Александр Александрович, зажег свечу, босыми ногами протопал к окну, глянул за портьеру. Потом подошел к шкафу, рывком распахнул дверцы. Потом во втором шкафу — за одеждами пошарил. Потом гягнулся и заглянул под кровать.

*Гладилин Анатолий Тихонович.*

Г52 СНЫ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ КРЕ-  
ПОСТИ. Повесть об Ипполите Мышкине.  
М., Политиздат, 1974.

334 с. с илл. (Пламенные револю-  
ционеры).

P2+0(C)16

Ведущий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *Д. В. Тевекелян*

Младший редактор *А. Г. Мартынова*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Н. Е. Трояновская*

Сдано в набор 1 июня 1974 г. Подписано в печ-  
ать 1 октября 1974 г. Формат 70 × 108<sup>1/2</sup>. Бу-  
мага типографская № 1. Условн. печ. л. 15,31.  
Учетно-изд. л. 14,08. Тираж 200 тыс. экз. А 00229.  
Заказ № 3576. Цена 70 коп.

Политиздат. Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина  
типографии «Красный пролетарий». Москва,  
Краснопролетарская, 16. Отпечатано с матриц  
в типографии «Уральский рабочий».

Свердловск, ул. Ленина, 49. Зак. № 586.

10604—326

Г  $\frac{079(02)—74}{281—74}$



**В серии  
«Пламенные революционеры»  
в 1975 году  
выйдут следующие книги:**

**Буданин В.  
Кому вершить суд.  
Повесть о Петре Красякове.**

**Давыдов Ю.  
Завещаю вам, братья.  
Повесть об Александре Михайлове.**

**Костюковский Б., Табачников С.  
Главный университет.  
Повесть о Михаиле Васильеве-Южине.**

**Матвеева Г.  
Не слагать оружия.  
Повесть о Сунь Ят-сене.**

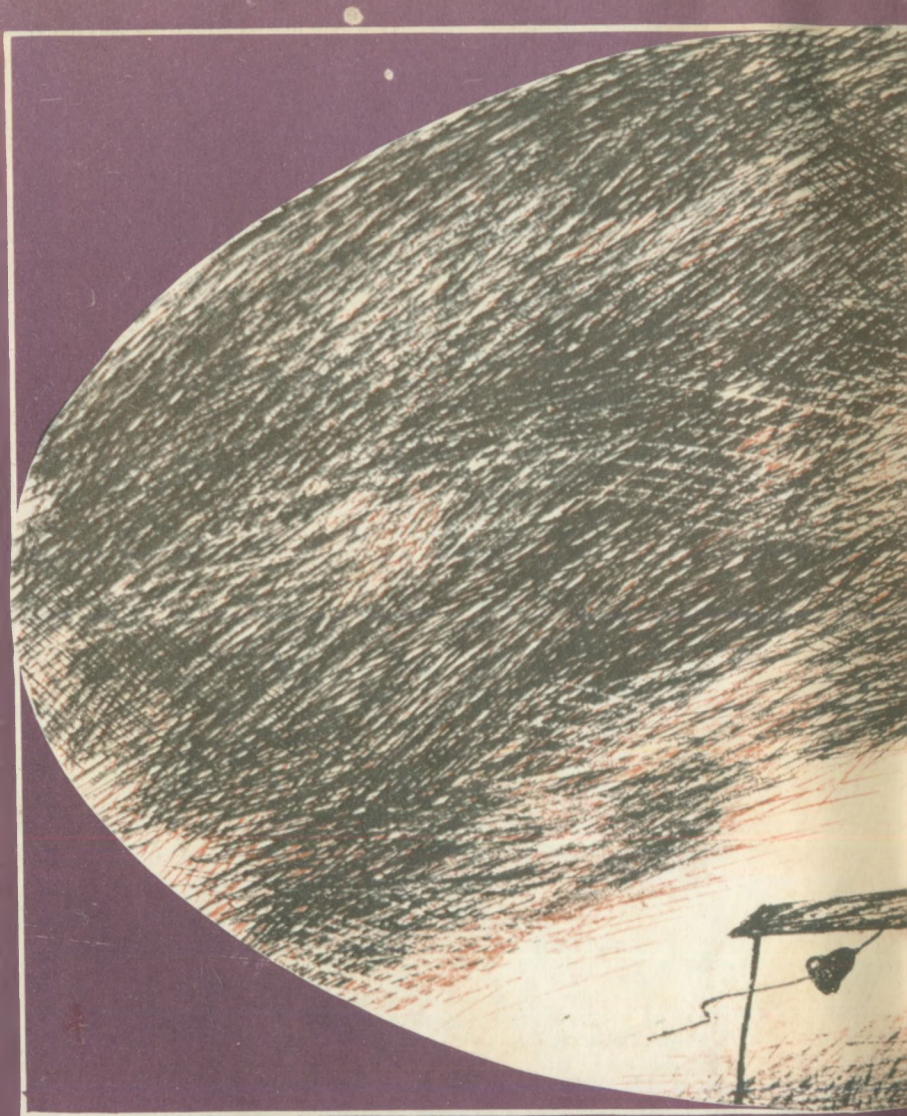
**Орлова Р.  
Поднявший меч.  
Повесть о Джоне Брауне.**

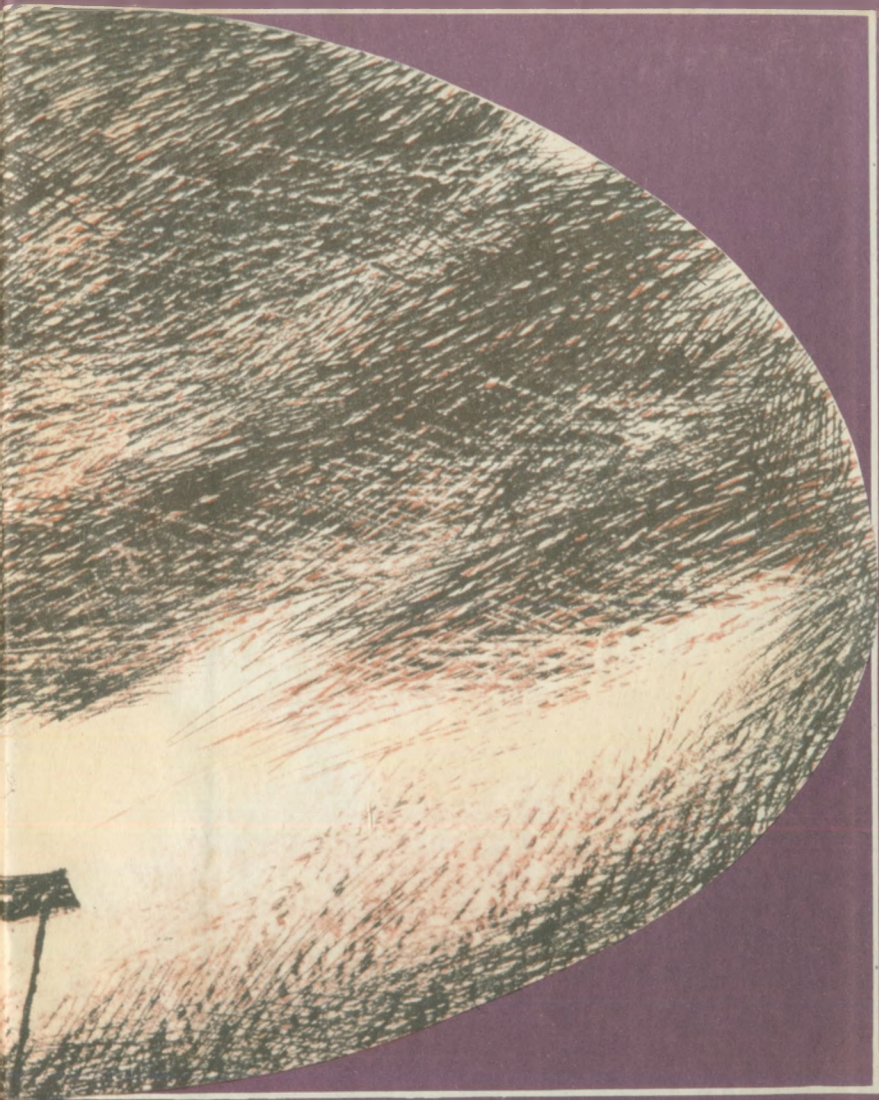
**Успенский В.  
Первый президент.  
Повесть о Михаиле Калинине.**

**Поповский М.  
Побежденное время.  
Повесть о Николае Морозове.**

**Чернов Ю.  
Земля и звезды.  
Повесть о Павле Штернберге.**

**Эйдельман Н.  
Апостол Сергей.  
Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле.**





70 коп.

